

**УЙТИ.
ОСТАТЬСЯ.
ЖИТЬ**

**Антология
Литературных чтений
«Они ушли. Они остались»**

Москва

ЛитГОСТ

2016

Составители
Борис Кутенков
Елена Семёнова
Ирина Медведева
Владимир Коркунов

Дизайн обложки
Евдокия и Сергей Слепухины

*Светлой памяти Ирины Бениаминовны Медведевой,
которой принадлежала идея создания антологии,
от благодарных соавторов*

Уйти. Остаться. Жить

Антология литературных чтений «Они ушли. Они остались» (2012 — 2016) / Сост. Б. О. Кутенков, Е. В. Семёнова, И. Б. Медведева, В. В. Коркунов. — М.: «ЛитГОСТ», 2016. — 460 с.

ISBN 978-5-9905034-4-1

© Кутенков Б. О., составление, 2016
© Семёнова Е. В., составление, 2016
© Медведева И. Б., составление, 2016
© Коркунов В. В., составление, 2016
© «ЛитГОСТ», макет, 2016

ISBN 978-5-9905034-4-1

Содержание:

Борис Кутенков. То, что бывает с другими	7
Владимир Коркунов. Окна времени	11
Ирина Медведева. Качество кометы	12
Елена Семёнова. Упражнение в умирании	14

Хроника Литературных чтений «Они ушли. Они остались»

Дарья Лебедева. Общество мёртвых поэтов	18
Елена Семёнова. Дни поминовения	25

ГЛАВА I

Виктор Куллэ.

Поэзия и смерть: миллианное обострение ... 36

Поэты, ушедшие до двадцати пяти лет

Арсений Бессонов (1981 — 2005)

Блаженный, неложный, нетленный 50

Юрий Беликов. Пермь без Моцарта,

или Стерженёк Арсения Бессонова 55

Алексей Ильичёв (1970 — 1995) Акробат без шеста 59

Зоя Барзах. Жить наоборот 66 |

Илья Тюрин (1980 — 1999) Удвоение пространства 69

Марина Кудимова. Сложная пряжа 81 |

Алексей Шадрин (1973 — 1992)

Слова в глубинах русских рек ... 85

Патрик Валох. Солдатами не рождаются 91 |

ГЛАВА II

Александр Лаврин. Три смерти 96

Поэты, ушедшие до тридцати лет

Илья Асаев (1964 — 1993) Послание назад 113

Борис Равдин. Знак полutoчия 121

Александр Бардодым (1966 — 1992)

След орлиного крыла ... 125

Олег Демидов. Джигит, гусар, афырхаца 133

Анна Горенко (1972 — 1999) Я голубка, детка 137

Данила Давыдов. Запрещённое детство 145

Сергей Казнов (1978 — 2005) Ангел номер шесть 148

Стас Нестерюк. Вечный руль 158

Сергей Королёв (1980 — 2006) Колокол бьёт ни по ком 162

Галина Седых. И никто ещё не накосячил 168

Тарас Трофимов (1982 — 2011) Черепа забытых писем 172

Илья Ненко. Екатеринбургский мизантроп 179

Леонид Шевченко (1972 — 2002) Пирамидам — звучать ... 181

Елена Ластовина. Право на красивую гибель 190

ГЛАВА III

Лола Звонарёва. Прения Живота со Смертью 196

Поэты, ушедшие до сорока лет

Дмитрий Банников (1969 — 2003)

Шоссе является и снится 204

Анна Сидякина. О, атомы мои, не рассыпайтесь! 211

Марина Георгадзе (1966 — 2006)

Нет тяжестей. Одна душа 214

Павел Басинский. Просто жить 223

Константэн Григорьев (1968 — 2008) Богомол в хрустале . . 227

Андрей Добрынин. Уроки Константина Григорьева 238

Манук Жажоян (1963 — 1997) С именем колким Россия . . . 242

Лиля Панин. Человек шагающий 250

Эдуард Кирсанов (1972 — 2003)

Где время засыпает на ходу 257

Дарья Лебедева. Готический человек 267

Алексей Колчев (1975 — 2014) Game over! 269

Геннадий Каневский. Париж-на-Оке 277

Василий Кондратьев (1967 — 1999)

Окно в покинутом доме 280

Дмитрий Голышко-Вольфсон. опережая жизнь 289

Михаил Лаптев (1960 — 1994) Страшен город Китеж 293

Людмила Вязмитинова. Смысл, истина, Бог 300

Денис Новиков (1967 — 2004) Призрак во плоти 304

Виктор Куллэ. Мальчишеская дружба неразменна 311

Ольга Подъёмщикова (1961 — 2000) У рая на краю 319

Андрей Коровин. Последняя декабристка 328

Уйти. Остаться. Жить

Влад Соколовский (1971 — 2011) Чёрный смех	332
Евгений Абдуллаев. Когда мы станем тихим белым эхом . . .	335
Алексей Сомов (1976 — 2013) Тюрьма сидит в поэте	340
Александр Корамыслов. Ничего, кроме света	350
Андрей Тимченков (1967 — 2007) С зеркала на небосвод	356
Виталий Науменко. Да нет такого ряда	367
Андрей Туркин (1962 — 1997) Мой крест влюблённый	371
Борис Стучебрюков. Бодрит — это минерал	377
Александр Джикия. Йеее!	380
Роман Тягунов (1962 — 2000) Осколок на двоих	382
Руслан Комадей. Интервалы Романа Тягунова	388
Роман Файзуллин (1986 — 2016) Далеко от всего	392
Владимир Коркунов. Соломинка из слов	401
Анастасия Харитонова (1966 — 2003) Всего лишь сон о человеке	404
Олег Филипенко. Священное сиротство среди людей	410
Евгений Хорват (1961 — 1993) Тайнообразующее плечо . . .	415
Борис Клетинич. Театр для единственного наследника	424
Евгений Шешолин (1955 — 1990) Культурный тайный слой	428
Наталия Черных. Татуировка рек	437
Руслан Элинин (1963 — 2001) Дорога без границ	441
Людмила Вязмитинова. Прирождённый лидер	445
Сведения об авторах статей	449
Спонсоры антологии	459

Борис КУТЕНКОВ

ТО, ЧТО БЫВАЕТ С ДРУГИМИ

Идея литературных чтений «Они ушли. Они Остались» покоилась на трёх китах: эстетизация смерти, обострённое чувство культуртрегерской совести и нежелание писать кандидатскую диссертацию, которой обязал себя тем памятным летом.

Прекрасно помню этот момент зарождения memory idea: август 2012-го, памятник Достоевскому у Библиотеки имени Ленина, в ожидании запаздывающей подруги читаю интервью Ивана Волкова, опубликованное в журнале «Новая реальность». *«Хочу вспомнить Лёню Шевченко, прекрасного, яркого поэта, погибшего в 2002 году. Ты всегда очень хорошо отзывался о его стихах. Через десять лет после смерти о нём практически забыли. <...> Что касается твоего культуртрегерства: у тебя нет планов сделать какие-нибудь памятные мероприятия, посвящённые Шевченко, тем более в этом году ему исполнилось бы 40 лет»,* — спрашивает Александр Переверзин. Ответ: *«Где сделать? В Костроме? Это несерьёзно...»* К тому моменту я достаточно активно занимался организацией вечеров для молодых поэтов. Стало яснее ясного, что поговорить о тех, кто уже не может принести свои стихи в редакцию, заявить о себе иным образом, — куда более серьёзно, чем иные культуртрегерские занятия. И более чем серьёзно.

Вернувшись домой после летнего отпуска, я предложил идею трёхдневного мероприятия Ирине Медведевой, не сомневаясь, что она окажется ей биографически близка.

Посыпавшийся на нас поток одобряющих комментариев от редакторов, критиков, случайных читателей, разными словами говорящих одно: «Затея нужная. Действуйте», и ошарашивающее количество имён «забытых и недооценённых» не оставляли вариантов, чем мы будем заниматься в ближайшие три месяца. Выбранный нами период — 90-е и 2000-е, к которым с какой-то грустной естественностью хода времени «присоединились» 2010-е — можно обозначить как период безвременья, оторванности читателя от поэзии, поэтому охватить его показалось наиболее важным.

Поэты уходили из жизни на протяжении всех этих четырёх лет (как едко, горько и точно заметила Наталия Черных в одной из первых статей, опубликованных о чтениях: *«а люди всё прибывают, и полагаю, что в следующем году фестиваль продлится уже четыре дня»*). Чтения всё так же длились три дня в году и собирали полные залы равнодушных. Литпроцесс с его иерархичностью шёл своим чередом, а за его оградой «происходило нечто масштабное и необходимое, никак не связанное ни с культурной политикой государства, ни с актуальной литературой», по точному замечанию той же Черных. Мы, организаторы, оставались, но менялись в обоих смыслах — и мировоззренчески, и в смысле состава команды, которая в 2014 году пополнилась Еленой Семёновой, много сделавшей для проекта. Менялось моё отношение к смерти (в сторону меньшей романтизации) и отношение к поэзии (в сторону большей ответственности за качество текстов ушедшего, вне зависимости от количества прожитых лет). Смерть не является эстетическим фактором, а потому и основанием для выступления на чтениях, которые носят название литературных. Но смерть талантливого человека таким основанием, безусловно, является. Как отказать родственнику, другу, предлагающему кандидатуру поэта

малоинтересного или не соответствующего выбранным хронологическим рамкам? Все эти мысли, этические препоны, сомнения в своём праве ответственности роились в голове, и на какое-то время я был готов оставить проект. Однако стороннее «действуйте», произносимое разными голосами, побуждало остаться — во всех смыслах. Да и — в чьи руки передать хранение памяти? А к всевозможным милым эпиграммам, что-де смерть человека становится своеобразным «приобретением» для литературной программы, — я и сам порой готов присоединиться; впрочем, те, кто приходит на чтения и видит их атмосферу изнутри, обычно закрывают рот.

Неизменным все эти годы оставалось одно: взволнованные лица выступающих на «Они ушли. Они остались», строго и грустно, а порой равнодушно взирающие с большого экрана лица ушедших поэтов, неизменно неравнодушные письма людей с предложениями рассказать о талантливом поэте и друге ещё за год до очередного мероприятия. Приходилось делать нелёгкий выбор между биографией — и творчеством; между обстоятельствами биографии поэта, рано погибшего и не успевшего полностью реализовать дар, но оставившего несколько ярких стихотворений (всё-таки любит ли история сослагательное наклонение?) — и судьбой поэта абсолютно сложившегося. Всё больше приходило осознание значимости своей организационной роли в попытке налаживания мостиков — между поэзией и смертью, между *тем* миром и *этим*, между необходимостью помнить — и преодолением исконного людского беспамятства. И ради этого приходилось — может быть, чуть искусственно по отношению к пресловутому литпроцессу, но совершенно правильно по отношению к жизни — сближать фактически несоединимые, как гений и злодейство, вещи: этическое и эстетическое.

Теперь, спустя четыре года, ясно: бывают гениальные ошибки. Иронически, но и всерьёз называя «Они ушли. Они остались» «гениальной ошибкой Кутенкова» — перефразируя слова Пастернака о Литинституте; вспоминая фразу Тынянова о «неверных предпосылках, которые при правильном наблюдении фактов приводят к правильным результатам», я чувствовал прежде всего одобрение тех поэтов, которые за годы подготовки чтений стали уже родными людьми; это одобрение до сих пор держит и спасает. Абсолютное присутствие их среди нас — и даже соприсутствие — теперь закреплено в антологиях. Подаренная друг другу возможность провести ещё немного времени в диалоге — выбор и заслуга прежде всего не составителей, а самих героев книги. До которых нам, — «оставшимся», чтобы говорить о них, — только шаг. Или несколько шагов — расстояние в очередной мемориальный рассказ, ныне уместившийся в несколько бумажных страниц.

Владимир КОРКУНОВ

ОКНА ВРЕМЕНИ

Жизнь человека хрупка и, увы, беспамятна. Человек не живёт столько, сколько о нём помнят. Он проходит, как время года или — если говорить о совсем молодом человеке — как снегопад или дождь. Живут отметины, которые он оставил в реальности. Его бесплотные, а значит, куда более долговечные дети.

Антология «Уйти. Остаться. Жить» — окно в пространства, оставленные молодыми поэтами, ушедшими на рубеже XX–XXI веков. Или машина времени, переносящая нас в личную реальность того или иного талантливого человека, не закрывшего дверь (скажем, когда уничтожается написанное) в свой мир.

Для кого важна эта реальность? Для родственников и друзей, читателей и мистиков, способных углядеть эсхатологические проявления в любом творческом жесте? Для культуры? Искусства? В первую очередь, для нас, людей, работавших над этой книгой, выбравшей — смеем верить — благородную задачу по сохранению памяти. Понимающих, что бесследно уйти гораздо проще, чем на какое-то время задержаться в памяти людей, знавших тебя. Не уверен, что антология понравилась бы самим её героям. Вряд ли бы они захотели оказаться «молодыми поэтами, ушедшими на таком-то рубеже». Молодости свойственно ощущение бессмертия. А потому мы просим прощения у — не бессмертных, увы — авторов-поэтов антологии и создаём ровно то, что можем — мемориал равнодушия.

Ирина МЕДВЕДЕВА

КАЧЕСТВО КОМЕТЫ

Только память объединяет людей в человечество. Только она, высвечивая своим лучом сквозь века того или другого, возвращает к жизни достойных её. Жизнь и смерть, радость существования и трагедия ухода, — всё это составляющие памяти. Памяти поэтов, ушедших молодыми в конце XX — начале XXI века, которой посвящены литературные чтения «Они ушли. Они остались». Это мероприятие, проходившее четырежды в 2012 — 2016 годах, помогло вспомнить имена и стихи многих, ушедших в небытие.

«Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана? / Иль зачем судьбою тайной / Ты на казнь осуждена?» — так спрашивал двести лет назад Пушкин, и в этом вопросе — удивление и восторг, страх и надежда, разочарование и мольба многих и многих людей, не имеющих поэтического голоса, но столь же явственно ощущающих соседство дара и смерти... Но если *«однозвучный жизни шум»* иногда приглушает эти эмоции у обыкновенных людей, то никогда — у поэта. Смерть — *«качество кометы»* (Илья Тюрин) — только обостряет у поэта желание творить, чтобы неизбежное столкновение с Землёй, судьбой, роком — оставило и на них неизгладимый след.

О неистребимости такого потенциала рассказал на Третьих Литературных чтениях Александр Лаврин в докладе «Поэт и смерть: быт, экзистенция, выбор пути». Но «это не обязывает к смерти», — вновь откликается Илья

Тюрин. И продолжает: «Трагедия человека, при условии, что он поэт, в его судьбе уже состоялась: вторжение поэзии в любую жизнь и есть трагедия человека. Поэт говорит не так, как говорит человек — и со временем это начинает определённым образом направлять его мысли. В конце концов, поэт находится там, где человека нет. Трагедия человека состоит в недостижимости этого «там». Трагедия же поэта заключается в невозвратимости оттуда». В идее чтений, где переплетаются «поэзия» и «смерть» — ключевые слова, — много горя. Но это не должно отталкивать, потому что на самих чтениях звучит много прекрасных стихов. Так горе, переплавленное в стихи, становится необходимым приобретением.

Елена СЕМЁНОВА

УПРАЖНЕНИЕ В УМИРАНИИ

Немало людей умирает в молодости, в расцвете сил, на пике надежд, иногда из-за проблем хрупкой, не сформировавшейся личности. Сильнее всего это затрагивает родных и друзей, но ещё и тех прочих, кто был знаком с их делами. Дела могут быть важными, красивыми, значимыми... Однако поэтов мы невольно выделяем. У них, как у России, особенная статья. Наделённые сверхчувственностью, они сильнее, резче, глубже переживают обстоятельства жизни. Может быть, оттого, что творить настоящие стихи можно только на краю, на изломе, на острие. Интересно, что вне зависимости от того, как поэты уходят — убийство, несчастный случай, болезнь — всё равно часто в стихах звучит трагизм, фатальность. Нередки точные предсказания своей смерти, как — навскидку — у Ольги Подъёмшиковой: *«и там, где был дом — дым, и я улечу с ним»* или у Андрея Новикова: *«давай попьём из Чистого Пруда, как наши предки — по глотку водицы...»*

Трудно сказать, какова статистика смертности поэтов. Профильные агентства вряд ли занимались столь маргинальным вопросом. Однако в 2012 году поэт и критик Борис Кутенков заметил: много молодых стихотворцев ушло из жизни на рубеже веков. Какими они были — об этом мы могли бы не узнать. Произведения людей, которые не успели творчески созреть, реже попадают в объектив прессы, их недооценивают при жизни. Английский романтик

Томас Чаттертон в 18 лет принял мышьяк: его поэмы не публиковали, а критиками он был фактически доведён до самоубийства. Позже он стал культовой фигурой: его жизнь описал в своей драме Альфред де Виньи, о нём опера Руджеро Леонкавалло и роман Питера Акройда. Ещё один романтик Джон Китс тоже не был достаточно оценён при жизни и умер в молодом возрасте от туберкулёза.

Чьё имя останется в литературе — об этом будет известно век спустя. «*Большое видится на расстоянии*», — как написал также рано ушедший поэт. И вот ради сохранения хрупкой, стирающейся памяти были задуманы ежегодные чтения памяти поэтов, ушедших молодыми в 1990-е — 2000-е (позже расширили диапазон: «в конце XX — начале XXI веков»). Ёмкое и поэтичное название «Они ушли. Они остались» подарил поэт, литературовед и издатель Евгений Степанов. Организаторами первых двух сезонов чтений стали Борис Кутенков и Ирина Медведева, пережившая трагедию смерти поэта в собственной судьбе. Ее редкого таланта сын — поэт, переводчик, критик, художник Илья Тюрин в результате несчастного случая погиб в девятнадцать лет. Оказалось, сколько длится поэтическая молодость — вопрос спорный. Многие считают, что поэты формируются до 35–40 лет. После долгих споров укрепились во мнении: в основном до 35, но можно и до 40 — уже с натяжкой. Неудивительно, что вспоминается опыт поэтов начала XX века — Есенин, Гумилёв, Блок, Маяковский и другие. Недаром одним из знаковых и метких высказываний, приведённых на чтениях, стали слова Иосифа Бродского: «*Сочинительство стихов и есть упражнение в умирании*».



Афиши Литературных чтений «Они ушли. Они остались»



**ХРОНИКА
ЛИТЕРАТУРНЫХ ЧТЕНИЙ
«ОНИ УШЛИ.
ОНИ ОСТАЛИСЬ»**

Дарья ЛЕБЕДЕВА

ОБЩЕСТВО МЁРТВЫХ ПОЭТОВ

*О первых двух сезонах Литературных чтений
«Они ушли. Они остались» (2012, 2013 гг.)*

«А человек — иль не затем он, / Чтобы забыть его могли», — вопрошал Владислав Ходасевич в стихотворении «Гостю» в 1921 году. Нет, не затем, — уверенно ответили спустя почти столетие, в 2012 году — Ирина Медведева, журналист, президент Фонда памяти Ильи Тюриня, и поэт, критик Борис Кутенков, авторы идеи литературных чтений памяти поэтов, ушедших молодыми в 90-е и 2000-е. Как объяснили организаторы, популяризацию стихов коллег, рано умерших и не имеющих возможности заявить о себе, они считают наиболее достойным из всего, что можно сделать для них, и — более того — своим долгом перед покойными братьями.

Идея имела большой резонанс ещё до официального объявления. Стоило написать пост в «Живом Журнале», и общественность всколыхнулась, начав «забрасывать» организаторов именами отвечающих «формату» молодых поэтов. «Даже страшно, сколько молодых талантливых людей ушло в это время из жизни», — была грустно удивлена Ирина Медведева.

Вспоминается фильм «Общество мёртвых поэтов» — впрочем, вовсе не о поэтах. Но судьба одного из героев — юного талантливого Нила-самоубийцы — точно укладывается в проблематику чтений «Они ушли.

© Дарья Лебедева, 2016

Они остались» (название было придумано Евгением Степановым — так называется выпущенная им антология стихов ушедших поэтов), прошедших на трёх московских площадках. Смерть Нила в фильме ужасно пугает и заставляет о многом задуматься. Тем смелее кажется поступок организаторов и «идеологов» чтений — они просто взяли и собрали разом тридцать трёх мёртвых поэтов, чтобы те смогли на время ожить и заговорить с нами и друг с другом. Заговорить голосами своих стихов, напомнить нам об искажённых линиях жизни, о том, как это несправедливо — умереть молодым. Много самоубийств, много несчастных случаев, много непонимания и страха, много несправедливого — и вот всё это разом обрушивается на нас. Смерть пугает. Смерть молодых ужасает. Смерть молодых и талантливых ранит.

Но помимо тягостного и тяжёлого ощущения, естественного для такой темы, слушатели и выступающие испытывали и катарсис, чувства обострялись, хотелось жить, жить и жить. Удивительное впечатление — организаторы, кажется, сами не ожидали, насколько эта ситуация, когда живые поэты рассказывают о тех, кто ушёл, и ушёл рано, затронет чувства всех присутствующих. Интересно и то, что три вечера в трёх разных местах были объединены только темой — настолько разными они получились по атмосфере и обстановке.

Открылись чтения «Они ушли. Они остались» в Литературном музее, большой зал которого был переполнен. Вечер получил мистическую окраску — как того и боялись организаторы и участники, слишком уж страшно приближаться вплотную к миру мёртвых. Хлопали окна, терялись листочки с текстами, люди застревали в лифте. Начали издалека, чтобы подготовить, приблизить к тяжёлой теме, с давно ушедших: Рембо, Маяковского, Лермонтова. Поэт и критик Людмила Вязмитинова напомнила гостям

о тайне, закрытой обычно на замочек в подсознании: поэт — человек повышенного риска, творчество вообще дело рискованное. Кирилл Ковальджи пытался рассказывать о Борисе Рыжем, но сбивался на общую проблему, которую ни обойти, ни объехать: всё-таки так получается, что поэтов убивает время.

Второй день прошел в Литературном институте прямо на поэтическом семинаре Галины Ивановны Седых. Сначала казалось, что гости не туда попали, — спрашивали, где журнал, выкликали студентов, искали старосту. Но потом Седых стала рассказывать о чередке литинститутских смертей, свидетельницей которых она была. За ней рассказали о «своих» поэтах другие выступающие. Спорили, вспоминали детали, подробности. Невероятного накала речь произнесла Наталья Попова о своём однокурснике Константине Радзиевском — удивительная сила дружбы, великой воли человек, изгибы линии жизни которого не менее поэтичны и яркие, чем собственно творчество. В целом этот второй день запомнился атмосферой домашней, почти поминальной — вот где точно неуместен был термин «доклад», вполне органичный в день первый. И тонкую ноту нежности добавила одна из ведущих вечера поэтесса Марья Куприянова — с лёгкими, простыми интонациями она читала стихи, напоминая ту самую девочку в белом луже, что пела о всех ушедших.

Третий день собрал поменьше людей — примерно поровну зрителей и докладчиков доехало до Библиотеки им. Лермонтова в Сокольниках. Тихий район с кирпичными домиками, тихий зал, дрожащие руки и снова стихи и рассказы. Михаил Свищёв вспоминал об Алексее Александрове так, будто он не просто жив, но и вот-вот войдёт в эту дверь. Андрей Чемоданов тихо и сердито сказал о времени, о нашем времени, в котором мы все выжили — а они нет. Несколько слов реквиема о тех, кого

непросто было бы представить сегодня с планшетом или айфоном в руке, в этой всепоглощающей гонке за земными материями.

Было много воспоминаний, размышлений о жизни и смерти человека творческого, с оголённой нервной системой, были и споры с творчеством, попытки анализа — всё-таки главное-то, главное осталось от них, их строки, их слова, их стихи. Личность докладчика здесь выступала проводником, и от него зависело, как он представит поэта, с чем познакомит — больше с творчеством или с человеком, с судьбой или временным срезом. Широкий тематический, эмоциональный, личностный диапазон стал «изюминкой» чтений.

Поскольку подобное мероприятие проводилось впервые, по окончании за чаем с печеньем прозвучало много вопросов, сомнений, предложений. Слышался и упрёк: «Что это — чтения или поминки?» Кажется, получилась некая мистическая смесь — да, это были и чтения, и, безусловно, поминки. Но люди записывали имена понравившихся поэтов в блокноты, а значит, первая и главная цель всё-таки была достигнута: донести до читателя поэзию тех, кто рано ушёл и больше не может сам о себе заявить.

В следующем году, учтя полученный опыт и лучше осозная, в какие зыбучие пески они вступают, организаторы немного изменили правила, и чтения прошли иначе, произвели более сильное впечатление.

В этот раз преобладали рассказы друзей и родственников, а значит, стрелка сдвинулась ближе к личному — к воспоминаниям о том, каким был прежде всего человек, а не поэт. Лола Звонарёва сделала вступительный доклад о теме смерти в стихах ныне живущих поэтов. Наталия Черных рассказала об Анастасии Харитоновой, Руслан Комадей о «странном» екатеринбургском поэте Сандро Мокше, Алиса Орлова

об Алексее Машенцеве, Света Литвак об Игоре Юганове, и это не полный список. Ушедший в 2001 году Руслан Элинин, о котором вспоминала Людмила Вязмитинова, был инициатором создания клуба «Классики XXI века». Разбирая пожелтевшие хрупкие бумажки с отпечатанным на машинке текстом, Людмила читала стихи Руслана, полные тонкого юмора и похожие на его улыбку, чёрно-бело глядевшую с экрана: *«Белого не хочется вина/ Красного не хочется вина/ Но надеюсь к вечеру пройдет...»*

Необычный тон выбрала Дана Курская, рассказывая об ушедшем друге Сергее Арешине, — по рядам даже прокатывался смех. Она говорила о нём, общалась с ним, ругалась на него как на живого: «Арешин, зла на тебя не хватает, это такая глупость — то, что ты сделал». Поэт повесился. Выступления сливались в одно, растущее, как снежный ком, чувство утраты, как будто каждый из сидящих в зале переживал личную потерю. Сотрудница библиотеки Литературного института, когда всё закончилось, спросила, не обращая ни к кому конкретно: *«Зачем вы умираете, такие молодые?»*

В Литературном музее в Трубниковском переулке собрались те, кто не смог выступить в предыдущий день, что усилило шок: потрясённым слушателям довелось узнать разом о смерти почти двадцати поэтов. Критик и публицист Лев Аннинский в своём докладе пытался разобраться, почему судьба поэта часто трагична, обратившись при этом к другим поколениям: говорил о Марине Цветаевой, Александре Яшине и Веронике Тушновой, то ли стирая временные границы между поэтами разных эпох, то ли протягивая нить от начала прошлого века к началу нынешнего. Рассказы Руслана Комадея о малоизвестном уральском поэте Григории Алексееве, Елены Пестеревой — о львовской школе и Игоре Буренине, Сергея Криницына — о коллеге по студии Алексее Ильичёве, жившем в Петербурге

и погибшем в возрасте двадцати пяти лет, Валерия Бакирова — о рижском поэте Олеге Золотове, и другие доклады этого дня показали, насколько широка география русскоязычных поэтов.

Заключительный день чтений, как и в прошлом году, прошёл в Лермонтовской библиотеке, что символично — ведь и Михаил Лермонтов погиб молодым, и, по странному совпадению, многие из тех, о ком шла речь, тоже ушли в возрасте двадцати семи лет. Философский настрой был задан эмоциональным докладом поэта Виктора Куллэ, посвящённым проблеме очень личных взаимоотношений поэта со смертью.

Искусство — всегда дискомфорт, в отличие от цивилизованного состояния обывателя, ищущего комфортного существования. Такое отношение к жизни — с привкусом надвигающейся смерти — «упирается в посмертное торжество текста над автором», размышлял Куллэ. Поднявшийся следом на сцену поэт Кирилл Ковальджи, чей рассказ был посвящён Леониду Шевченко, подметил, что поэтов нынче не убивают на дуэлях и не расстреливают в застенках, но многие всё равно уходят из жизни рано и трагически. «Справляются сами», — горько сыронизировала Ирина Медведева. Среди причин смерти поэтов сегодня — автокатастрофы, пожары и другие несчастные случаи, проблемы с алкоголем, болезни, наконец, самоубийства. Ковальджи заметил, что у таких людей «дьявольская интуиция» — незадолго до смерти они работают особенно продуктивно, на износ, как будто чувствуют стремительно уходящее от них время. В этот день среди прочих вспоминали Андрея Тимченова (Елена Шерстобоева воспользовалась «украденным правом рассказать о поэте» — многие выступавшие, кто знал шапочно или не знал своего героя вовсе, чувствовали то же самое). Андрей Чемоданов теребил совсем свежую

рану, рассказывая о своём друге Павле Белицком, ушедшем в начале осени. Стас Нестерюк вспоминал друга Сергея Казнова, Виктор Куллэ — Дениса Новикова, Мария Малиновская рассказывала об Илье Тюрине, ушедшем девятнадцатилетним, но оставившем впечатляющее наследие.

Многие обращали внимание на пророческие строки в стихах ушедших поэтов — что это, предчувствие, или, как предположила Дана Курская, цитируя Ницше, «если ты пристально вглядываешься во что-то, то оно начинает вглядываться в тебя»? Смерть ищет поэтов или поэты невольно призывают смерть? Правда ли, что «поэзия находится там, где человека нет» (мысль, высказанная Ильей Тюриным), и потому поэт ближе к миру мёртвых, чем к миру живых — по сути своей?

А после чтений в Лермонтовке сдвигали пластмассовые стаканчики, пили за ушедших, как за живых. В наших силах сделать так, чтобы они оставались с нами, и мы будем выкликать их из темноты, читать их неумирающие строки. Помните о том, что смертны. Не забывайте мёртвых.

Елена СЕМЁНОВА

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ

О Третьих Литературных чтениях
«Они ушли. Они остались» (14-16 ноября 2014 г.)

...И вот прошел третий сезон, в организацию и проведение которого ваша покорная слуга внесла посильную лепту. Несмотря на опасения Бориса Кутенкова, чтения прошли феерично — как бы ни было неуместно это слово в поминальном контексте. Уже в первый день в Российской государственной библиотеке для молодёжи, в её просторном серебристом зале, разгоняющем всяческий траур, было прочитано несколько ярких докладов. Один из основателей группы «Междуречье» Алексей Корецкий делился воспоминанием об экстравагантной личности Льва Дождёва (1970 — 2007) — по его словам, гениального графомана, человека литературоцентричного до мозга костей. Когда Алексей впервые встретил поэта, тот развернул перед ним огромный лист кальки, сплошь мелко исписанный: это была поэма, посвящённая погибшему Владу Листьеву. Среди шокирующих опусов Льва Дождёва, в которых он много места уделял визуализации и звучанию, есть, к примеру, такие:

В РАПО МешКАМИ ВЕДАеТ УДАв Я в ШАХматы

ПРОшляПИЛ МАХУ ДАВ

У КАМЫ ШкИВ УвЕРенНО вРАщАЯ:

И дёрГАЮсь КАК ДрЯхлаЯ ПРАщА Я

© Елена Семёнова, 2016

*СожЖЁН МозДОК, пыЛАЕТ СЕРдцА БОЛЬ,
В БашКЕ МоЕЙ ЗЕЛёНЫЙ АлКОгОЛЬ
ХиРЕет РЕчка, ЕгЕРь сНЁС ЛосЮ НОС:
И БОЛЕ в МИР ПОДЛУнный Я НЕ СУНУсь!*

Впрочем, на вечере читали более традиционные его вещи:

*Суровые с запада ветры подули на
страну, в её сёла ли, на города ли.
Лишь ты ныне, Белла, ликуй, Ахмадулина, —
тебе почитатели премию дали!
Да, я не похож на пророка ИерЕмию,
но с просьбой одной обращаюсь всё же к музе:
пусть мне Александра Сергеича премию
дадут не в Германии — в бывшем Союзе!*

Нелепо погибший от ножа гопников поэт Максим Максименко (1973 — 2001) ожил в дружеском рассказе Андрея Щербака-Жукова. Поэт и филолог жил в Краснодаре, окончил филфак, а потом журфак Кубанского госуниверситета, в 27 лет защитил кандидатскую по языкознанию, принял за докторскую, работал в газете и на радио, преподавал. Поразительно: творческое наследие Максима составило три массивных тома — так много он успел сделать. Как заметил Андрей, Максименко «по жизни» был весёлым толстым Карлсоном, душой компании, вместе с ним еще в 90-е они нагло отплясывали на сцене перед носом у краснодарских бандитов. Когда Андрей приезжал в Краснодар и звонил ему по телефону, Максименко, сколько бы времени ни прошло, как ни в чём не бывало говорил: «Ну, продолжаем разговор». Кстати, неплохое название для книги. Стихи Максима близки по стилистике к Серебряному веку, и, несмотря на весь оптимизм характера поэта, в них часто звучит тема смерти:

*Кривой кинжал мне грудь рассек,
И вдруг — нежданное признание —*

*Я в брызгах крови рассмотрел
Немые тайны мирозданья.*

*Хотел сказать, но вместо слов
Струюю кровь из горла билась.
И тайны вечные в глазах,
Остекленев запечалились.*

*Успел я кровью написать
И сделать жест в предсмертном стоне.
...А после голубь прилетал
Читать разгадки на бетоне...*

О поэте Андрее Новикове (1974 — 2014), собрав чувства в кулак, рассказывала его вдова Лилия Газизова. Андрей был главным редактором журнала «Современная поэзия», руководителем интернет-портала «Литературная афиша». Так сложилось, что поэта, утонувшего на Чистых прудах, сначала похоронили неопознанным, лишь потом нашли и перезахоронили. Накануне чтений в литературном салоне «Булгаковский дом» презентовали сборник стихов Новикова «Нерасчётливый наследник», и издатель Александр Переверзин передал стопку экземпляров для слушателей чтений. Андрей Новиков был также одним из основателей литературной группы «Рукомос», создателем журнала «Сетевая поэзия»: помогал москвичам узнать творчество поэтов Беларуси, Украины, Казахстана, Калининграда, Нижнего Новгорода, Казани. В числе его проектов — организация Международного фестиваля поэзии «Порядок слов», кураторство сайта «ТЕРМИтник поэзии», да и не только. Можно сказать, что в вечных заботах о продвижении других талантов Андрей Новиков скромно отодвигал своё творчество на второй план:

ХВВ

*Ногу за ногу заложив,
Велимир сидит. Он жив.
Д. Хармс*

*Он больше века ум тревожит
и сторожит.
Поступит жизнь с тобою строже,
но надо жить.*

*А мир, что зримо им построен,
стоит как Рим.
Как будто бы незримых трое
следят за ним.*

*Ему служило солнце словно
и хлеб и кров.
И были радостным уловом
добро, любовь.*

*Весь скарб его, одежда, утварь —
Бумаг мешок.
А он вставал с травы под утро
И дальше шёл.*

*Как нерасчётливый наследник,
открыв сезам,
он каждый день жил как последний,
и умер сам.*

Потряс порывистый, равнодушный рассказ Даны Курской о несчастной судьбе Ники Турбиной (1974 — 2002), ставшей заложницей своего дара. Стихи приходили к маленькой девочке по ночам, как заговор, когда она ещё не могла их

записывать. Записывали мама и бабушка, которым это не нравилось, их это пугало. Но случилось так, что стихи оценил прозаик Юлиан Семёнов, талантливую девочку поддержал поэт Евгений Евтушенко. И началось Никино триумфальное шествие. Маленькой девочкой она объехала с поэтическими вечерами Россию, за границу. А позже ранний ошеломительный триумф вылился в психологическую травму. Нике нужно было учиться, закреплять успех, а вдохновение было обманчиво, прихотливо. Нике был необходим учитель, наставник, который собрал бы по кусочкам её распадающийся мир. Не сложилось. Итог печален: одиночество, алкоголизм, попытки самоубийства, последняя — удачная. Дана Курская нашла двор и дом, где жила Ника: оказалось, местные пьяницы её прекрасно помнят. Правда, когда Дана заговорила о поэзии, они удивились: «А разве она писала стихи?»

КУКЛА

*Я как сломанная кукла.
В грудь забыли
Вставить сердце.
И оставили ненужной
В сумрачном углу.
Я как сломанная кукла,
Только слышу, мне под утро
Тихо сон шепнул:
«Спи, родная, долго-долго.
Годы пролетят,
А когда проснёшься,
Люди снова захотят
Взять на руки,
Убаюкать, просто поиграть,
И забьётся твоё сердце...»
Только страшно ждать.*

Следующие два дня чтений были отмечены ещё большим накалом. Олег Демидов вышел на сцену с айфоном и ярко, живо, с цитатами из воспоминаний рассказал о куртуазном маньеристе Александре Бардодыме (1966 — 1992), о его смерти в борьбе за независимость Абхазии. Клементина Ширшова повествовала об Анне Горенко (1972 — 1999), о её сложной экспериментальной поэтике, которую критик Данила Давыдов назвал «поэтикой последовательного ухода». Культивируя её, Анна в последние дни не выходила из дома. Не секрет, что Анна практиковала ИСС: умерла от передозировки героина. Показалась необычной личность Жанны Тундавиной (1979 — 2013), о которой говорил Стас Нестерюк: властная дама со многими конфликтовала, производила впечатление человека с большими комплексами. Умерла странно: решила похудеть, из-за этого возникли проблемы с сердцем, но она почему-то последовательно отказывалась от помощи врачей:

*А смерть не страшна, не нежна, скорей — показательна,
Скорее светла, как январских деревьев стать,
Ухода, мой милый, бояться не обязательно,
Ведь он — лишь момент, когда просто хочется спать.*

*Ведь он — как улыбка. Совсем-совсем невесомая
На губ уголках — геометрии вопреки,
И легкость, и знание, что прежняя ночь бессонная,
Тревоги и боль — это сущие пустяки.*

*А в церковь не надо, и дату считайте праздником,
Я душу вам за гулянку даю на чай,
на кофе, водку... впрочем, какая разница?
Мне скоро будет легко. Вот и всё. Прощай.*

В третий день, в Институте журналистики и литературного творчества, был полный аншлаг. Людмила Иванова, приехавшая из Мурманска, представила личность поэта-мистификатора Андрея Анипко, писавшего

и переводившего под псевдонимами Андрей Небко, Йордан Кейн, Арсений Северин, Андрей Савельев (1976 — 2012). Жил, учился и работал в Питере, отличался впечатлительностью, бескомпромиссностью, склонностью к фантазиям, словесной игре. Увлекался театром, играл на любительских сценах, вёл кружок по изучению античности, владел восемью европейскими языками, переводил античных поэтов, Шекспира, Бодлера, Новалиса, Гёльдерлина, Рильке и других. Подвело поэта здоровье. В последних стихах тоже ощутимы «пляски смерти»:

*Нет ни слова, ни звука, ни всплеска —
это небо, не роцца, не пруд,
это небо — как ветхая фреска —
столько света, а спичек не жгут.
Это всё, что, конечно, не вспомню,
даже если с собой унесу, —
в небо входят, как в каменоломню,
керосинку держа на весу.
Это небо, и редкие звёзды,
даже реже, чем зубья гребня,
как уродливые наросты
на коре одинокого дня,
одичавшие эти погосты,
где, наверно, заждались меня.*

*Я люблю это стылое небо,
этот звёздный серебряный мох,
снова день — удивляться нелепо —
на корню, как осина, иссох.
Я простёр онемевшие руки
полумесяцу, полухребту:
в купола, как в надбровные дуги,
где, как летопись, жизнь перечту
и, ни строчки знакомой не встретив,
изготовлюсь — и с красной строки*

*поспешу бормотаньем согреть их,
не нащупав ответной руки.*

О Юлии Бондалетовой (1973 — 2013) из Караганды написали и прислали доклад подруги Дина Рыбалкина, Варвара Дадышко и Ирина Окунева. Юлии даже в самые молодые годы было свойственно трагическое мироощущение, несмотря на тепло родных, друзей, на внешнее благополучие жизни. Как и мать, она работала на скорой помощи, была хорошим врачом. С ранних лет болезненно, с надрывом относилась к своему поэтическому творчеству, ставила всех в тупик вопросом: «Я гений?» Процесс создания стихов был мучителен. Поэтесса жаловалась, что ей снятся стихи, целыми, готовыми, необыкновенными, но после пробуждения она ничего не помнила. В последние годы жизни рыдала и называла свой талант «проклятьем».

*Стояла полночь пенной кружкой пива,
а звёзды солью посыпали тени.
И на тарелке белого налива
светился бок. И рам переплетенье
ложилось на пол, как крестом — крещенье.
И вкус бессонья, словно привкус яблоч,
кислил во рту, а зёрнышек горченье
напоминало — ты раздет, ты зябок
в одеждах века, с мятой сигаретой.
Она горчит — не зёрнышки, не полночь
за два часа до летнего рассвета.
Ты перевозчик, пересмешник, сволочь —
катать слова к последнему пределу
до ужаса детей, до сумасшедших
сибирских рек. Ведь только переделать
все окончанья временем прошедшим
от настоящего. Чего пугаться? Следом
осядет пена полночи, и кружка*

*наполнится янтарной сутью, бредом,
и гомоном, и прелостью пирушки
в ночи неснящих, словно SOS, последних
сухих, как соль, разменных достояний.
Я обменяю эту твердь столетий
на ртуть живых, как яд, благих познаний
в четвёртый час июльского рассвета...
Я слышу — так кузнечик не стрекочет —
так метроном никчёмного ответа
остановиться хочет, но не может.
Не слушать бы его — уйти, кочуя,
в суровость водочного русла, чуя, чуя,
горчинку жизни. Не залить — сглотнуть бы,
но в хронику вплетают наши судьбы...*

Кстати, необходимо сделать одну важную заметку о концепции. Степень таланта и мастерства может различаться, однако организаторы изначально отказались от сравнительной иерархии — поэт может быть интересен либо стихами, либо харизмой, иногда — сочетанием того и другого. Поэт Влад Клён (1981 — 2010) был гениальным организатором фестивального движения на Украине: как выяснилось из рассказа Анны Грувер, почти незаменимым. Ксения Болдырева (1987 — 2014) была активной фигурой в литературной среде Красноярска — организовывала поэтические вечера; свои вещи читала в оригинальной речитативной манере под музыку. Погибла страшно и красиво: утопилась в реке — скорее всего, из-за любви. Алексей Караковский и Владислава Рукавишникова представили музыкальную мелодекламацию по стихам Ксении. Светлана Горшунова (1974 — 2001) была старостой и душой лито «Луч» Игоря Волгина, согревала друзей-поэтов искренностью, теплотой, завораживала манерой чтения. Её смерть под колёсами грузовика стала для всех шоком: её натура, оптимистичный и уравновешенный характер ни у кого не ассоциировался

со смертью. Однако в её стихах тоже есть предсказание, но не мрачное, а светлое, летящее, божественное:

*Не плачь, я не умру. Я буду жить с тобою,
Нелепыми стихами говоря.
И только тело станет — неземное,
Оно теперь — дожди, снега, заря,
Апрелевых ветров прикосновенье,
Высокой птицы реющий полет...
Не плачь, не плачь, посмертное рожденье
Не так уж мало радостей даёт.
Я молнией пронизываю грозы,
Лучом играю с книгой на столе.
Не плачь, мой сильный!
Видеть твои слёзы
Я не умела даже на Земле.*

Трудно рассказать обо всех. За три дня было прочитано более тридцати рассказов: в числе помянутых поэтов были также Роман Барьянов, Макс Батулин, Дмитрий Долматов, Эдуард Кирсанов, Тарас Трофимов, Евгений Хорват, Дмитрий Черниченко, в числе докладчиков были также Андрей Добрынин, Ольга Ермолаева, Алёша Прокопьев, Алексей Сосна, Андрей Филимонов, Наталия Черных. Актёры Максимилиан Потёмкин и Светлана Андрийчук разыграли репризу: изображая геологов-изыскателей, которые осуществляли символические раскопки, обнаруживая «свитки», «пергаменты», «треугольники» с биографиями и стихами ушедших поэтов. Ведущие Владимир Коркунов и Клементина Ширшова делали блиц-читку поэтов, о которых не было выступлений — Карл Ольгин, Олег Золотов, Алексей Сомов, Манук Жажоян, Сергей Арешин, Мирослав Андреев. И, наконец, третий день завершился докладом Александра Лаврина «Поэт и смерть: быт, экзистенция, выбор пути» и дискуссией участников и организаторов чтений о перспективах проекта...

ГЛАВА I

ПОЭТЫ, УШЕДШИЕ ДО ДВАДЦАТИ ПЯТИ ЛЕТ

Виктор КУЛЛЭ

ПОЭЗИЯ И СМЕРТЬ: МИЛЛЕНИАРНОЕ ОБОСТРЕНИЕ

*Доклад, прочитанный
на Вторых Литературных чтениях
«Они ушли. Они остались» 15 ноября 2013 года
в Библиотеке им. Лермонтова*

«**Ж**ить вредно. От этого умирают», — пошутил мудрый поляк Станислав Ежи Лец. Тайна смерти волновала людей с древнейших времён. Будучи составной частью природы, человек — просто чтобы обеспечить собственное существование — вынужден умерщвлять иные существа, вместе с ним обитающие на планете, ежедневно. И дело не в том, что по природе мы — хищники. С биохимической точки зрения разница между человеком, убивающим себе подобного ради пропитания, львом, пожирающим агнца, агнцем, щиплющим травку, и вирусами, размножающимися в теле живой клетки, невелика: все они отнимают чужую жизнь ради продления собственной. Следует признать, что человек стал *царём природы* не потому, что достиг каких-то невероятных духовных прозрений, сотворил шедевры искусства или изобрёл хитрые механизмы — природе это попросту безразлично. Всё, что мы именуем культурой, цивилизацией, прогрессом, стало возможным лишь как результат (порой побочный эффект) борьбы за право занять верхнюю строку в пищевой цепочке. Тут-то и началось самое интересное —

© Виктор Куллэ, 2016

ибо, взобравшись на вершину, люди смогли позволить себе роскошь абстрактного умствования.

Изначально мышление было предельно конкретным. Простой пример: палкой или камнем поразить жертву легче, чем голой рукой — следовательно, для охоты надобно запастись подходящими камнями и заострить палку. Но, ощутив себя *царями природы*, властными распоряжаться жизнью прочих соседей по планете, люди упёрлись в потолок. Одно дело погибнуть в бою, стать жертвой более сильного хищника — и совершенно иное: знать о неизбежности собственного ухода либо от неведомой напасти (по болезни), либо по причине старости. Моя мысль (вероятно, спорная) сводится к тому, что именно осознание собственной конечности и попытка проникнуть в то, что будет (и будет ли?) за гранью ухода стали мощнейшим стимулом к развитию в человеке мыслительной деятельности. Первопричиной возникновения науки и искусства.

В мысли о неизбежности ухода есть нечто чудовищно несправедливое. С ней можно либо смириться (так поступают животные, забываясь перед смертью в укромную нору), либо — противостоять. Именно стремлением противостоять собственной конечности обусловлено зарождение в человеке того, что впоследствии будет поименовано *духом творчества*. Тогда же к проблеме возникли два, кардинально отличных, подхода. Первый заключался в стремлении максимально отдалить (в идеале — вообще упразднить) неизбежный уход — таков путь науки. Второй — постичь смысл собственной конечности, понять, что ожидает нас после смерти и (по возможности) выстроить некие отношения с миром ушедших. Путь магии, религии, философии и — в конечном счёте — искусства.

Мне могут возразить, что некогда — на заре человечества — наука и искусство сосуществовали

в синкретическом единстве. Это так. Идеальный пример — учение Пифагора, включавшее в себя философию, математику, музыку, медицину, магию и поэзию. Началом их расхождения, вероятно, можно считать период перехода от античной парадигмы к христианству, когда на смену циклической модели времени пришла линейная. Парадоксально, но ярые поборники прогресса — как правило, относящиеся к религии скептически — не задумываются, что сама идея линейного поступательного развития восходит к некоей единой точке отсчёта. За которую — в современной европейской культуре — принято считать дату рождения одного конкретного человека. Рождество.

В дальнейшем расхождение стало неизбежным. Наука интересовалась будущим — она, естественно, была устремлена вперёд. Для искусства, направляющего взгляд вглубь, прошлое по преимуществу лакомее будущего. Ведь оно стремится обобщить опыт прожитого, сфокусироваться на каких-то вещах, некогда казавшихся незначительными, но со временем приобретающих решающее значение. Сказанное означает, что в сфере искусства (как, к слову, и веры) прогресс не то чтобы невозможен — лишён всякого смысла.

Отправной точкой нашего рассуждения стала мысль, что своим возникновением искусство не в последнюю очередь обязано конечности человеческого существования. Самый соблазнительный вывод: произведение искусства является для автора формой прижизненного сооружения памятника себе любимому. Достаточно вспомнить Горация с его «*Ægei monumentum*» — и всё, что из этих строк произошло. Но настолько ли всё просто в действительности?

Человек не в состоянии смириться с тем, что он смертен — и стремится к продлению себя в детях, в творениях, в благодарной памяти потомков. Помимо запечатлённой картины своего времени, он, естественно,

пытается оставить нам собственный автопортрет. И тут ситуация окончательно запутывается. Портрет эпохи проступает сквозь черты автора — порой искажая их до неузнаваемости. Не говоря о том, что творец по природе склонен к мифологизации собственной судьбы. Проще говоря, параллельно с созданием автопортрета запутывает следы, оставляет тайные знаки, загадки и шифры — которые, единственно, гарантируют произведению долгую жизнь. Ибо текст, понятый и прочитанный до донца, утрачивает обаяние тайны и умирает.

Главным творением автора в итоге становится не совокупность созданных им произведений, но — при наличии таланта, воли и благоприятного стечения обстоятельств — некая информационная капсула, отправленная потомкам. Опыт частного человека становится частью антропологического опыта человечества. Если мысль верна, то и дар жизни, и талант являются для нас не более чем исходными заготовками. Потенцией, за реализацию которой далее предстоит отвечать самому. Ведь высший смысл творчества не в создании стихов, музыки, полотен или статуй — но в работе автора над созиданием себя самого. Будет она успешна — есть надежда, что и искусству уготована долгая жизнь. Получается, людьми мы становимся не по факту рождения, взросления, достижения каких-либо успехов — а лишь в случае реализации заложенных в нас возможностей. Кто-то не становится вовсе. Процесс это тяжкий, трудоёмкий, зависящий от множества внешних факторов: начиная от окружающей среды и завершая случаем. Или судьбой.

Параллельно с попыткой созидания человека творящего, искусство — как было сказано выше — бьётся над загадкой конечности собственной жизни. Самостоятельно — независимо от религии — пытается понять, что ждёт

нас за чертой ухода. А по возможности — заглянуть туда хоть одним глазком. В эссе о Мандельштаме Бродский намекнул любопытствующим на жутковатую изнанку стихотворчества: *«Перефразируя философа, можно сказать, что сочинительство стихов тоже есть упражнение в умирании»*. Приведу изначальную мысль Сократа из платоновского диалога «Федон»: *«Те, кто подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним — умиранием и смертью»*. Мысль, продолженная в данном направлении, упирается в конечное — посмертное — торжество текста над автором. Получается, что, читая стихи ушедших поэтов, мы также соучаствуем в умирании. На деле ровно наоборот: обращение к опыту ушедших даёт навыки стоицизма. Для человека пишущего любой разговор о литературе неизбежно упирается в неявную попытку объяснить самому себе: я-то зачем этим делом занимаюсь? Или: чем для меня является это занятие? Чтение стихов — в идеале — попытка влезть в шкуру *иного* человека, дающая драгоценную возможность глянуть на себя чужими глазами.

Бродский всю жизнь занимался в стихах вопросом соотношения живой и мёртвой материи. Достаточно вспомнить знаменитый «Натюрморт». Если вдуматься, мёртвая материя — зеркало, в которое обречено глядеться всё живое. Но в точности таким зеркалом является и искусство. Сравнение искусства с зеркалом — одна из древнейших и наиболее устойчивых метафор. Ныне зеркало — вещь утилитарная. Его прямое назначение заключается в необходимости нанести боевой make-up и убедиться, что с причёской и гардеробом всё в порядке. Другая функция зеркала относится к области прикладной психологии: должны же дамы обретать ежеутреннее подтверждение тому, что именно они на свете всех милее, всех румяней и белее. Либо, наоборот, сокрушаться очередному поражению в позиционной

войне с морщинками. И, наконец, философское (магическое?) измерение, связанное с неиссякаемой темой двойничества и жгучим любопытством: что скрывается там, за амальгамой? На деле — проекция неизлечимого одиночества и тщательно маскируемого страха перед конечностью жизни. Едва ли не вся новейшая история искусствознания склонна редуцировать творения искусства именно до этих утилитарных функций.

Подлинное искусство подобному подходу противится. В нём, в отличие от науки, не действует принцип «бритвы Оккама» — «неумножения лишних сущностей». Напротив, искусство приветствует появление всё новых вариантов прочтения, толкования, понимания. Практика показывает, что лишь произведению, провоцирующему многомерность восприятия, суждена долгая жизнь. В идеале — бессмертие.

Мысль, к которой я подбираюсь столь извилистым путём, проста: мы живём в эпоху, когда мирному сосуществованию культуры и цивилизации пришёл конец. Прежнее параллельное бытование — а порой и плодотворный симбиоз — более невозможны. Причина — в разнонаправленности векторов развития. Каждое подлинное произведение искусства (явление культуры) в силу своей природы направлено на усложнение существующей картины мира. Цивилизация (и, соответственно, наука) стремится к её упрощению. Я не оговорился: сколь бы ни были сложны и совершенны достижения современной науки, их конечная цель — обретение более внятного, непротиворечивого, полезного знания. В этом и заключается идея прогресса. Его задача — обеспечение людям более комфортного существования. Цель, бесспорно, благородная — и находится в заведомо выигрышной позиции по отношению к искусству. Ведь оно, как сказано выше, вечно всё усложняет — а усложнение

неизбежно чревато дискомфортом.

Человек и без того смертен — не говоря о том, что подвержен болезням, страху, неуверенности в завтрашнем дне. Может быть, и впрямь не стоит ничего усложнять? Может, задача искусства не в метафизической изощёренности — а попросту в создании красоты, дарующей человеку радость и утешение? Ведь если финал жизни известен заранее — ни для сопереживания, ни для воображения места уже не остаётся. Так не проще ли обойтись без драматических эффектов и поставить во главу угла эстетическое наслаждение совершенством пропорций?

О том, что красота спасёт мир, человечество узнало вовсе не из романа Достоевского. Истина эта столь же стара, сколь, собственно, искусство. Как всегда, следует договориться о терминах. Изначальный импульс, побуждавший древнего человека украшать стены пещеры изображениями животных, имел магическую природу. А магия — штука утилитарная. Художник полагал, что стоит изобразить поражённого копьём бизона — и удача будет сопутствовать ему на охоте. Так или нет, не нам судить — но последующая эволюция искусства заключалась в постепенном высвобождении из-под ига утилитарности. Украшая дворцы владык, слагая гимны или возводя храмы, творцы стремились уже не только к тому, чтобы наилучшим образом выполнить пожелания заказчика — ими двигало собственное видение некоего недостижимого идеала, к которому надо приблизиться. Попросту — красоты. Причём красота эта воспринималась не только как радующая глаз совокупность пропорций, но и как отблеск высшей гармонии, лежащей в основе миропорядка.

Естественно, художник зависел от воли заказчика — но со временем искусство научилось навязывать потребителям собственную волю. Воспитывать их, поднимая до своего уровня. Собственно, в этом

и заключается его антропологическая функция. Оскар Уайльд однажды как нечто само собой разумеющееся заметил, что всякое искусство бесполезно. Высказывание блистательного циника следует понимать не как намёк на бессмысленность творческой деятельности — но именно как декларацию освобождения искусства из-под власти утилитарного. Превращения его в самодостаточную реальность.

Достоевский, утверждавший, что красота спасёт мир, упустил из виду, что с неменьшим успехом она может его и погубить. *Ars longa, vita brevis* — признавали древние. Но афоризм Гиппократа, дошедший до нас в латинском изложении Сенеки, изначально подразумевал иное прочтение. Речь шла не о том, что «жизнь коротка, а искусство вечно» — грек лишь констатировал, что искусство слишком велико, чтобы человек был в состоянии постичь его на протяжении своего недолгого пребывания на Земле. Новый смысл в крылатую фразу вдохнула эпоха Ренессанса. Именно она, заново открыв творения античности, горделиво провозгласила: *«Искусство вечно!»* То была уникальная эпоха, когда художник мог на равных общаться не только с земными владыками, но и с самим заместителем Бога на земле — Папой. Власть предрежащие стали относиться к искусству как к некоему запасному — альтернативному по отношению к загробной жизни — варианту бессмертия. Стоит ли удивляться, что шедевры, созданные на протяжении краткого промежутка времени, по сей день являются недостижимыми образцами? Каких бы высот ни достигал впоследствии человеческий гений, при сопоставлении с творениями Леонардо, Рафаэля и Микеланджело они прибавляют в скромности и обретают истинный масштаб.

Казалось бы, вот она — та самая красота, которая может (и должна) спасти мир! Уже создана! Недаром помянутый

Достоевский в своих мытарствах не расставался с репродукцией «Сикстинской Мадонны». На практике обернулось сложнее и непредсказуемее. Творения титанов Ренессанса превратились из универсального инструмента по воспитанию душ и формированию вкуса в *бренды*. Неважно — торговые, идеологические, либо относящиеся к сфере «актуального искусства». Выяснилось, что Моне Лизе можно запросто пририсовать усики, а Венера Боттичелли идеально подходит к рекламной кампании по продвижению пены для ванн. Мы только-только начинаем понимать, что красота, созданная ради спасения мира, сама нуждается в спасении.

«Вечное искусство» странным образом оказалось беззащитно перед натиском берущего реванш утилитаризма. Он проявляет себя не только в низведении искусства до уровня подтекстовок к попсовым шлягерам или дизайна интерьеров, но и в превращении его в рынок — к слову, сопоставимый по доходности с торговлей оружием или наркотиками. Некогда Цветаева люто тосковала по сотворчеству читателя — которое, единственно, гарантирует поэзии долгую жизнь. Не говоря о надежде на понимание. Дело было в середине 30-х, в предвоенной Франции, когда казалось, что серьёзная, «высокая» культура уже никому не нужна. «Восстание масс», только что описанное в гениальной книге Ортеги-и-Гассета, произошло — и люди, некогда бывшие для всякого пишущего адресатами создаваемых произведений, превратились в «читателей газет». С появлением ТВ, философии постмодернизма, а потом и интернета ситуация только ухудшилась.

Философия постмодернизма обернулась капитуляцией искусства, утверждавшего приоритет человеческой личности, самоценность индивидуума перед властью толпы. Беда в том, что толпа хотела уже не банального «хлеба

и зрелищ» — она хотела творить сама. Обрела голос та «армия поэтов», которую в ужасе провидел Мандельштам. И этим не преминул воспользоваться в собственных корыстных целях институт кураторов — толкователей и деятелей рекламы в одном флаконе. Не так давно один простодушно проговорился: *«Поэтом будут считать того, кого я на эту должность назначу»*. Вроде, можно лишь посмеяться: мало ли в мире чудаков с манией величия. На деле всё сложнее и печальнее. Волны «актуального самовыражения», заполонившие информационное пространство, лишают подлинных стихотворцев (а число их всегда невелико) шанса быть услышанными.

Одной из глубочайших утопий XX века стала идея превосходства критика (толкователя) над художником (творцом). Мы живём в мире посредников — и в этом смысле современный либеральный менталитет практически ничем не отличается от тоталитарного религиозного сознания. Кураторы и арт-критики объясняют, как следует воспринимать произведение искусства; эксперты-политтехнологи — чего ожидать от очередного судорожного телодвижения режима; профессиональные торговцы духовностью — как стать угодным Господу и снискать любовь Его. Мне это напоминает историю, бытовавшую в эмигрантском Париже 30-х годов. Вкратце она звучит следующим образом. Эмигрантские посиделки у Бердяева. Прославленный хозяин сыплет максимами, навроде: *«Господу это неуютно...»* — либо начинает какую-то мысль пассажем: *«С точки зрения Господа...»* Сидящий в углу язвительный Адамович, не выдержав, вопрошает: *«Николай Александрович, Вам-то это откуда известно?»* Анекдотичность истории не отменяет её жутковатого подтекста — восходящего к «Легенде о Великом Инквизиторе».

Увы, поэты и художники порой виноваты сами. Безмерное усложнение средств выражения

с неизбежностью приводит к возникновению касты толкователей. Уже упоминалось, что искусство — по мысли Цветаевой — требует сотворчества, т. е. душевной работы читателя навстречу автору. Но подобное требование накладывает определённые обязательства и на автора. Как минимум, он не вправе декларировать творение как энигматичную «вещь в себе»: я породил, а вы разбирайтесь, коли сумеете. Диалог — искусство двоих. Когда речь одного становится скучна и назидательна, либо темна и невнятна — собеседник вправе прервать разговор. К сожалению, разговор зачастую бывает прерван и когда речь заходит о вещах, для обсуждения неприятных или болезненных. Мы живём в мире, где искусство (похоже, окончательно) стало объектом потребления. А покупатель всегда прав.

Во времена советского детства и отрочества любая форма неангажированного творчества брезгливо именовалась «искусством для искусства». Полагалась занятием если не постыдным, то не очень достойным: формой эскапизма. Если не онанизма. Искусство (с большой буквы «И») считалось некоей миссией, «высоким служением», а сам художник (поэт) — фигурой исключительной, едва не героической. Что представлялось довольно лестным и находило весомое подтверждение в исторической реальности: вспомним Сталина, вопрошающего Пастернака о Мандельштаме. Проще говоря: поэт в России был больше, чем поэт. Годы спустя мозги прочистила строка Бродского: *«Искусство есть искусство есть искусство»*. Мысль, что стремление стать *«больше чем»* для него не только излишне, но и попросту губительно, вероятно, приходит с опытом. Смолоду всяк заворожён «штурмом и натиском». Но за романтической «штурмовщиной» грядёт похмелье, из которого считанное на пальцах число выходов. Либо смирить амбиции и «сыграть на понижение» — т. е. переквалифицироваться в потешающую, украшающую

и убажжающую публику ремесленную «обслугу». Либо попробовать себя в роли «учителя жизни», что на практике удаётся единицам, а чаще чревато чудовищной карикатурой. Либо — вовсе уйти на дно.

Знаменитому философу, одному из отцов Франкфуртской школы Теодору Адорно принадлежит высказывание, что «сочинять музыку после Освенцима — варварство». В другой редакции его слов вместо музыки фигурирует писание стихов. И то, и другое продолжает сочиняться по сей день. И дело отнюдь не в нашей толстокожести. Нормальная человеческая реакция — неудовлетворённость практическими результатами — приводит к ревизии предшествующего опыта. Подлинный поэт подобен врачу: он выносит диагноз состоянию общества и (если хватит сил и разума) предлагает пути к излечению. Получается не у всех — порой лечение может пойти и во вред. Современная поэзия по преимуществу сосредоточена на иных задачах: вместо лечения (или хотя бы психотерапевтической поддержки) она занимается пластической хирургией, косметикой — а порой и вовсе массажными салонами или чесанием пяток.

Я не к тому, чтобы призывать к обличению язв современного общества — этот путь также губителен. Искусство и политика — вещи не просто несовместные, по сути они — антиподы. Изначальная функция политики — разделение людей с целью дальнейшей манипуляции ими. Сказано: «Разделяй и властвуй». Задача искусства — как подмечено ещё Аристотелем — их коммуникация, объединение. Художник при этом может (и даже обязан) иметь гражданскую позицию. В ней он может быть прав или неправ — это его частное дело, к искусству практического отношения не имеющее. В качестве идеального примера можно вспомнить Данте. Ведь «Божественная комедия», в сущности, — гигантский политический памфлет,

по степени актуальности для современников сопоставимый с Солженицыным. Но кого из современных читателей волнует ныне правота гвельфов или гибеллинов?

Вопрошание Адорно по крайней мере имело под собой нешуточные основания: Освенцим, ГУЛаг, Хиросиму. Происходящее в искусстве у нас на глазах — вся эта «актуальная поэзия» или «новая искренность» — по сути, является идеей «обнуления», «перезагрузки» культуры. Подобная мысль могла возникнуть в головах, избалованных компьютерными играми — когда, в случае неудачи, можно попытаться пройти уровень заново. При этом она удручающе родственна и сбрасыванию классиков с парохода современности, и разрушению мира «до основанья, а затем...». Подобная «перезагрузка» не несёт в себе позитивного потенциала — он, похоже, направлена лишь на «перемену стола», а не на поиск путей выживания культуры в усложнившейся ситуации.

Рубеж тысячелетий стал для отечественной поэзии роковой вехой. Помимо миллениарного обострения, стихотворцам суждено было пережить гибель страны и привыкать к бытованию в новой реальности. Дело не в поимённом перечне замечательных стихотворцев, ушедших из жизни в эти годы — рано или поздно умирают все. Дело в том, что само писание стихов в какой-то момент стало представляться занятием бессмысленным. Уровень «белого шума», создаваемый бессчётной армией интернета, заглушил немногие голоса, пытающиеся транслировать внятную и выстраданную информацию. Тут нет ничего необычайного — мало кто из больших поэтов был услышан при жизни, обратных же примеров бесчисленное множество. Но раньше у пишущего оставалась хотя бы надежда на «провиденциального собеседника». В нынешней ситуации, когда само существование поэзии поставлено под вопрос, многие стихотворцы уже не в состоянии справиться

Поэзия и смерть: миллениарное обострение

с перспективой абсолютной глухоты. Ведь время, потраченное на писание стихов, — украдено у жизни. Всякий пишущий идёт на этот выбор сознательно. Но если стихи заведомо лишены шанса когда-либо стать услышанными — потраченная на них жизнь лишается смысла. Жить становится незачем. Попытка проломить головой каменную стену подразумевает — пусть ничтожный — но всё-таки шанс на успех. Ватную стену проломить невозможно. И тогда смерть предстаёт едва ли не наилучшим выходом, последней отчаянной возможностью привлечь внимание к сказанному. «Умру — *полюбите, а то я вас не знаю...*» — горько пошутил Гандлевский.

Но не хочется завершать на надрывной ноте. Культура, как бы её ни оплакивали, исхитрялась выживать и в более неблагоприятные времена. Достаточно вспомнить о крушении Римской империи и тёмных веках, пришедших на смену античности. Кто в ту пору мог помыслить, что — несколько столетий спустя — станет возможной эпоха Ренессанса?

Арсений БЕССОНОВ
(1981 — 2005)

Арсений Бессонов родился в 1981 году в городе Березники. С 1986 года жил в Перми. В 2002 году окончил исторический факультет Пермского государственного университета. Поступил в аспирантуру кафедры философии Пермского государственного педагогического университета. Лауреат «Илья-Премии» 2001 года. Стихи публиковались в сборниках «Пробивается первая зелень» (серия «Илья-Премия»), «Приют неизвестных поэтов. Дикороссы», нескольких альманахах (в том числе — альманахе «Илья»). Умер 16 июня 2005 года.



**БЛАЖЕННЫЙ, НЕЛОЖНЫЙ,
НЕТЛЕННЫЙ**

* * *

Дети и звери, играйте потише, потише,
Ведь бог — он уснул.
Пусть же он спит, и не слышит, не слышит, не слышит
Наш плачущий гул.

Пусть же он спит, и не слышит, не видит, не внемлет
Стенаньям людским,
Пусть ему снится блаженный, неложный, нетленный
Наш мир без тоски.

© Наследники Арсения Бессонова, 2016

Мальчик Адам там с беспечной девчонкою Евой
Играют в саду.
Ветви беспечные вечного доброго древа
Отводят беду.

Все позабыто: искус, да и плод запрещённый,
И Бог-конвоир.
Все понимает беспечный, молочный, прощённый
Прощающий мир.

Он, яко матери, надеждой пьянящей, нетрезвой
Своих кормит чад.
Значит, не будет надломов, обломов, надрезов,
Надрывов, надсад?

Слушай, ведь мой это голос мальчишеский, звонкий
Колышет цветы...
Все поправимо... Ведь я — тот наивный мальчонка,
А девочка — ты.

УМАЛЕНИЕ

К ясной твоей глубине прикасаясь,
Я и теряюсь и умаляюсь —
Меньше себя становлюсь во сто крат.
Нет меня — есть только почва и завязь
Будущей жизни, и пусть я и маюсь,
Каюсь,
Стараюсь,
Смиряюсь, —
Я рад.
Рядом с огнём твоего благородства
Я умаляюсь до детского роста,

Малым, капризным дитём становясь.
С сердца слетают наросты, коросты —
Ниточкой от колыбели к погосту
Вмиг заплетается ясная связь —
С миром нетронутым братская связь.
Вот я в песочнице детской ребёнок.
Дом мой песочный так хрупок и тонок!
Влагой в песок утекает тоска,
Хоть и не знаю я, глупый цыплёнок,
То, что лишь тот, кто вчера из пелёнок,
Строит дома на песке из песка.

РОЖДЕНИЕ НЕЖНОСТИ

Почему с желчной болью набухших желёз
Просыпается мальчик, краснея до слёз,
Лет в тринадцать-четыренадцать, дни пубертата,
И боится, не зная, что просто так надо,
Что теперь все иначе, все просто всерьёз?

Не от страха ль железа волнение желёз? —
Страха жернова жизни железных колес,
Перед жерновом тяжким железного века
И железной рукою того дровосека,
Чьи нержавеющие нервы не ведают слёз?

Плачьте, железы детства, бессмертной весны,
Напрягайтесь страданьем дрожащей струны
Иль мехов той надрывно-раздольной гармонии,
Пусть текут из мехов ваших с болью гормоны
Током семени, слёз и бурлящей слюны.

Где там млечная речка с кисельной волной?
Андрогенов потоки по крови больной

Разливаются, мышцы лица сочетая
В отвораченья гримасу, и, страхи глотая,
Ты заносишь кулак над чужою десной.

Успокойся, постой! Ведь расслышать легко
Через скрежет железных миров, далеко —
Шёпот: «Милый!», чужое живое дыханье...
И прольётся по деснам родного созданья
Теплой струйкой чужой железы молоко.

* * *

*Легче верблюду пройти через угольное ушко,
чем богатому в Царство Небесное.
Евангелие от Луки*

Вот хороший сюжет для Босха — безо всяких красот и лоска:
На арене земшарного цирка, на его всесветных подмостках,
Фарисеи с менялами вместе представляют новое чудо —
Небывалый доселе номер под названием:

«Прыжок верблюда
Сквозь ушко той иголки древней с наступленьем
Божьего Царства —
Того самого райского града — только лучше
и круче гораздо».

— Новый век! Рай земной, досрочный —
до сих пор небывалое что-то —

На основе труда и меры, справедливости и расчета!
— К черту праздных и бесполезных!

Нет безумцам и нытикам входа!
Твои силы и время — деньги. Твои деньги — твоя свобода!
И стоят со своей иголкой над покорным старым верблюдом,
Что застыл с тоскою во взоре, понимая, как влип он круто.
— Ну давай, ну давай, родимый! Постарайся же, ради Бога!

Арсений Бессонов

Поднатужься, не осрами нас! Ну ещё, ну ещё немного!
И поняв, что чужды их просьбы бесполезной скотине кроткой,
Дрессировщики с видом строгим начинают работать плеткой.
Но... в момент отчаянный самый выпадает из рук иголка,
Исчезая навек, бесследно, безо всякого смысла и толка.
И под грохот взбешённого зала, неожиданно и мгновенно,
Меркнет свет, обнажается купол, и летит под землю арена.
...В темноте немой, предрассветной старушонка
в белой косынке

Над лицом обожжённо-черным, с тихим стоном:

«Сынки и жинки...»

Нашей горькой тщеты коросты увлажняет слезой несмелой,
Вековечные наши слёзы утирает косынкой белой.

* * *

Ты не слышал мычащее млеко?
А жужжащий, как улей, мёд?
И что в крике младенца от века
Материнско-отцовская нега
Над печальями жизни поёт.

И когда старушонка седая
(Сто морщин как древесных колец),
Для правнучки колготки латая,
Засмеется как та молодая
Покорительница сердец,

И внезапно уронит иголку,
То услышит вдали голоса. —
Как когда-то дружок её, Колька,
Ей шепнул: «Ведь до гроба?» — «Не только!»
Нет, не только... И гаснут глаза.

Юрий БЕЛИКОВ

**ПЕРМЬ БЕЗ МОЦАРТА,
или СТЕРЖЕНЁК АРСЕНИЯ БЕССОНОВА**

За день до его ухода от камского берега отчалил «Катер поэтов». Так я назвал нашу затею — выйти на судёнышке поэтической братией. Причем не только пермской — к нам присоединялись иногородние поэты-дикороссы: из Екатеринбурга — Олег Балезин (ныне тоже, увы, покойный!) и аж из Новосибирска — Константин Иванов. Кстати, член жюри Илья-Премии.

Арсений Бессонов был одним из первых её лауреатов. Как странно нынче объединила их судьба — Илью Тюрина, памяти которого посвящён общероссийский конкурс молодых поэтов, и Арсения. Илья утонул в 19, купаясь в Кировском затоне Москва-реки. Арсений в 19 стал обладателем Илья-Премии. В 23 — членом Союза российских писателей. Самым юным. Во всяком случае, в Перми.

*А по залу бежит шепоток:
— Этот Моцарт... он — просто везунчик.
Ему дать... ну, хотя бы глоток
Нашей жизни меж днями получек.
— От рождения всё получил:
Вундеркинд... и лицо херувима.
Всё легко — без борьбы, без кручин.
Если б нам так! Ах, мимо, всё — мимо!*

В Арсении действительно царило моцартианство. В учёбе (он поступил на историко-политологический факультет классического университета в 16). В науке (его наставники-профессора прочили большое будущее молодому философу). В работе (в последнее время он преподавал религиоведение в медицинском колледже и репетиторствовал, и все его ученики сегодня поступили в вузы). В творчестве (какой разговор?!). Но только он не делал из творчества культа. В предисловии к лауреатской книжке «Пробивается первая зелень», вышедшей в московском издательстве «Алгоритм» в 2001 году, где в числе пяти юных авторов была опубликована и подборка стихов Арсения с характерным названием «Рождение нежности», я окрестил его катакомбным поэтом. Мне нравилось, что Бессонов не досаждал своей персоной редакциям, мэтрам, не суетится, как иные сверстники, отвергает искусительные поползновения со стороны «смотрящих по уральскому андеграунду», знает цену и «смотрящим», и не смотрящим. Живёт!.. Не утруждает себя высасыванием из пальца умозрительных текстов.

*...В строгом торге, что жизнью зовём,
Всё оплачено потом и плачем..
Не гоните ж мечом и огнём
Эту лёгкость без платы и сдачи!*

Предупредил. Кого? Да нас с вами! Потому что чувствовал и понимал: лёгкость моцартианства гонима. Всегда. Особенно — теперь.

...Но «Катер поэтов» уже отчалил. За два дня до этого я звонил Арсению — по замыслу моему, он тоже должен был плыть на «Катере». Но телефон не отвечал. А наутро, вбирая в себя расплавленное пространство реки Чусовой, с противоположного берега тревожно разливался дальний

колокольный звон... Почему в рукописных листах Олега Балезина (получается, пророческих и по отношению к самому себе) оказалось тогда такое стихотворение:

*Я больше не могу смотреть друзей в гробу.
Латать прорехи в воздухе мне нечем.
Берёза, глина, вервь, удушье в зобу,
Родители друзей, раздавленные плечи...*

Арсений ушел в 24. И даже предсказал день своего ухода. Мужество его потрясает. Будучи тяжело больным (о чём знали единицы), звонил мне и говорил:

— Я — так, попроведать... (Старый такой, вышедший из оборота глагол).

До самого последнего дня читал лекции — уже лёжа в постели — ученикам.

Аура его личности, опирающаяся на сольное имя-фамилию, сама стала едва ли не самозванской мифологией. Лауреатский триумф Арсения, конечно же, шагнувший в Интернет, обернулся экзотическими откликами: где-то в Санкт-Петербурге вдруг объявилась некая поэтесса, нарекая себя Арсенией Бессоновой. У юной красноярской собирательницы сибирского фольклора и прозаика Дарьяны Антиповой примерно за год до рокового дня я обнаружил строчку: «*Лежит, моцартея, Арсений Бессонов...*» Уже после ухода Арсения — на одном из сайтов — полное совпадение: «Поэт Арсений Бессонов». Только — фото другого человека и никакие стихи.

...Плачет в телефонную трубку Ирина Медведева, мама Ильи Тюрина.

— Я клянусь тебе, Юра, — говорит из Переделкина Марина Кудимова, когда-то в качестве председателя жюри Илья-премии назвавшая Бессонова лауреатом, — сегодня я проснулась и сказала: «Арсения больше нет!..»

Слышишь, Арсений? Мне не хватает твоих ни к чему не обязывающих звонков, оценок происходящего (если Арсений сказал, значит, так оно и есть), вечного твоего стерженька от авторучки, который ты не выпускал из рук, как непритязательную, но мощную антенку, связующую тебя и нас с Высшими силами... Хожу и повторяю:

*Разве Моцарта ты не встречал
На заснеженных улицах наших?*

Почему в Перми не приживаются Моцарты?..

Первая публикация: журнал «Литературная Пермь», № 3, 2005

Алексей ИЛЬИЧЁВ
(1970 — 1995)

Родился в Ленинграде и всю жизнь прожил на окраинах города — сначала в Сосновой поляне, а потом в Рыбацком. После восьми классов школы закончил техникум. Служил в армии, работал на стройке. Рисовал, писал прозу. Увлекался восточной философией. В феврале 1995 года вышел сборник стихов «Наброски равновесия». Летом 1995 года утонул под Москвой. Посмертно стихи опубликованы в журнале «Волга», № 1–2, 2013 (подготовка текста и публикация Владимира Орлова) и на портале «Сетевая Словесность» (полное собрание стихотворений).



АКРОБАТ БЕЗ ШЕСТА

* * *

Жизнь становится проста —
Легче и больней,
Акробату без шеста
Легче и вольней.

Птица с каменных деревьев
В воздух входит вброд,
Остаётся, умерев,
Жить наоборот.

* * *

Мне хочется выплыть, как камню, на берег,
Или, как горбатой горе, разогнуться.
Вверху над египетским цирком империй
Натянут канат и нет места сомкнуться.

Излишек бесплатного воздуха слева и справа
Ненадежней, вернее каната,
И там на песке отражается тенью корявой
Слепой силуэт, приглашая к себе акробата.

* * *

Я лишаяюсь ног перед тем, как — в путь,
Я лишаяюсь рук перед тем, как плыть,
Если хочешь жить — обо всём забудь,
Обо всем забудь — если хочешь жить.
Ты как камень гол, ты как воздух пуст,
Ты стоишь в себе, ты готов лететь,
Если хочешь петь — не отверзни уст,
Не отверзни уст, если хочешь петь.

* * *

До свиданья. Радоваться поздно.
Мы простимся на мосту подводном.
Может быть, над нами светят звёзды,
Фонари и что тебе угодно.

Уходи, шатаясь аккуратно,
Скукой ум не перенапрягая.

Я верну себя тебе обратно,
Если тьма и смерть не помогают.

Всё прозрачно — ничего не видно,
Всё возможно — ничего не будет,
Обижают — даже не обидно,
Залпом из разряженных орудий.

Словно шар накачивают газом,
Эта тяжесть не имеет веса.
Позади нацеленного глаза
Видно край нехоженого леса.

* * *

Бездельник выходит с работы,
В руках его сумка, а в ней
Немного тяжёлых камней
И ложка ещё для чего-то.

Бездельник садится в троллейбус
И видит далёкий плакат —
Там голая белая дева
И надпись на трёх языках.

Бездельник глаза закрывает,
И музыка сразу звучит,
И дева во сне, как живая,
Ему подаёт кирпичи.

И дева другая лопатой
Готовый раствор подаёт,
А третья считает зарплату
И грустную песню поёт.

* * *

Всё тише и тише,
И я уж не слышу, а брежу,
И нежные руки
Об острую музыку режу.

Ненужная пыль
Закружилась, и, кажется, нет
Того, кто спросил
И того, кто услышал ответ.

И лишь в глубине
Как звезда из колодца,
Невидимый мне
То поёт, то смеётся.

* * *

Закатился камушек в дальний уголок,
А у нас, голубушка, нет ни рук, ни ног.
Ах, у нас, родимая, нет и уголка,
А про этот камушек я солгал слегка.

СТАРУХА

Проходит мир, потом война,
И в ожиданье винограда
Старуха смотрит из окна,
Как наблюдатель из засады.

Когда созреет виноград,
А может быть, и не созреет,

Старуха голову побреет
И постепенно выйдет в сад.

И сразу трепетную мякоть
Сухими пальцами сожмёт,
И сок кровавый потечёт, —
Тогда старуха станет плакать,

И тут появится старик,
Как продолженье разговора,
Одетый в шапку и парик,
Похожий на живого вора.

Старик к старухе подбежит,
Под ветром шапку обнажая,
А та старуха уж лежит,
Старуха не соображает.

И только кровь из головы
Стекает, спутываясь с соком,
И убегает в грязь кривым
Пересыхающим потоком.

* * *

В пустом пространстве ты станешь напрасным шагом,
Широким звуком, кольцом, колесом с обрыва,
Напрасно ты говоришь, закрывая лицо бумагой, —
Твое дыханье в руках у тебя, как рыба.

Поодаль кто-то глядит на тебя с усмешкой,
Понятной, как подтвержденье, похожей на опасенье.
И если твоя монета упала на землю решкой,
Орел пролетает сверху, ее закрывая тенью.

* * *

Я потратил всю жизнь на шуршание, шелест и шорох,
Ухватившись за вьющийся шнур боязливой рукой.
Громоздясь на себя в продолженьях и жадных повторах,
Я лежу на земле и желал бы увидеть покой.

Сколько было угля сожжено ради чёрного дыма.
Дым глаза разъедал и вползал червяком в небеса.
Я желал бы не зреть повторенья того, что всегда повторимо,
И вчерашнюю боль, как синяк, до утра не чесать.

Ведь остался в живых лишь солдат, притворившийся мёртвым.
Он поднялся с земли и не мог ничего говорить.
Я желал бы увидеть все, что тут написано, стёртым,
И от царских гонцов поскорей ворота затворить.

* * *

То, что меня гнетёт, меня не гнёт, но гонит.
Ещё дрожит тугая тетива,
А мёртвая стрела в каком-то море тонет,
Где море спит, и не должно вставать.

Как муха полуумная над спящим,
Над морем стынет каменный закат,
И рыба со стрелой в губах неговорящих
Плывёт вперёд, пытаясь плыть назад.

* * *

Как-то мама мыла раму,
Маша мыла руки мылом.
Что потом случилось там —
Память глупая забыла.

Запустила ль мылом Маша
Мимо мамы, да в стекло,
Только помню, было страшно,
Крови много утекло.

Зоя БАРЗАХ

ЖИТЬ НАОБОРОТ

Э то, пожалуй, самая удивительная встреча, связанная для меня с лито Лейкина. Чудо, закончившееся внезапно, трагично и нелепо.

«Извините за такой вопрос, скажите, пожалуйста, Вы только правду скажите, извините, а мои стихи — полное г... или не очень?», — странный юноша, пришедший на наше сборище в первый раз и вызвавший проводить меня до метро, подбирает слова с заметным трудом. Мне отвечать ему не проще. Не хочется обижать парня, да и стихи — отнюдь не полное это самое, просто рифмы слабы, размер не выдержан, мысли зачастую банальны. Да и сам молодой человек явно, что называется, не нашего круга: к нему больше всего подходит советский штамп «простой рабочий парень». Ну и стихи соответствующие. Только одна строфа из той первой подборки запомнилась мне, наверное, на всю жизнь:

*Я полюбил свою лопату,
Я полюбил свою работу,
Я полюбил свою зарплату...
Пусть и меня полюбит кто-то.*

Вдруг — прорыв. Меньше чем через месяц, как мне помнится сейчас, невзрачные куплеты сменяются по-настоящему глубокими и, главное, ни на что не похожими стихами. Так уже не могли, да и никогда не могли мы,

© Зоя Барзах, 2016

«лейкинцы» со стажем, у которых за плечами были «Ленинские искры» перестроечных времен, а также филфак или как минимум философский, мы, которые, по крайней мере, со средней школы знали, что штампы и глагольные рифмы — это плохо, а Бродский и Пастернак — это хорошо. Лёша находил своё «хорошо» и «плохо» сам, между незнакомыми нам заводскими задворками и ощупью, без университетского поводыря изучаемыми книжными полками, на наших глазах сознавая и строя себя очень необычно — и, как я теперь понимаю, очень тяжело.

Это потом, когда все уже произойдёт, когда всё уже будет кончено, мы станем замечать, как навязчиво возникала в его стихах тема воды, падения, плавания, захлёбывания. *«Мне хочется выплыть, как камню, на берег»*. *«Я лишаюсь рук перед тем, как плыть»*. *«Мы простимся на мосту подводном»*. Да и название сборника — «Наброски равновесия» — невольно приводит на память то, чего никто из нас не видел и видеть не мог: треснувшие перила моста через подмосковную речку, фигуру человека, тщетно пытающегося поймать ускользающее, уже ушедшее равновесие.

*Птица с каменных деревьев
В воздух входит вброд,
Остается, умерев,
Жить наоборот.*

Но, как известно, нет ничего проще, чем толковать — и даже придумывать — пророчества *post factum*, когда они уже сбылись. На самом деле трагическая нота в стихах Ильичева происходила отнюдь не от предчувствия гибели. Навсегда чужой в своей среде, так и не вписавшийся в чужую, Алексей во сто крат острее, чем «обычный» молодой человек двадцати с небольшим лет, переживал одиночество, покинутость, отсутствие опоры, того самого

равновесия, создать которое так и не получилось, вышли только наброски.

*Закатился камушек в дальний уголок,
А у нас, голубушка, нет ни рук, ни ног.
Ах, у нас, родимая, нет и уголка,
А про этот камушек я солгал слегка.*

Его необычность, неловкость, отсутствие техники — или какая-то своя техника, меньше всего похожая на нашу вышколенную, тиражированную «оригинальность» — только усиливает это впечатление. Это тот груз, который тащит за собой «бездельник» из своего совершенно непоэтического рабочего мира: *«Немного тяжелых камней/ И ложка ещё для чего-то»*. Бросил бы он это — был бы совсем другим, не таким непохожим. Хотя, наверное, ему было бы легче...

Легче уже не будет. Не будет и тяжелее. «Наброски равновесия» так и остались набросками. Чудо, которое нам довелось наблюдать, закончилось трагично и нелепо. Как все чудеса в этом мире.

Илья ТЮРИН (1980 — 1999)

Родился в Москве. Учился в лицее при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). С детства сочинял стихи, но основной цикл был написан в 1995–1997 годы. В эти же годы Илья Тюрин создал рок-группу «Пожарный Кран», был её бас-гитаристом и автором большинства песен. Год работал в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, а в 1998 году поступил на педиатрический факультет Российского государственного медицинского университета (РГМУ), продолжал писать песни, эссе и статьи.



24 августа 1999 года Илья Тюрин погиб, утонув в Москва-реке. В мае 2000 года в издательстве «Художественная литература» вышла книга Ильи Тюрина «Письмо». В 2001 году в журнале «Новый мир» опубликовали записные книжки Ильи Тюрина «Многоotchие в конце человека» с предисловием Юрия Кублановского. В Москве и Пушкинских Горах проходил фестиваль поэзии памяти Ильи Тюрина «Август». По драме в стихах Ильи Тюрина «Шекспир» поставлены спектакли «Принц И.» и «Шекспир». В 2000 году были учреждены Фонд памяти Ильи Тюрина и премия памяти Ильи Тюрина в области литературы «Илья-премия». По итогам конкурса в книжной серии «Илья-премия» долгое время издавались книги победителей, с 2002 по 2014 гг. выходил ежегодный литературный альманах «Илья». В Библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, которую посещал Илья Тюрин, открыт Дом Поэтов.

УДВОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

СТИХИ ПОД ТРЕМЯ ЗВЁЗДАМИ

I.

За стеклом неизбежная родина,
Как сосуд для усталого голоса.
Третий Рим — гениальный юродивый —
Расправляет лохмотья и волосы.

Рассыпается утро дублонами
В грязной шапке неназванной площади,
Нищий ветер с земными поклонами
Глухо шепчет: «Спаси тебя, Господи...»

Усмехаются, злы и нечищены,
Под мостами пустынные лодочки,
И фонарные тени ручищами
Собирают полушки «на водочку»...

Неказистые первенцы города,
Неживые от штампов бессонницы,
Умывают безбрежные бороды
В сотнях тысяч оконных Солнц.
С нами день! Беспокойные пальцы
Рвут затишье безумной палаты,
И в асфальтовых трещинах скалится
Стольный град — городской бесноватый.

24.01.96

Обычно и соединяет точки
Лица и света, в каждой опознав
Свою вершину.
И свой конец. И свой обратный знак —
Первопричину
Всего, что составляет новый день,
Бредущий через...
...Так на лицо отбрасывает тень
Грядущий череп.

10.04.96

* * *

Я уеду из дома,
Не услышав от стен
Ни добра, ни худого:
Насовсем, насовсем.

Будет ветер и пусто.
Мне идти одному:
Я последние чувства
Все оставил ему.

Через арку направо,
И вперёд до огней.
Вот мой Реквием — bravo! —
В перелётном окне.

Десять тактов навстречу
Голубям на карниз, —
И вприпрыжку на плечи
Переулка. И вниз.

Брось печалиться, ужас,
Пережди. Не дрожи
О консервах на ужин,
И не бойся за жизнь:

Там, за парой балконов,
Различимых к утру,
Тело станет законным.
Значит, я не умру.

18.11.96

ВДОХНОВЕНЬЕ

Когда над миром, пущенным под гору,
Я возвышаюсь и гляжу с высот —
Я вижу новый мир, и он мне впору,
Как время — ходу комнатных часов.

Когда и эту область я миную,
И вон спешу, от наблюденья скрыт, —
Я чувствую, что знаю жизнь иную,
Чей торс трудом старательным изрыт.

Я слышу, как работают лопаты
И льется мат пришедших до меня
И после: я бывал и здесь когда-то,
Здесь пьют, мои куплеты помяня.

Я жду угла, где их не слышен голос —
И мой от них настолько вдалеке,
Что стих уже свою не чувствует скорость,
И в чистый лист вступает налегке.

31.01.97

ПРОВИНЦИЯ

Городок, городок... То и дело
Словари, спотыкнувшись, плюют
На бесовское место: и мелом
Побелён придорожный уют.

Как личинка заводится в Боге
(Не спеша? Весь орех впереди), —
Переводишь бессмысленно ноги
И теплу доверяешь пути.

Вот как сделано счастье России,
Счастье мук и земного кольца:
Будто мы дурачка упросили
Нам ни меры не дать, ни конца.

Вот что сделала даль: бесполезный,
Потому и единственный жест.
Мы не спорим — как век наш железный,
Всё занявший, не требовал мест.

И беспечность — избыток кромешной,
Для которой и души тесны,
Тьмы и бедности — только поспешный
Крик с вершины, что мы спасены.

Три часа не хочу оторваться.
Будто в лжи откровенье нашло
То, что вслух побоялось сорваться,
Но и в истине жить не смогло.

Небо движется как-то толчками.
Гибель — спешка, густой недосуг.

Всё, что нужно, мы делаем сами —
Лишь у горя не тысяча рук.

21, 22.04.97

ОСТАНОВКА

Как кружатся кварталы на Солянке,
Играя с небом в ножики церквей,
Так я пройду по видной миру планке —
Не двигаясь, не расставаясь с ней.

Дома летят, не делая ни шагу,
Попутчиком на согнутой спине.
И бег земли, куда я после лягу,
Не в силах гибель приближать ко мне.

Танцует глаз, перемещая камни,
Но голос Бога в том, что юркий глаз —
Не собственное тела колебанье,
А знак слеженья тех, кто видит нас.

Среди толпы Бог в самой тусклой маске,
Чтоб фору дать усилиям чужим:
Чей взор богаче на святые пляски?
Кто больше всех для взора недвижим?

30.04.97

* * *

Слышишь? Ночью так хочется пить.
Значит, конечно с новой зимою.
Нам дано и в молчании жить,
Как не могут ни реки, ни море.

Майский чёрный — как молотый сорт —
Чёрный час налегает на веки,
Но сознание поставит рекорд —
И проступит окошко в прорехе.

Далеко ли теперь до него?
Тишина расстоянью не мера.
И в обеих для нас ничего
Не оставлено: воля и вера.

Ночью слово само по себе.
Мы находим в беззвучии место —
Это вера диктует судьбе
Непонятное силою жеста;

Это воля — ты знаешь ли сам? —
Божья мать, материя, милость
Так же тихо сопутствует нам,
Как Эдипу в молчанье открылась.

3.05.97

* * *

Прикрыв от тяжести лицо,
Я передал его ладоням —
И только голое яйцо
Сидит на теле постороннем.

Но видеть продолжал зрачок,
Но слышать требовали уши, —
И только наблюдать я мог,
Как мир младенцем рвётся в душу.

По прихоти его стеклись
Такие силы отовсюду,
Что недостойную причуду
Я принял за слепую высь.

И миг оформился в слова,
И ринулся в её пустоты.
И давит честную зевоту
Нетронутая голова.

5.05.97

* * *

Е. С.

Как ты чуяла тишину, исходившую из моих
Удивлённых речей, или бывшую вместо них!
Как могла сочетать этот слух с глухотой, с нуждой
Дирижёра прервать моё соло, сказав: Ну что?
Так и будем молчать? Я смолкал, и осколки слов

Возвращались на кухню. И у четырёх углов
Появлялась возможность им вторить — но и они
Скоро тихли, заметив, что вновь говорят одни.
У молчания не было тем, и я думаю: как узка
Тропка для толмача — за отсутствием языка,
И какой же проспект мы оставили для семьи
Приблизительных смыслов безмолвия, для семи
Дней недели, прошедших той осенью — чей парад
Завещал мне лишь боль, как оставленный транспарант.
Как ты трогательно ничего не хотела знать
О молчании. И я был счастлив, когда ты (знать,
Неспроста) отплывала на тесный балкон — курить,
Ибо видел, что больше не в силах тебя смирить.
Как я всё же ценил твою смелость! Никто до тебя не смог
Оценить эту форму любви, не приняв комок
Безотчётного в горле — за комплексы или стыд.
Я признателен тем, что я верен тебе. Простит
Или нет мне мой разум, но и до сих пор, храня
Эту верность, я твёрд — и никто не узнал меня
Так, как ты: за столом, где слова ещё ни к чему,
И в беседу мешается чайник, как памятник молчуну.

17.01.97

РУБЛЁВ

Мне чудится счастье, не данное мне,
Когда посторонним пятном на стене
Я вижу Богиню и сына её
И тело теряю своё.

Мне кажутся знаки их временных бед
Навечно влитыми в мой собственный свет,

Как будто узла этих лиц тождество
Дало мне моё Рождество.

Здесь два расстоянья меж них сочтены.
Одно — сокращённое взглядом жены,
Второе — Ему в складках мглы золотой
Открылось доступной чертой.

И воздух сгустился. И трещины дал
Трагических судеб единый овал,
И мимо две жизни прошли, и года —
Как им и хотелось тогда.

И слезы встают за пропавшей стеной,
Минутой терпенья скопляясь за мной.
И в недрах земли, где минуты не жаль,
Со звоном сломалась деталь.

8.05.97

* * *

В дурном углу, под лампой золотой
Я чту слепое дело санитара,
И лёгкий бег арбы моей пустой
Везде встречает плачем стеклотара.

Живая даль, грядущее моё —
Приблизилось: дворы, подвал, палата.
Всеведенье и нижнее бельё
Взамен души глядят из-под халата.

Тут всюду свет; и я уже вперёд
Гляжу зрачком литровой горловины;

И лишний звук смывает в толщу вод,
Пока строка дойдет до половины.

Я счастлив, что нащупал дно ногой,
Где твердо им, где все они сохранны.
Я возвращусь, гоним судьбой другой —
Как пузырёк под моечные краны.

11-13.08.97

Подборку составила Марина КУДИМОВА

Марина КУДИМОВА

СЛОЖНАЯ ПРЯЖА

«*Как мир меняется, и как я сам меняюсь...*» Стихотворение Заболоцкого «Метаморфозы» преследовало меня, когда я после перерыва в несколько лет вернулась к стихам Ильи Тюриня. Так бывает — стихи зовут за собой стихи. Илья был тот же, кто ошеломил 15 лет назад, и совсем другой. Конечно, другой стала я. Но дело не только в этом. Феномен настоящей поэзии заключается в непрерывном развитии, как контекста, так и непосредственно текста. Начиная с определённого времени, это происходит независимо от присутствия или отсутствия автора. Если вы прочтёте, положим, «Зимнее утро» Пушкина при солнечном свете или густой облачности, хорошо отдохнувшими или невыспавшимися, после радостного свидания или любовной неудачи, ручаюсь, это будут совершенно разные прочтения.

И в случае Ильи Тюриня натурфилософия текста продолжает действовать там, где «области заочны» заведомо взяли верх над рациональными принципами постижения, и стихи, написанные юношей, не переступившим порог 20-летия, трансформировались во времени. И эта эволюция более чем что-либо другое подтверждает исходную правоту. Значит, не только ювенильная составляющая — «неопытный возраст» создателя — поразила полтора десятилетия тому. Значит, тогдашнее ощущение чуда не было иллюзией и самообманом.

© Марина Кудимова, 2016

Общими нашими усилиями освоения чужда стихи Ильи Тюриня вошли в ткань поэзии XX века и прорвались в век XXI. Илья за истекшее время стал одним из самых цитируемых и «присутственных» поэтов рубежа столетий. Это обстоятельство уже не могло не воздействовать на строки, строфы и саму поэтику. Читать признанное — совсем не то же самое, что открывать новое. Уплотняется и усложняется система восприятия, близорукость сменяется дальновзоркостью, чувства трезвеют. В общем, происходит всё, что свойственно человеку при смене возрастных категорий. К тому же изменился и состав истории, в которой мы живём и в насыщенном растворе которой неизбежно существуют наши стихи. Жажда мальчиков середины 90-х («Слышишь? Ночью так хочется пить») сменилась горьким похмельем. Лет 10 назад я бы выбрала для антологии совсем другие стихи Тюриня.

Всего три года подряд Илья пробыл тем, кто по праву дарования, а не одной юности, остался в русской поэзии. За три года он проделал путь, на который у многих уходят десятилетия упорной работы. И если стихи 96-го года полны восторгом и мукой самого процесса творчества (большое количество «стихов о стихах» — тому подтверждение), то стихи 97-го дышат прозрениями совсем иного рода и составляют истинное сокровище наследия Ильи:

*Но сознание поставит рекорд —
И проступит окошко в прорехе.*

А 98-й год — практически последний, когда поэт «стихами руки отягчал», — представляется «полем боя», в котором держит оборону одинокий воин. Предпочтения видов вооружения, боевого оснащения меняются кардинально:

*Я за простой топор отдам любое
Из слов, что не подвластны топору.*

Илья начинал как поэт сплошной образности. Метафорический ряд его ранних стихов иногда граничил с самоцелью: строка «*Играя с небом в ножки церквей*» до сих пор представляется мне излишеством этой «сплошноты». Но всего через год в гениальном стихотворении «Рублёв» уже он распоряжается метафорой, а не она — им, и совсем на других основаниях:

*И в недрах земли, где минуты не жаль,
Со звоном сломалась деталь.*

Историческое время совмещается с полным осознанием кратковременности собственной жизни и одновременно «живой дали» грядущего. Ирония — не постмодернистская, поглощающая свет, но античная, экспрессивная, ищущая свет там, где его не может быть, становится мощным поэтическим орудием:

*Всеведение и нижнее бельё
Взамен души глядят из-под халата.*

Собственно лирика Ильи — цикл стихов с посвящением Е. С. — нуждается в отдельном прочтении и анализе. В стихах «о любви» (как будто бывают — не о любви!) замечателен сквозной образ дирижёра — одна из модификаций Бога, в поиске и обретении которого Илья воплотился как поэт, и в то же время — метафора свободы, мучительные и учительные пределы которой Илья осмысливал как никто в его поколении. Публикации стихов цикла в интернете снабжены подзаголовком «универсальная лирика». При всей условности термина к Илье Тюрину он применим абсолютно органично: Илья никогда не ограничивается «темой», но всегда прокладывает русло такой ширины и стремительности, «*что и глаз-то берёт с трудом*».

...И несколько слов о Бродском. Я сознательно не включила в подборку ни одного стихотворения, посвящённого памяти столь важного для Ильи поэта. И я сама, и другие, писавшие об Илье, сопоставляли эту пару множество раз. «Вакансия поэта» в России мистически никогда не оставалась «пуста» — ни дня. Лермонтов пришёл за Пушкиным, когда тело первого поэта России ещё не погрузилось в святогорский песчаник. Тюрин последовал за Бродским буквально в день смерти последнего. Но ни одно сопоставление не давало полноты картины влияния одного поэта на другого и преодоления этого влияния. Теперь я ещё меньше претендую на такую полноту — потому, что понимаю: это была любовь, а ей никто не судья. В какой мере любимый влияет на любящего и наоборот, — знает, как правило, лишь один из них, а другой только милостиво (или в противоборстве) принимает эту данность и дар:

*Туда пускают на неделе
В особый час по одному.*

«Удвоение пространства», о котором молил Илья, произошло, и мы имеем двух крупных поэтов вместо одного. «Сложная пряжа» стихотворства продолжает развиваться. Запутаться в ней или следовать за её путеводной нитью — каждый решает по мере разумения. Итог следования оговорён Заболоцким:

*Вот так, с трудом пытаюсь развивать
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,
Вдруг и увидишь то, что должно называть
Бессмертием...*

Алексей ШАДРИНОВ
(1973 — 1992)

Родился в городе Белозёрск Вологодской области. Уже в 13 лет написал первые выразительные и зрелые стихи. По воспоминаниям учительницы русского языка и литературы И. А. Богомоловой, на выпускном экзамене по литературе читал комиссии свою поэму «Оборотень», «и когда остановился, боясь наскучить, удивленные учителя просили его продолжать». Перед уходом в армию принял крещение, решил сжечь свои стихи и бросил их в печь, но по счастливой случайности рукописи удалось спасти. В 1991 году был призван в армию, где был зверски замучен. Посмертно вышла книга «Далёкий плач» (Вологда, 1994) и публикации в московских и вологодских журналах. В 1998 году родители передали архив с неизвестными стихотворениями и поэмами для публикации. Сборник избранных стихотворений и поэм Шадринова вышел в Москве в 2001 году.



СЛОВА В ГЛУБИНАХ РУССКИХ РЕК

* * *

Осенним днём,
ни солнечным, ни тусклым,
Глядело небо синью из-под век.
В тени от зданий, переулком узким
Шёл человек.
Неверным светом окна перегнуло

В стекольный глянec, липкий, cловно лак.
От солнца в тень бросался переулoк,
Ругаясь хриплым голосом собак.
В проёмах стен объёмистые дыры
Бросали холод снегом из руки.
И в тишине расплывчатым пунктиром
Бегущий воздух резали шаги.
А я стоял в изломе перекрёстка,
Неверный страх ворочался на дне;
Усталым псом, плетущимся с поноской,
Угрюмый призрак близился ко мне.
Все ближе, ближе шарканье подошвы;
Все тише шелест листьев и травы.
Вот тишина метнулась, словно кошка,
И затаилась в лоне синевы.
Но минул он, как нас минует время.
Оно уйдёт, а мы уже в другом.
А мы не видим, мы кричим со всеми
Кому-то вдаль за вечностью вдогон.
Уже прошёл, уже за поворотом,
Но всё как будто стало не таким,
И было что-то до переворота,
Теперь уже развеянное в дым.
Осенним днём,
ни солнечным, ни тусклым,
Глядело небо синью из-под век.
В тени от зданий, переулком узким
Шёл человек.

* * *

Слова лежат в глубинах русских рек,
Они не умерли, они заснули.
Их разбудить лишь может человек,
И оживет тотчас стозвонный улей.

Певучих, тяжких, как колокола,
Как монолиты каменные слитых
С могучим словом, зиждущим Дела...
Пусть не молчит полуистлевший свиток,
Что молодость у Леты обрела.

* * *

Ночь, дождь, тучи над городом.
Нити невидимые во мгле.
Шторы в окне, кружевные бороды.
Тени, мелькающие по земле.
Дождь, ночь, фонари метаются,
Ищут опоры своим лучам.
Тени... мелькают и расступаются.
Тени, внимающие ночам.
Тени людские, квадраты желтые,
Листья, шумящие на ветру.
Нити на брызги в ночи расколоты,
Черных дверей деревянный стук.
Вновь... Ночь. Тополя светящиеся,
Сердце, тоскующее о дне.
Это ли будущее и настоящее:
Тени, мелькающие в окне?

* * *

Когда домой вернулся я,
Черёмуха цвела.
И было слышно соловья
В саду из-за угла.
Не знаю, был ли этот сад?
И был ли этот дом?
Но много-много лет назад
Я жил в краю родном.
Не знаю, был ли этот сад?
И был ли соловей?
И мой ли дух, и мой ли взгляд
Терялся средь ветвей?
Но он скользил по всем холмам,
По граням милых стен;
Бежал по пенистым волнам,
Не зная, что блажен.
Не ведал он, творя Парнас
И торопя года,
Что каждый миг, и каждый час
Бесценен был тогда.
Пусть мать мне пишет об одном:
Что след мой не истёрт;
Но тополь за моим окном
Наполовину мёртв...

<ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ>

Высоко так подняться нельзя и дереву,
как возносится дух мой от сна печального:
ты идешь по обочине, как по берегу;
ни венца на тебе, ни кольца обручального.

Только чуждая степь за тобой колышется,
даль цветная у глаз впереди волнуется.
Мне твой голос беспомощный ветром дышится,
И не знаю я: кажется мне или чуется.
Все дороги, как реки, где глубь бездонная.
Ни челна, ни плота у них не причалено.
Мне разлука с тобою, как ночь бессонная,
ночь глухая, беззвёздная, нескончаемая.

1992

* * *

Уже затих мой временный приют,
Зажглись созвездья, потемнели зданья.
Ночь воду льёт на мельницу мою,
Миротворит и шлёт напоминанье...

О том, как вдруг нечаянно простят
Лишь тех, кто сам умел прощать нежданно,
О том, что сон целителен и свят,
О том, что он дарован невозбранно.

В моём углу опять горит свеча,
Плывёт мой профиль величаво странный.
И свет идёт от каждого луча
Еловых перьев птицы деревянной,

Повисшей над моею головой.
А я борюсь с навязчивой дремотой,
Но всё ж не сплю. Вдруг голосок живой
Донёсся мне, как пенье от киота...
Чей это сладкий голос надо мной?

* * *

Я отовсюду слышу ветер.
Я вижу серый небосвод.
Я знаю то, зачем на свете
Запущен дней круговорот.

Я знаю всё; я чую звёзды,
Луну, бегущую во мгле, —
И то, что всем обещан отдых:
И мне, и птицам, и земле.

Патрик ВАЛОХ

СОЛДАТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Каждый русский парень в возрасте восемнадцати лет сталкивается с ситуацией воинской службы. Поэтому, мне кажется, слишком легко пописывать об этом, сидя в Западной Европе в удобном кресле, так как мне никогда не приходилось таскать автомат, выживать в тяжёлых климатических условиях, терпеть унижения, копаться в грязи, пытаться высвободить для себя крошечное личное пространство среди самодовольной агрессии и насмешливой жестокости. Патриотическая доктрина предполагает, что армия помогает найти настоящих друзей, служащих Отечеству. И как же, интересно? Вспоминается фраза из одного романа Пола Остера: «Не лезьте в Ирак за вдохновением и творчеством. Ничего подобного вы там не найдёте, лишь тягостные воспоминания, которые будут терзать вас всю оставшуюся жизнь».

«Далёкий плач» — так называется сборник стихотворений Шадринова, вышедший через два с половиной года после трагедии. Мы слышим плач Иеремии по Шадринову из-за того, что он был призван в армию. Следует ли нам попридержаться библейские аллегории? Так, Шадринов несёт крест — и также несёт на себе печать страдающего Каина, систему координат возвышенного. Он видит мир очень эмоционально, по-детски, но с сильными чувствами, осязающими каждую деталь природы. Его поэзия стремится к универсальной сущности и конденсируется в божественный принцип категорического императива.

© Патрик Валох, 2016

Эта поэзия — божественная, словно написанная в адской армейской кухне кем-то тонким и хрупким с душой подобной стёклышку, паутинке, утренней росе. Что там делает грубое слово, превращённое в грубую руку? Оно уничтожает.

Шадринов чем-то напоминает Георга Тракля (1887 — 1914) в своём религиозном максимализме. Он уничтожил свои рукописи в огне перед тем как пойти в армию. Кто не видит там экспрессии Гоголя со второй частью «Мёртвых душ» или Настасьи Филипповны, которая стотысячную пачку рублей швырнула в камин? Но это ещё и типичное проявление юношеской экспрессивности. Он — Георг Тракль, Сергей Есенин (1895 — 1925)? И да, и нет.

Меланхолия, что дышит в душе его, не нравится ему, пребывающему в возвышенной скорби, стоящему в одиночестве в лесу и обнимающему деревья, с листьями, плывущими к земле по его волосам. Но чрезмерность, разрушительность, деструктивность невротической психики бродяги и божественного персонажа всё же отсутствует. Нет, Шадринов — приличный мальчик. Алёша Карамазов. Его поэзия остаётся неповреждённым, никогда не извергавшимся вулканом, потому что он дремлет в застывшем и тёплом состоянии. Как Алёша у Достоевского (которому едва исполнилось двадцать лет), он проводит жизнь в глубокой вере в сострадание, отречение и понимание, в то, что можно примириться с жизнью, будучи Гермесом. Гермесом, который превратил божественное послание в человеческие слова и принёс их в мир. Но будем ответственными, так как такая хрупкая душа подвергается испытаниям — искушением и глумливым презрением. Алёша слишком хорош для этого мира, и поэтому должен принимать страдания на плечи свои.

Такие мелодичные элегии, магические акценты чистой аскетической неискренности, независимой подлинности

и строгой классики можно найти лишь в Серебряном или даже в Золотом веке русской поэзии. С тем же самым детским удивлением и философскими размышлениями о смысле жизни пишет Николай Рубцов (1936 — 1971), поэт трагической судьбы, также ставший примером для юного лирика. Шадринов ослепляет богатым красноречием своей поэзии (действительно, сколько там цветowych эпитетов!), задумчивым любопытством. Траур подбирался к его глазам и лукавой улыбке, как капризный червь ползёт к губам. Он как ребёнок. Скорбящая икона в доме, покрытая чёрными пятнами. Но убитый мальчик-романтик Шадринов не одинок в этом мире многих жертв, канувших в Лету. Назовём имя одной из таких жертв: Кулдар К. Рауднаск (1965 — 1985), эстонский поэт, добровольно ушедший из жизни в Советской армии. Причина: непереносимость жестокого обращения.

Шадринов создал альтернативный мир, спасительный рай плодородия природы, экстатической стойкости и сохранённой красоты, и предвосхитил в своей поэзии трагедию собственной судьбы. Так жестоко, так грустно, так красиво всё это.

Перевод Стеллы и Бориса КУТЕНКОВЫХ

Австрия, Зальцбург



Борис Кутенков, Александр Лаврин и Ирина Медведева на заключительном круглом столе Третьих Литературных чтений «Они ушли. Они остались». ИЖЛТ. 16.11.2014

Фото Елены Семёновой и Нади Деландо



Кирилл Ковальджи рассказывает о Леониде Шевченко (1972 — 2002). Вторые Литературные чтения «Они ушли. Они остались». Библиотека им. Лермонтова. 16.11.2013



Родион Вереск рассказывает об Илье Кричевском (1963 — 1991). Вторые Литературные чтения «Они ушли. Они остались». Государственный Литературный музей. 15.11.2013

ГЛАВА II

ПОЭТЫ, УШЕДШИЕ ДО ТРИДЦАТИ ЛЕТ

Александр ЛАВРИН

ТРИ СМЕРТИ

Общую типологию человеческих смертей условно можно разделить так: бытовая (болезнь, медицинская ошибка, травма, автомобильная или иная катастрофа, смерть от стихийных бедствий, самоубийство, не связанное с идеологией, и т. д.), насильственная (уголовное убийство, казнь, пытки, оставление без помощи, смерть на войне), героическая (жертвенная гибель ради тех или иных идей), случайная. Можно предложить и такие градации: смерть частная и общественная, возвышенная и анекдотичная, профессиональная и любительская, религиозная и атеистическая, красивая и безобразная и проч., и проч. Но дело, конечно, не в рубрикации и типологии. Дело в самом феномене, в «качественном» изменении личности в момент перехода в «инобытие», называемое в просторечии «смертью».

Давным-давно родилась мифологема «Смерть поэта». Именно поэта, а не композитора, архитектора, геолога, врача, инженера или представителя иной профессии. Впрочем, вряд ли поэзию можно назвать профессией. Поэтический дар сродни пророческому, а пророков во все времена побивали камнями. Да и сами они охотно летели на обжигающий огонь слова. Не всегда смерть поэта — это тюремная камера, петля, пуля, яд, алкоголь или наркотик; даже если место действия — домашняя или больничная постель — это своего рода плаха, как было с Ходасевичем, Пастернаком, Кантом, Венедиктом Ерофеевым...

© Александр Лаврин, 2016

В любом случае смерть поэта,неважно, бытовая или экстремальная, мифологична, особенно в нашем отечестве, где на поэта спокон века смотрят как на экзистенциальную личность, о чём замечательно сказал Евгений Евтушенко: «Поэт в России больше, чем поэт...»

Здесь уместно поставить вопросы:

— Возможно ли определение поэта, отвечающее общепринятым семантическим кодам? Иначе говоря: почему мы называем поэтом того или иного человека?

— Связан ли тип смерти с сущностью поэта?

Размышляя о гибели (именно так: гибели!) Блока, Ходасевич писал: «В пушкинской своей речи, ровно за полгода до смерти, он говорил: «Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему больше ничем: жизнь потеряла смысл».

Выделим три типа смерти поэта: Вход, Выход, Исход.

Бытовая смерть. Обозначим этот тип смерти как «Вход».

Примеры:

Владислав Ходасевич, Алексей Парщиков, Нина Искренко, Владимир Ерёменко, Евгений Блажеевский, Дмитрий Александрович Пригов, Аркадий Тюрин, Белла Ахмадулина.

Самоубийство — «Выход».

Примеры:

Генрих Клейст, Эрнст Толлер, Надежда Львова, Маяковский, Есенин, Цветаева, Борис Поплавский, Юрий Карабчиевский, Ефим Зубков, Юлия Друнина, Александр Башлачёв.

Сюда же можно отнести фактическое самоубийство — например, Леонид Губанов и Денис Новиков.

Экзистенция — «Исход».

Примеры:

Франсуа Вийон, Пушкин, Лермонтов, Эдгар По, Блок, Гумилёв, Владимир Нарбут, Владислав Ходасевич, Хармс, Клюев, Лорка, Манделштам, Пьер Паоло Пазолини, Пабло Неруда, Бальтазар Бергамо, Пастернак, Марк Рихтерман, Высоцкий, Бродский, Джон Леннон, Арсений Тарковский.

На мой взгляд, интереснее всего тема «Экзистенция — исход».

Рассмотрим три смерти на эту тему.

Федерико ГАРСИА ЛОРКА (1898 — 1936)

«Зная извечную несправедливость, царящую повсюду, боль человеческую и море слёз, затопивших мир, я не могу не сострадать преследуемым: цыганам, неграм, евреям, ведь в жилах каждого из нас течёт и их кровь. Я хочу быть добрым и открытым и не печалюсь о своей смерти. Поэзия возвышает душу — дурман поцелуя, вина, заката, — из этих мигнов, из этих могучих всплесков чувства складывается вечность. Ни у кого нет ключей к тайне мироздания. Я испанец до мозга костей, но мне ненавистен всякий, кто считает себя выше других по одному тому, что он испанец, и мне отвратителен тот, кто, слепо любя родину, готов пожертвовать жизнью во имя пустых националистических идеалов».

В августе 1936-го Лорка приехал в Гранаду, по которой уже сновали машины с отрядами фалангистов. В первую же неделю побывали в их доме и схватили мужа сестры

Федерико и через пару дней расстреляли у кладбищенской стены. Лорке стало ясно, что надо где-то укрыться. Он обратился за помощью к знакомому поэту, братья которого были видными фалангистами в городе. Решили, что поэт проведёт несколько дней в их доме. Не успел он убраться из родного дома, как туда нагрянули враги. Они обыскали весь дом, перевернули все бумаги. Допрашивая сестру, вынудили её под угрозой смерти отца сказать, что Лорка гостит в доме братьев Росалес.

16 августа группа активистов арестовала Лорку и доставила его в управление гражданского губернатора якобы для дачи показаний по одному из дел. Той же ночью братья Росалес, потрясённые случившимся, начали добиваться освобождения Лорки и наутро получили приказ военного коменданта об освобождении. Однако, прибыв с приказом к губернатору, узнали, что Лорка переведён в загородный лагерь фалангистов, в селении Виснар, который уже успел приобрести мрачную известность конвейера смерти.

Каждое утро выводили обречённых «на прогулку». Вели по живописной дорожке, сквозь оливковую рощицу, вдоль журчащего ручейка, оставляя тела жертв там, где они падали под пулями развлекающегося конвоя: одних — в придорожной канаве, других — в овражке. Позже пригоняли таких же, назначенных на завтрашнюю «прогулку», подневольных могильщиков, чтобы зарыть трупы.

Охота фалангистов на своих противников — явный аналог охоты людей Ирода на младенца из Вифлеема.

★ ★ ★

*Ты и не знаешь, как люблю тебя я!
Ты стал моим божественным искусом
Ты спишь во мне младенцем Иисусом*

*Тебя я прячу, нежностью пылая.
Волхвы и звезды судьбы начертали,
Но жаждет Ирод истребить младенца.
Холицовый снег ночного полотенца
Тебя укроет от него едва ли.
Хрипят, как скрипки, загнанные кони...
Пушкой вся стража все сады обыщет,
Я не боюсь ни смерти, ни погони —
Сквозь эту ночь спасу тебя, любимый!
Ведь соловей перед рассветом свищет
Блаженней и нежней, чем херувимы.*

(Примечание: здесь и далее все стихи иностранных поэтов даны в переводах А. Лаврина).

Вот фрагмент интервью Сальвадора Дали, которое он дал группе журналистов в 1951 г. (*Расшифровка Гонсалеса Ибаньонса*).

Патрисия Смит («Вашингтон Пост»). Сеньор Дали, я хотела бы...

Дали. Не Дали! Гений Дали!

Патрисия Смит. О'кей! Гений Дали, как вы оцениваете...

Дали. Как?! Не как!! Никак!!! Я вам ни как, ни никак! Я вообще не какаю! Мне нет нужды какать!.. Я уже двенадцать лет питаюсь только солнечным светом! Разве вы встречали человека, который питается светом и при этом какает?

Патрисия Смит. А как случилось, что вы перестали... ну... как бы это сказать...

Дали. Смелее, смелее, сеньора...

Патрисия Смит. Перестали какать...

Дали. Я перестал какать в 36-м году, когда убили моего друга Федерико Гарсиа Лорку. Однажды он написал: «Смерть смотрит на меня со стен Кордобы...» Он погиб,

как Святой Себастьян. Он стоял у старых олив и читал свои стихи, а солдаты заряжали винтовки и пускали в него стрелы пуль. Он читал стихи, и у солдат дрожали руки, и винтовки их плясали. Они стреляли и плакали, плакали и стреляли. И пули у них кончились раньше, чем слёзы.

Вот стихи, которые он написал в ночь перед расстрелом:

*Солнце за морем ветвится, как куст,
Гаснет, как марка на старом конверте...
Раненых раковин розовый хруст
Пуст
и мерцает на простыне смерти.*

**Бальтазар БЕРГАМО
(1900 — 1971?)**

* * *

*Удивительное время:
Время — бремя,
Время — семя,
Время — стремя
у коня,
Уносящего меня.*

О Бальтазаре Бергамо я узнал случайно, в конце 1980-х, в разговоре с Эдуардой Вольчич, женой Деметрио Вольчича, корреспондентом итальянского телеканала RAI-II (позднее его директора), и загорелся идеей реконструировать биографию поэта. Она показалась мне необычно романтической даже для той невероятной эпохи, в которой он жил. К сожалению, в моем распоряжении оказались лишь случайные сведения о Бергамо. Понятно, что выстроить из них здание судьбы невозможно. Посему мой труд можно

рассматривать только в качестве одного из камней в фундаменте будущего академического исследования.

Профессор Джорджио Неаполетано в эссе «Вера и неверие» пишет: *«Некоторые люди сомневаются в существовании Бальтазара Бергамо. Что ж, тогда давайте сомневаться в существовании чести, достоинства, вдохновения, в конце концов, даже любви! Впрочем, судя по трудам апологетов anti-Bergato, вполне возможно, что вышеупомянутые душевные и духовные качества человека — суть плоды нашего воображения, прекрасные метафоры, которые мы принимаем за реальность. В самом деле: могут ли быть неоспоримые свидетельства того, что в доме № 7 на Via Settecamini всего полвека назад жила любовь? А если даже и жила — найдётся ли нотариус, который заверит это бледной сиреневой печатью? Но разве гениальные ритмы, рифмы и метафоры Бальтазара Бергамо не доказывают нам, что он действительно жил в нашем мире, ходил по одним с нами улицам, пил те же вина, читал те же книги, что и мы, так же наслаждался спагетти маринара, и, как мы, смеялся и плакал, влюблялся и страдал от неразделённой любви?»*

В 1946 г. Бальтазар Бергамо понял, что не знает, как жить дальше. Умерли все, кто был ему дорог. Они шли, но от подошв не струилась пыль. Они дышали, но от их дыхания не запотевали стёкла даже в самый прохладный день.

Бальтазар решил перебраться в Аргентину. Выбор страны был случаен — поэту понравилось её название — звенящее, как струна скрипки.

Прошло несколько месяцев после переезда в Аргентину — и в нашего героя влюбилась Консуэла Аурентис, вдова вне возраста, владелица небольшой табачной фабрики.

Не чрезмерно, но всё же состоятельная, она позволяла Бергамо одеваться у лучших портных Буэнос-Айреса, дарила ему серебряные и даже золотые перстни и несколько раз оплачивала его поездки в казино.

Видимо, тогда Бергамо и заприметили бандиты из шайки Порфирио Диаболиса.

Дождавшись, когда Бальтазар пересечёт границу Штатов и Мексики, они заблокировали авто поэта, схватили его и привезли на заброшенное ранчо, где обычно отсиживались после налётов на бензоколонки и мелкие банки.

Думая, что Бергамо богач, бандиты потребовали большой выкуп за его жизнь. Бальтазар отказался.

Негодяи применили крайнее средство — они зажали верхние пальцы правой руки поэта в тиски и стали их сжимать — медленно, миллиметр за миллиметром.

Ладонь Бальтазара не была мясистой, скорее, она напоминала опавший кленовый лист. Поэтому сначала затрещали костяшки, соединяющие фаланги пальцев с основанием ладони. Потом порвались поры кожи — просто поры, не вены, чуть-чуть крови, детский лепет, такое бывает и случайно. Потом дошло до середины ладони и, наконец, до основания большого пальца.

Через пару дней местная полиция его освободила (видимо, шайка Порфирио кому-то что-то недоплатила или постарались конкуренты).

К этому времени пальцы правой кисти поэта гноились, как почва, удобренная индюшачьим пометом.

Полицейские отвезли бедолагу в больницу.

Обозрев Бальтазара Бергамо, дежурный хирург удивился. Он никогда не видел такого живого лица у человека, который считай что мёртв. Он спросил, кто этот пациент, но полицейские не смогли ответить. Случайный иностранец, только и сказали они, ничего не говорит, а если говорит, то не по-нашему, почти без сознания.

Хирург осмотрел пациента, недолго думая, ткнул в лицо Бальтазара марлю, пропитанную эфиром, и ампутировал четыре пальца его правой руки.

Привыкший лечить местных бандитов после их разборок, хирург повидал всякое. Его так и называли — «бандитский доктор».

Иногда в операционную — простенькую, дощато-оштукатуренную, с единственным шкафчиком для инструментов, врывались бандиты с раненым товарищем, иногда полицейские, искавшие раненого бандита, иногда те и другие вместе. Словом, в жизни хирурга было всякое, что постепенно сделало его спокойным, как предутренный сон. Он просыпался, когда была нужда в его усилиях, звал операционную сестру, резал, зашивал и снова засыпал. Во сне он видел поле цветущих маков, бесконечное, от ног до горизонта. Это было очень красиво, похоже на платье тёти Хуаниты, которая забрала его к себе, когда умерли родители. В другой раз он видел, как вода поднимается к небу, распевая псалмы. Третий сон был самый странный: он видел себя, который рассматривает самого себя.

И всё же, несмотря на житейский опыт, хирурга удивило то, что произошло ночью.

Хирург уже наложил швы, отошёл, чтобы снять халат и вдруг услышал шум. Обернувшись, он увидел, что у операционного стола ссорятся две Смерти — Клиническая (*Mortus Clinicus*) и Обычная (*Mortus Vulgaris*).

Сначала он принял их за родственниц больного: сморщенные выцветшие лица, тёмная одежда, длинные сухие пальцы, стремительно выпадающие из рукавов.

— Мария, зачем они здесь, выведи их, — сказал хирург медсестре.

Но сестры уже не было — сразу после операции она отлучилась по нужде.

— Ты дура! — кричала Клиническая Смерть Смерти Обычной. — Он просто в шоке, он побудет со мной немного и вернется назад.

— Нет, это ты — дура и ничего не понимаешь, — спокойно возражала Смерть Обычная. — Зачем ему жить, если он уже умер? Он мой навсегда.

— Нет, стерва, я тебе его не отдам. Я его побаюкаю и отпущу. А ты никого и никогда не отпускаешь.

— Да. Потому что я честная. Я беру сразу и навсегда. А ты — девка! Дрянь! Проститутка! Да ещё и бесплатная. Ты даёшь им надежду. И это ужасно!.. Они тебе верят — верят, что можно вернуться — пить вино, писать стихи, целовать любимых. Но ведь потом — потом всё равно приду я, самая обычная!

Они кричали всё громче и громче.

Не в силах вынести спора разъяренных мегер, хирург вышел из палаты, достал сигарету и закурил. Странно, но он смог зажечь сигарету только с третьей попытки. А ведь раньше у него никогда не дрожали руки.

Бергамо оставил на память хирургу стихотворение:

* * *

*Что могу у тьмы украсть я?
Вместо счастья — луч запястья,
на котором был браслет,
а теперь браслета нет,
но остался узкий след,
Нежный свет — во мраке лет.
А теперь и следа нет.*

Арсений ТАРКОВСКИЙ
(1907 — 1989)

*И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово.*

Тарковский верил в профетическую сущность поэзии, в тождество «поэт — пророк». Ну а судьба пророка известна — побитие камнями, распятие и т. д.

*Из просеки, лунным стеклом
По самое горло залитой,
Рулады свои напролом
Катил соловей знаменитый.*

*Он пел, потому что не мог
Не петь, потому что у крови
Есть самоубийственный срок
И гибель — без всяких условий. <...>*

Война. Ранение в 1943-м

Подобрали Тарковского под утро, когда он едва не погиб от потери крови и холода. Везли его и других раненых на джипе с железным кузовом. Джип привозил на передовую снаряды, обратным рейсом забирал раненых.

Боль была так сильна, что уходила куда-то за пределы восприятия. Санитаров не было, пришлось прыгать на одной ноге из последних сил. Кто-то из легкораненых помог Тарковскому забраться в кузов. Затем — тряска в голом кузове. Не в силах держаться, раненые бились друг о друга, как тряпичные куклы. Выгрузили их в деревне, где был полевой госпиталь. Санитаров не хватало и здесь, и раненые сами вываливались на землю.

*Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась,
И видел я себя со стороны:
Я без довесков был уравновешен
Базарной жирной гирей.*

*Это было
Посередине снежного щита,
Щербатого по западному краю,*

*В кругу незамерзающих болот,
Деревьев с перебитыми ногами
И железнодорожных полустанков
С расколотыми черепами, чёрных
От снежных шапок, то двойных, а то
Тройных.*

В тот день остановилось время...

Грубый дощатый операционный стол. Он ладонями чувствовал его шероховатость.

— Нужно отнимать ногу...

— А может, без этого, доктор?

— Нет, без ампутации нельзя.

— Но я же её чувствую!

— Галлюцинации. Отнимем по возможности меньше.

— Но я чувствую...

— Если оставить так, умрёте по дороге в тыловой госпиталь, капитан. Будет заражение крови.

— Хорошо, режьте.

На соседних столах оперируют других. Страшные, огромные ампутационные ножи. Кости отпиливают пилой. Стоны. Крики в голос. Обезболивающих не дают — нет морфия.

Его намертво привязывают к столу.

Врач — сестре:

— Хлорэтил, внутривенно. Жгут. Столик для обработки.

Дикая боль. Повернув голову, он видел страдания других оперируемых, видел, как режут, пилят и зашивают, как течёт кровь. С тех пор так и осталось — при виде чужой крови возникала фантомная боль в несуществующей, ампутированной ноге...

«На войне я понял, что скорбь — это очищение. Память об ушедших делает с людьми чудеса. Я видел, как одна женщина переменяла совершенно образ жизни после смерти сына, сообразуя с памятью о нём свои поступки.

На войне я постиг страдание. Есть у меня такие стихи, как я лежал в полевом госпитале, мне отрезали ногу. В том госпитале повязки отрывали, а ноги отрезали, как колбасу. И когда я видел, как другие мучаются, у меня появлялся болевой рефлекс. Моя нога для меня — орган сострадания. Когда я вижу, что у других болит, у меня начинает болеть нога».

По дороге в тыл он едва не погиб. Санитарный поезд должен был идти через Москву. Ночью в теплушке его обожгла мысль: удрать! В Москву слезть с поезда, а там — слава Богу, пистолет в кармане! — как-нибудь доберётся до дома. Жить! — стучало сердце.

Но поезд направили кружным путём, минуя столицу.

Однажды раненых выгрузили из теплушек. От товарной станции до вокзала — всюду были носилки с ранеными, прямо на земле в несколько рядов. Вонь, смрад, грязь. Раненые справляли нужду под себя. Оглядевшись, Тарковский спросил ближайшего:

— Браток, давно здесь?

— Неделью или две, не помню...

— Вас хоть кормят?

— Так, иногда.

Погибнуть здесь, на тыловой станции, после того как он выжил в аду войны?

Достав пистолет, Тарковский выстрелил в воздух три раза. Подбежали двое санитаров, и он приказал доложить о себе начальнику станции.

После всех передрыг Тарковский оказался в госпитале в Калинине. И здесь — дикая неустроенность, замусоренность. Выбитые окна заткнуты плащ-палатками. Санитара не дозваться. В туалет приходилось добираться ползком.

На соседней койке черноглазый человек говорит:

— Вы умрёте. У вас газовая гангрена.

— Вы что, пророк?

— Я врач. Вас неправильно оперировали. У вас рана большая, с ушибленными краями, повреждены кости. Нужно было делать рассечение...

С другой стороны лежит капитан. Он не выпускает из правой руки пистолет. Ему так и загипсовали руку — с ТТ. Если в палате появляется санитар, он направляет на него пистолет:

— Становись на колени.

Санитар становится.

— Зови сестру. Считаю до трёх.

У санитара придурковатое рябое лицо. Он кривит губы:

— И как же нас, орловских, немцы мучили! И в полицаи заставляли иттить, а таперь ишо и вы!

— Раз, два...

Санитар орёт дурным голосом. Появляется сестра.

Капитан направляет пистолет на неё и заставляет сестру отдавать приказы санитару. Пока санитар не приносит требуемое, капитан держит сестру на прицеле.

В палате одно утешение — гитара. Кому больнее других, просит: «Дай» — и бьёт по струнам, заглушая боль. Играть не умеет никто, но просят все.

Тарковский послал в Москву на разные адреса одиннадцать телеграмм с просьбой о помощи. Откликнулся только Сергей Михалков. (Так мне рассказывал сам Тарковский. Марина Тарковская приводит другую версию — что это был не Сергей Михалков, а Виктор Шкловский). Он прислал ходатайство от Союза писателей, и по приказу военного комиссара госпиталя Тарковского перевели в офицерскую палату, небольшую, на две койки. Но радоваться этому не было сил.

...Читать он не мог. Мешала боль в культе. Прямо над койкой висела единственная в палате лампочка. Казалось, что она светит прямо в мозг и высверливает там тоненькое,

почти невидимое отверстие. Лампочка свисала очень низко. Когда было совсем неважно, он протягивал руку и, обжигая пальцы, поворачивал лампу в патроне против часовой стрелки. Лампа гасла.

Он лежал в темноте и думал: какова ты будешь, бедная душа? Если ты станешь совсем непохожа на тело, то как же тебя узнают другие души, свидания с которыми он жаждет так, что жажду эту не уничтожит и его смерть? Если душа окажется слепком тела, то — Боже правый! — неужели она будет хромя? Конечно, он сможет передвигаться, благодаря своей бестелесности, но гармония пропорций, но архитектура тела! Почему он должен думать, что у его души будут обе ноги, если одну из них отрезали два месяца назад?

А может быть, это будет нечто лишённое умозрительной формы?

Может быть, в иной ипостаси души будут осязать себя как нечто иное — дуновение, цвет, нежность, музыку?

Или это будет только растворённое сознание — каким в иные века представляли эфир, который будто бы пронизывает всё и существует, несмотря на абсолютную свою бесформенность и безвременность?

Может быть, вечность — это и есть всякое отсутствие времени, а бесконечность — всякое отсутствие пространства? И, может, душа — это есть полное отсутствие тела, а чувственность души — полное отсутствие физических ощущений? Тогда душе будет где поместиться в *после-смерти*, потому что она будет существовать в бессмертии, которое будет одновременно и отсутствием смерти, и отсутствием жизни. Душа жаждет бессмертия как своего осуществления в мире...

Вечная жизнь! Милый бред, отчаянная попытка человека, лежащего под нож хирурга, известного тем, что все его операции кончаются смертью оперируемого.

...Однажды Тарковский в очередной раз выкручивал лампочку над головой и вдруг почувствовал, что вслед за движениями руки как бы выкручивается из тела. Мгновение спустя он поднялся над самим собой. Он воспринял это спокойно, но было странно видеть внизу собственное тело на железной койке. С любопытством разглядывал он своё лицо, хрящеватый нос, небритые проваленные щеки... Он увидел, что под одеялом не обозначена правая нога. Длинные крупные руки вытянуты вдоль тела... Койка стояла у стены. Почему-то ему страшно захотелось посмотреть, что делается в соседней палате. Легко, без усилия он стал входить в стену, чтобы пройти сквозь неё. Он почти сделал это, когда внезапно ощутил, что находится слишком далеко от собственного тела и что ещё мгновение — и уже не сможет вернуться в него. В испуге он рванулся назад, завис над койкой и скользнул в тело, как в лодку. (В этом месте рассказа Тарковский обычно делал спиралеобразный жест ладонью).

И сразу — дикая боль в ноге, ощущение громоздкой тяжести физического бытия...

Потом и этот опыт отозвался в стихах:

*У человека тело
Одно, как одиночка.
Душе осточертела
Земная оболочка.*

Умер он, как и предсказал, «под сенью случайного крова» — в палате ЦКБ 27 мая 1989 г.

Это была тихая смерть. Он не мучился, не испытывал больших болей, несмотря на характер заболевания.

...Очнувшись, он почувствовал, что перестает быть человеком. Потом наступил момент, когда на короткое время он почти собрал воедино свои видения, и всё это

Александр Лаврин

мерцало цветными пятнами наподобие детских картинок, затем понеслось куда-то кругами, словно в гигантскую воронку, и исчезло в безысходности, оставив его навсегда.

Он умер, но это не значило, что он женичего не ощущал, — нет, жизнь постепенно покидала его ещё при жизни и теперь уходила из него с ускоренной постепенностью. Он был уже неспособен оценить свои видения, столь смутные, что им не было определения на языке живых. Они были похожи на обесцвеченные волокна в воде, они колебались, как прозрачные водоросли, не оставляя следа в его сознании, потому что вместе с жизнью он терял и память.

Текст в расширенном варианте опубликован в книгах Александра Лаврина «Тарковские: отец и сын в зеркале судьбы» и «По ту сторону Леты».

Илья АСАЕВ (1964 — 1993)

Родился в Москве. Жил в Днепропетровске, в 1988–1991 годах — в Риге. Работал сборщиком на конвейере, инструктором по плаванию, экспедитором. В 1982–1984 — служил во внутренних войсках МВД. Окончил дирижёрско-хоровое отделение Днепропетровского культурно-просветительского училища. Писал стихи и песни с середины 1980-х годов. Скончался в 1993 году в Днепропетровске. При жизни не публиковался. В 2009 г. в Екатеринбурге вышел его сборник «Имущество природы», подготовленный Ю. Казариным и К. Патрушевым. Стихи И. Асаева посмертно публиковались в «Рижском альманахе», в сборнике «Илья Асаев. У столетья на краю» (Рига. ЛОРК. 2014, где также собраны воспоминания о поэте его родных и близких и рецензии на его книгу стихов «Мы затеяли жить...»), в журналах «Звезда» (2011) и «Нева» (2012).



ПОСЛАНИЕ НАЗАД

* * *

Когда уже ни горечи, ни зла
И сумерки касаются стекла,
Я прислоняюсь к тёмному окну.
И сквозь его густую тишину

Смотрю — близнец из прошлого встаёт
И смотрит, и меня не узнаёт.
И, обретая ясные черты,
Кладёт туда горячие следы.

Не голос, а его усталый взгляд
Настойчиво зовёт меня назад.
И дальше, через улицу и снег,
Уходит вглубь не бог, не человек —
Далёкий призрак, прячась где-то там.
И я за ним — к таинственным вратам...
Беру аккорд когдатошний и сам
Себе шепчу священное: «Сезам!».

ПОСЛАНИЕ НАЗАД

Через кошмар материка, где — мрут, живут и смотрят сны,
Из не страны еще пока? — и всё же из другой страны;
От моря — к морю; вдоль зари; через лобастый полукруг
Отрезка глобуса Земли... короче — с Севера на Юг.

Из дня сегодняшнего — в тыл, к концу ведущего пути;
Друзья! (Не верьте, что забыл.) С далекой преданностью и,
Увы, имеющей предел, там — на краю заветных ям,
На птичий жалобный манер спешу прокукарекать Вам

Своё «ку-ку», мои друзья! — пустынники и шатуны.
Еще не из небытия — к уже преданью старины.
Из этих скорченных времен, где, видимо, и догорим,
В те золотые времена, которых мы не повторим.

10 апр. 1990

ЭТЮД

Когда — ни праздник, ни беда;
Когда — ни горе, ни успех;
Когда прощанье навсегда
Осядет в легких, а не смех;

Когда ни словом, ни слезой
Не наполняется тетрадь;
И на манер лихой борзой
Жизнь обгоняет возраст, — сядь

В окно. И голосом струны
Отправь кружиться мотылька
Вокруг искусственной луны,
В квадратном небе потолка.

Качнётся улица в глазах,
Вдоль покосившихся домов,
Где, словно в Брейгелевских снах —
Тела чернеющих стволов,

Вбирая снежную картечь,
Сулят разгадку для ума...
И, воплощая зренье в речь,
Промолвишь в форточку: «Зима».

Ну, что ж, зима... Туда и жизнь,
По переулкам и мостам
Все реже ввысь, все чаще вниз —
В свой заговоренный сезам

Вершит короткий переход...
И на ходу глотая снег,
По белым зарослям плывёт
Тоска... (читайте — человек).

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

М. П.

Ты не бойся, глазки закрывай.

Г. Поженян

Спи, мой детский человек,
Не о нас горюет век.
Не о нас наш дом грустит...
Ничего. Ты просто спи.

Из кухонного окна
В небо выпрыгнет луна,
Ты тихонечко уснёшь,
Тоже в небо уплывёшь.

Как от сердца к сердцу дрожь —
Я колдую, ты плывёшь.
У столетья на краю —
Ты плывёшь, а я — пою.

Ты уснул, а я сказал:
— Пока живы, всё — вокзал,
Наши души (так всегда)
Ниоткуда — в никуда.

Только память (лёгкий свист) —
Твой дремучий южный сфинкс...
Да и тот укрыт песком,
Спит египетским зрачком.

Твой Восток поёт — тоска...
Счастье после, а пока —
Ты не слушай никого,
Спи... и больше ничего.

Небо просится в ладью.
Ты — плывешь, а я — пою:
— Два гребца в чужом раю...
Нам и больно, и легко.

Мы грустим, но ни о ком.
Любим мы не тех, кто есть,
А других не будет здесь.
Но об этом... спи. И всё.

На земле — всему своё...
Вот и мы своим путём
В наше прошлое живём.
В нашем прошлом (что тужить?!)

Будет маленькая жизнь.
Ну а после (что жалеть?!)
Будет в нем большая смерть.

Ты не слушай, я устал...
Смерти нет, а я соврал.
Будем лучше оживать,
Что за радость умирать.

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

(Из цикла «Сказки»)

Не потому, — что всё «не Так»,
Не потому, — что «Так» не будет.
И в многоточье наших судеб
Лишь смерть надежнейший маяк;

Я не в пруду и не в петле
Не потому, что где-то нужен.

И не затем, что с кем-то дружен,
Трясу костями по земле.

Не потому, — что за черту
Смотрю, как розовый романтик.
А потому, — что, как лунатик,
В окно за звёздами иду.

И наяву, а не в бреду
Я в полночь бегаю по крышам,
И голоса родные слышу,
И руки на небо кладу.

НА ХУТОРЕ

Ночь в свой засос затягивает дом, —
Пространство с камнем празднуют взаимность,
Луна совокупляется с окном,
Не опасаясь за свою невинность.

Глубинный всплеск полуночной воды;
Так, шаря в планетарии колодца
Ведром для извлечения звезды, —
Есть шанс в себе отметить чудотворца.

* * *

Выпорхнула птичка из ларца.
Что ни взмах — то дале от крыльца.

Что ни взмах, — то легче без неё
Слушать одиночество своё.

Вскидывала в щелбете виски.
Летний корм брала с моей руки.

А как заприметила снега —
Подалась немедля на юга.

Ни словца из клюва не снесла.
Ни пушинки в руку не дала.

Распустила лёгкие крыла,
Унеслась. Умчалась. Умерла...

АВТОЭПИГРАММА

Ну что с ним делать? Перекрасить кровь
В какой-нибудь сумбурно-красно-синий?..
Все песни — непонятная любовь,
Все песни — непонятная Россия.

ПОСВЯЩЕНИЕ О. МАНДЕЛЬШТАМУ

Коль случилось нам сюда прийти,
Коль уж дальше некуда бежать
И назад отрезаны пути,
Значит, будем вместе зимовать.

Ничего не нужно говорить,
Никого не стоит упрекать.
Нам бы хоть немножечко пожить,
И ни в коем случае не спать!

Ерунда, что круглый год метет
И дорога скатертью не стелется.

Раз уж нам так долго не везёт,
Может, дальше что-нибудь изменится.

Никого не нужно обвинять —
Сами заковали себя в лёд;
Только не спешите умирать,
Может быть, хоть это нас спасёт.

А уж если, вправду, до земли
Ни рукой, ни вздохом не достать,
Если не дойти, не доползти —
Значит, будем вместе замерзать.

Ноябрь 1988

Борис РАВДИН

ЗНАК ПОЛУТОЧИЯ

Что делать, если в двадцать с чем-то лет (для поэта поздновато?) вдруг пошли стихи. Не считать же из-за этого себя поэтом.

Довольствоваться тетрадкой? Это — потом, а сперва — все же поделиться стихами со своими друзьями. В какой форме? Да в распространённой для своего круга, для своего времени — в песенной, в бардовской...

И с подчёркнутым защитным ориентиром, и с благодарностью учителям: в названии, посвящении, эпиграфе...

Из пластов ученичества. В 1982–1984 годах И. А. по призыву — в армии. Высокий, сильный, спортсмен — он взят был во внутренние войска: охрана, конвой, охрана... А в казарму ему из дому посылали в письмах Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока, Есенина, Ахматову, Пастернака, Цветаеву, Мандельштама. Сохранился армейский блокнот И. А. с вписанными в него стихами: Блок, Некрасов, Пушкин, Розенбаум, Омар Хайям, Вознесенский, Высоцкий, «*Рано, рано утречком, выйду я, тверёзанький...*», Окуджава, Ника Турбина, конспекты политзанятий, уставов и инструкций внутренних войск. Выбирай! А в списках «для чтения» (1985 г.?), между адресами однополчан, репертуаром «Queen» и других групп, имена: Пастернак, Лорка, Надсон, Мандельштам, Гумилёв, Анненский, Бальмонт, Ахматова, Городецкий, Сологуб, Вяч. Иванов, Белый, Северянин, Чёрный, Апухтин, Тарковский. Бродского в этом ряду нет,

© Борис Равдин, 2016

появится позднее. С некоторыми из этих имен, в том или ином виде, мы встречаемся в стихах И. А. — подражание, аллюзия, реминисценция, оммаж... Особые отношения сложились у И. А. с Мандельштамом, которого, как сказал бы некий критик начала прошлого века, *«он слышал ещё не родившимся и продолжал слышать уже за Ахеронтом...»*

И. А. родился в Москве, большую часть жизни прожил в Днепропетровске, что в какой-то степени уберегало его от давления столичных школ и кружков. И до конца сохранил необходимую для поэта долю графомании, у которой, в контексте, всегда есть возможность преобразиться в откровение. Вот так, на пересечении песни и стиха, с участием автора, неожиданно возникала поэзия (как форма внутреннего облачения) И. А. Рецидив песенного репертуара сохранялся долго: тексты его стихов, случалось, были чуть длинноваты, так как песня тяготеет к балладной форме, в то время как стихи в традиционном восприятии более свободны от развёрнутого сюжета, не связаны объёмом.

Осенью 1988 года И. А. вместе с матерью переезжает из Днепропетровска в Ригу. Для поэта два с лишним года в Риге — лучшее время, время сближения, простите, с вечностью. Судьба шла ему навстречу. Гналась за ним и одновременно шла ему навстречу. Останься он в Днепропетровске, достучался бы он до своих вершинных стихов? К тому же заканчивался час ученичества, личное время переваливало за «четвертак». А тут еще ситуативно сужался круг давней референтной группы, не было необходимости учитывать «концертно-бытовые» условия, возможности, потребности и способности слушателей, можно было переходить от стихов под музыку собственно к стихам.

Мелькают двойники автора, среди которых Маленький принц из книжки Сент-Экзюпери и Кай из «Снежной королевы» Андерсена. Один — заложник холода, разума,

другой — воплощение тепла и сердца. Что между ними общего? Спасать надо обоих!

И почти в каждом стихе, в каждой строчке, в каждом полуточии (любимый знак автора) — тема ухода. Почти нет стихов о любви, нет быта, о который могла бы разбиться любовная лодка, нет земного пейзажа, разве что город в туманных очертаниях, на крышах — коты, которым лапой подать до луны... Гражданская лирика, стихи о стране? Разве что о судьбе страны, о судьбе мира. Но это все сюжеты эпизодические, едва появившись, немедленно сторонятся, уступают время и место неподвижной идее. Готовность жить-поживать уступает потребности жить навсегда и поскорее преодолеть это временное расстояние между жизнью земной и жизнью вечной.

Но генеральную тему нельзя было эксплуатировать бесконечно, хотя именно эта точка отсчёта позволяла сочетать несочетаемое, сдвигала с привычного места слова, сталкивала их, стягивала союзы и предлоги, требовала обводного и обходного синтаксиса, формировала строй метафоры. Что получалось? С трудом удерживаемся, чтобы не сказать — строки то и дело взмывали.

Наступало время овеществления слов, реализации мифологемы. Возможно, существовал путь для преодоления навязчивого сюжета, поэтического и реального — выход в другой жанр: скажем, в стихотворную драму, в поэму. Одну поэму («Это не стих, а...»), стесняясь даже слова «поэма», И. А. всё же написал (держа в памяти есенинского «Черного человека?»).

В середине 1991 года И. А. вернулся в Днепропетровск, стал человеком семейным. Время от времени наведывался в Ригу.

Стихи последнего, днепропетровского периода, нам неизвестны. Кажется, их и не было. Ни читать стихов, ни петь их — не хватало дыхания, да и астма к тому же... Увяла

Борис Равдин

и переписка с вложением стихов — почти все друзья были рядом, не к кому было обращаться.

В апреле 1993 года, на Пасху, едва пройдя свое двадцатидевятилетие, И. А. ушёл, взял и ушёл, через запястья, на волне очередного приступа астмы и ещё каких-то волн...

Остались стихи. Можно потрогать...

Первая публикация: книга Ильи Асаева «Мы затеяли жить...». Рига, ЛОРК, 2014.

Александр БАРДОДЫМ (1966 — 1992)

Родился в Москве. В 1984 г. поступил в Литературный институт им. А. М. Горького на факультет художественного перевода. Учёба была прервана службой в армии, и институт Бардодым окончил в 1991. В 1991–1992 годах работал в еженедельнике «Куранты». Стал одним из основателей Ордена куртуазных маньеристов, где получил звание Чёрного Гранд-Коннетабля. В 1992 стихи были опубликованы в коллективном сборнике стихов «Любимый шут принцессы Грёзы». Выучил абхазский язык, переводил стихи абхазских поэтов, изучал историю и культуру Абхазии. Когда в 1992 разразилась грузино-абхазская война, оформил командировку, выехал в Грозный и с группой Шамиля Басаева по Черноморскому шоссе через горные перевалы добрался до Гудауты. Принял участие в боях и 10 сентября 1992 погиб при невыясненных обстоятельствах. Похоронен в Новом Афоне. В 1993 вышел посмертный сборник стихов поэта «Прорваться за грань».



СЛЕД ОРЛИНОГО КРЫЛА

МОЙ IMAGE

Очарует рифм розарий
Куртизанку и святую.
В Петербурге я гусарю,
На Кавказе джигитую.

© Наследники Александра Бардодыма, 2016

Грациозным иностранцем,
Ветреным до обалдения,
Бейбе с трепетным румянцем
Я наполню сновиденья.

Миг — и сон её украден.
Даже при случайной встрече
Сексуально беспощаден
И блистательно беспечен.

Бойтесь, барышни, джигита!
Словно ветра дуновенье,
Налетит, и жизнь разбита
От его прикосновенья.

* * *

Мне приносит этим летом
Телеграмму почтальон:
«Срочно требую поэта
К новой жертве. Аполлон».

Я проверил — все ли дома?
Все. Но пишут мне опять:
«В семь хороним домового.
Приезжайте. Будем ждать».

Еле скрыл своё волненье.
Вдруг депеша, словно гром:
«Помню чудное мгновенье.
Все подробности письмом».

СМУГЛЫЙ ЭМИССАР

Твой тихий голос в телефоне
Был восхитительно красив:
«Мой милый, у меня в районе
Портвейн «Анапа», но... в разлив».

Я молвил тоном де Бриссара:
«No problems, baby, всё фигня!
Уже давно пылится тара
В пустой гостиной у меня».

Я взял хрустальную канистру
И сел в случайное авто.
Кружился иней серебристый
Над влагой нежно-золотой.

А рядом, прячась за цистерну,
Считал рубли седой грузин.
И вот к тебе крылатой серной
Летит шикарный лимузин.

Ты распахнула мне объятия
(Уже была навеселе).
Как часто буду вспоминать я
Портвейн и свечи на столе!

Как ты была зеленоглаза,
Шептала: «Милый де Бриссар...»
Будь счастлив миг, когда с Кавказа
К нам прибыл смуглый эмиссар!

ДЕРЗКИЙ ВЫЗОВ

Допивая искристое кьянти
На приеме у герцога N.,
В этом Богом забытом Брабанте
Я увидел графиню Мадлен.

Я сразил её огненным взглядом.
«Моп атоиг» — сорвалось с ее губ.
Бледный муж, находившийся рядом,
Был, естественно, гадок и глуп.

С грациозностью раненой птицы
Протянула мне руку Мадлен,
И она заалела в петлице
Сюртука от маэстро Карден.

Муж безумно глядел через столик
И, естественно, приревновал.
Он с презреньем сказал: «Алкоголик!»
Я с усмешкой наполнил бокал.

В окруженье принцесс и маркизов
Я одернул манжет, а затем
Графу бросил перчатку и вызов,
А графине букет хризантем.

Я сказал: «Есть большая поляна
За заброшенной виллой в саду...
Для тебя этот день, обезьяна,
Станет чёрным, как ночь в Катманду!

Ты расплатишься, словно в сберкассе,
Алой кровью за гнусный поклёп,
И тяжёлая пуля расквасит
Твой набитый опилками лоб.

А когда за заброшенной виллой
Ты умрёшь, как паршивый шакал,
Над твоей одинокой могилой
Я наполню шампанским бокал!»

VOILA-ЖАКЛИН

Спит Жаклин. Свой локон уронила
Мне на грудь. В гостиной полумрак.
Помнишь, как впервые посетила
На бульваре скромный особняк?

Я сказал, к плечу склонившись гибко:
«Здесь не Елисейские поля...»
«Voila», — сказала ты с улыбкой.
Я ответил нежно «Voila!»

«Voila-Жаклин», — такое имя
Я тебе придумал в этот час,
В час, когда судьба соединила
И не разлучит навеки нас.

В ласках и любви не зная меры,
Скрылись в будуаре от людей,
Но через багровые портьеры
Пробивался голос площадей.

За окном толпились демократы,
Ельцин ездил на броневике...
Я стоял с улыбкой, виновато
Прикасаясь к маленькой руке.

Мои амі, мы в странном государстве!
Здесь у нас сюрпризы каждый день.

Никогда парижское лекарство
Не излечит русскую мигрень!

Спруты, адвокаты, Терразини,
Бары, шмары, фикусы в вине...
Блеск и нищета буржуазии
В этой удивительной стране.

Оттого, в уста тебя лобзая.
Дум твоих тревожить не хочу.
Что же дальше? Видит Бог, не знаю!
А когда узнаю — промолчу.

Причитанья о талоне, хлебе
Недостойны истинных мужчин!
Спи, моя изысканная бэби,
Voilà по имени Жаклин.

ПИСЬМО АБХАЗСКИМ ДРУЗЬЯМ

Заскучать. Взять билет небрежно...
Холод. Поле аэродрома.
И увидеть, как в жизни прежней,
Зиму, горной тропы изломы.
Здесь печаль не имеет веса...
Эхо звонкое над деревней
Разольётся дождём по лесу,
Над глубинами башни древней.
Ты спускаешься. Вечер синий,
Тени тонки, как балерины,
И закружится хрупкий иней
На густых листьях мандарина.
Море свежее, в даль открыто...
На причале замри и слушай

Как волна, словно хищник сытый,
Осторожно коснётся суши
И крадётся на пышных лапах...
Ты почувствуешь — это свобода...
Мандарина оранжевый запах.

ГИМН КОНФЕДЕРАТОВ

Над грозным городом раскаты,
Гуляет буря между скал.
Мы заряжаем автоматы
И переходим перевал.

В краю, где зверствуют бандиты,
Горит свободная земля,
Проходят мстители-джигиты
Тропой Мансура, Шамиля.

Помянем тех, кто были с нами,
Кого судьба не сберегла.
Их души тают над горами,
Как след орлиного крыла.

Врага отвага поражала
В лихих отчаянных делах,
В бою на лезвии кинжала
Напишем кровью — «Мой Аллах».

Помянем тех, кто были с нами,
Кого судьба не сберегла.
Их души тают над горами,
Как след орлиного крыла.

ДУХ НАЦИИ

Дух нации должен быть хищен и мудр,
Судьёй беспощадным отрядам.
Он коброю спрячет в зрачке перламутр.
Он буйвол с недвижимым взглядом.
В краю, где от крови багровы мечи,
Не ищет трусливых решений,
Он ястреб, считающий мирных мужчин
В горячее время сражений.
А счет его точен, как точен размах
В движении неистребимом.
Чем меньше мужчин, выбирающих страх,
Тем выше полет ястребиный.

* * *

Знать о будущем и былом
Опаснейшая из затей.
Чёрный грач зачеркнёт крылом
Образ твоих детей.

Коснётся крылом твоего плеча...
Лучше не ворожить!
Пока твой ангел не заскучал,
Можешь ещё пожить.

Можешь прорваться за грань — туда,
Обратно не проскочить...
Ангел скучает. Летит звезда
Птицей слепой в ночи...

15 августа 1992 г.

Олег ДЕМИДОВ

ДЖИГИТ, ГУСАР, АФЫРХАЦА

Бардодым был из той породы поэтов, которые чувствуют и отстаивают такие понятия, как совесть, честь и долг. Литературный образ, с которым он выступал, напоминает сразу Байрона, Лермонтова, Гумилёва, Симонова, Лимонова. Все — опытные бойцы, прошедшие войну, и галантные кавалеры, пленяющие своим изысканным слогом дивных дам. Бардодым определённо входит в эту компанию.

На выступлениях поэт носил комбинезон бронетанковых войск, который ему достался из недавнего армейского прошлого. Стройный молодец (о нём хочется говорить именно в таких былинных тонах), затянутый в ремень и портупею, в сапогах, надраенных до блеска, — загляденье, да и только. Герой своего тяжёлого времени и герой на все времена.

По отцовской линии Бардодым происходил из запорожских казаков. Юноша был пылкий и горячий. Он знал и любил Абхазию, язык её народа был для него понятный и родной. Переводил поэтов республики на русский язык, и в его собственной лирике звучали абхазские мотивы. При каждом удобном случае Бардодым улетал в Абхазию. Случись у него каникулы или отпуск, он их проведёт в Новом Афоне, Гудауте, Ткварчале или Сухуми.

В Абхазии он вёл бурную литературную жизнь: чтения, переводы, поездки в разнообразные селения, горы, пещеры. Было у него множество друзей, которые погружали его

© Олег Демидов, 2016

в культуру этой страны: он был с ними на свадьбах и поминаньях, стоял плечом к плечу на митингах и под пулями на берегу Галидзги в 1989 году.

В Москве он стал членом Ордена куртуазных маньеристов. Получается почти по Фазилю Искандеру: Сандро из ОКМ'а. Успел он сняться в фильме «За брызгами алмазных струй» и поучаствовать в нескольких поэтических сборниках Ордена. «Послушницы» ОКМ вспоминают о нём как о моторе шумной компании. Казалось, будто не он приходит к готовым событиям, а события расцветают вокруг него.

Куртуазные маньеристы по своей поэтической природе, по своей организации, по своим характерам органично рифмуются с другим московским Орденом, который сформировался в начале XX века — с Орденом имажинистов. Про главных зачинателей можно и нужно спорить, а вот фигура кавказца, черкеса, горячего, гордого и полного пламенных речей — абсолютно точно есть и у первых, и у вторых. Если у имажинистов этот образ создавал Сандро Кусиков, то у маньеристов — Александр Бардоным.

Вспоминается известное стихотворение последнего — «Мой Image».

*Очарует рифм розарий
Куртизанку и святую.
В Петербурге я гусарю,
На Кавказе джигитую.*

Андрей Добрынин и Вадим Степанцов, два других видных участника ОКМ, подобные историко-литературные рифмы отрицают. Но тем, может быть, и ценнее для русской литературы такая случайность.

Когда начался абхазо-грузинский конфликт, он же — война, Бардоным тайком ушёл из родительского дома, попрощался с друзьями и, собравшись с иными

добровольцами в одном из абхазских московских кафе, двинулся в Черкесск. История любит случайности и совпадения. Поэтому кажется с одной стороны удивительным, с другой — закономерным, что молодой казак начал свой боевой путь именно с города, который был одной из главных колыбелей казачества.

Те же «послушницы» ОКМ пишут, что Бардодым всегда мечтал о поступке. Даже вот так — о Поступке. И когда началось вторжение в Абхазию, сразу решил, что его место именно там... Из Черкесска, как вспоминает один из участников той войны, с группой добровольцев в 100 человек они выехали в Грозный, где уже были сформированы команды чеченцев, кабардинцев, абазин, адыгейцев, черкесов, абхазов — всего 250 человек. Бардодым там был единственным, кто из всей московской группы получил оружие и сразу же вошёл в группу Шамиля Басаева. Тогда же появляются такие стихи:

*Над грозным городом раскаты,
Гуляет буря между скал.
Мы заряжаем автоматы
И переходим перевал...*

В тот момент слово «грозный» не имело значения, которое появилось у него спустя несколько лет, и никак не ассоциировалось с конкретным чеченским городом. Это случится позже.

Провоевал Бардодым чуть больше трёх недель. Он погиб в сентябре 1992 года, близ Эшер, незадолго до своего 26-летия. Его убили свои же — «товарищи по оружию».

Когда гроб там, в далёкой Абхазии, пытались погрузить в самолёт, чтобы доставить тело поэта в Москву, ничего не вышло. Не были оформлены какие-то документы, чего-то, как всегда, не хватило. И он навсегда остался в Абхазии.

Похоронили его на Новом Афоне.

Что касается его смерти, то она овеяна уже слухами и легендами. Эдуард Лимонов в книге «Убийство часового» писал, что Бардодыма убил из его собственного же автомата какой-то кабардинец. Из-за чего? По пьяни. По другой версии — его убил сам Басаев за то, что поэт, будучи корреспондентом ВВС, периодически писал для этой конторы о войне.

Есть и третья версия — она же первая официальная. В Литературный институт в 1992 году пришла телеграмма, где было сказано, что молодой человек погиб от случайной пули. Караван машин ехал по ущелью. Начался обстрел. И единственным, кому не повезло в этот день, оказался Бардодым.

Впрочем, ни опровергнуть, ни подтвердить ни одну из этих версий уже не получится...

В абхазском языке есть пара интересных слов: «ахаца» — герой, «афырхаца» — герой из героев. Афырхаца — так абхазы окрестили Александра Бардодыма.

Анна ГОРЕНКО (КАРПА)
(1972 — 1999)

Родилась в городе Бендеры. Поэзией увлеклась ещё в подростковом возрасте, в 12 лет — первые стихи. После развода отца с матерью три последних года жизни в России провела между Ленинградом и Бендерами. Осенью 1989 года обе семьи эмигрировали в Израиль. Анна, разумеется, с ними. В Израиле Анна прожила неполных десять лет, в 1994 году у неё родился сын. Неурядицы в личной жизни стали причиной увлечения тяжёлыми наркотиками. Смерть наступила 4 апреля 1999 года от героина. Первая публикация — 1991 год, Иерусалим, журнал «Обитаемый остров» (тогда же ею и выбран псевдоним). Помимо этого, при жизни стихи печатались в журналах «Двоепочие» и «Солнечное сплетение», в альманахе «Симург». Посмертно вышло четыре собрания стихов, самое полное — «Успевай смотреть» (Иерусалим, ИВО, 2014).



Я ГОЛУБКА, ДЕТКА

* * *

юннат беспризорный могильщик
ты клеил серебряный гроб
но что мне до смерти я птичка
я зоологический сноб

умелец роскошный курильщик
ты думал я жить не хочу
я жизни не знаю я птичка
я небо верчу

* * *

дома как стопки детских книг
лежащих поперёк
возьми меня с собой на юг
где каменный песок
возьми снеси меня к себе
где лёгкая вода
смотреть как тихо почему целует никогда

* * *

В день торжества электросвета
в час накренившегося лета
мне снится город заповедный
весь набережный весь подледный
из ночи плотной непроглядной
где выпросталась дверь парадной
мне снишься ты в дожде и стуже
в ознобе бедности и хуже
но всякий раз в густом покое
когда ни словом ни рукою
ни силой воли ни досадой
ответного не вырвать взгляда

* * *

скажи что стало с Гаммельном моим
он мой флажок свивается на древко
как простынь со стола стекает в реку
его пастух прицелился за ним
свалились этажи моих домов
осыпались они не удержались
смущенные цыгане разбежались
и птица мышь касается полов
ложится тёплый снег на городок пустой
на мёртвые тела живые крыши
лег теплый снег
ложись и ты со мной

* * *

просыпайся умерли ночью поэты все-все
в подвале больницы они занимают три полки большие
одни опухли ужасно,
усохли другие
а один так воняет санитары и те
намекают друг другу на это

одевайся посмотрим
только приговых тех шестнадцать
айги ещё не считали
их вставные зубы раздали слепым детишкам
для еврейского карнавала

или, знаешь, пожалуй, останемся дома
говорят, там пожарники и милиция
я боюсь милиции

ты боишься пожарников
Наталья боится волков
останемся пить лимонад
вспоминая
как ходили поэты на парад — трум-пум-пум!! пиу!

POST FACTUM

1.

они в саду играют марш
давай играть в войну
ты будешь мой отец погиб а я тебе рыдать
теперь они играют вальс
а ты и я разврат
теперь ты мой хороший брат а я с тобою спать
затем они сыграют что
но мы давно ушли
здесь звезды страшные горят у них глаза внутри

2.

я маленький японец в кипятке
вода почти до дна достигла
вот врач идёт с предсердием в платке
и к тряпочке платка оно прилипло
а смерть выходит из-за леса
с такой же тряпочкой в руке
ты не ходи ко мне моя принцесса
я маленький японец в кипятке

3.

Мы говорим на детском языке
нам громких букв не удержать в руке
а имена степей во рту врага
и в танк его обутая нога
и в ветер смерти вдетая рука
блуждающего христианства
мы пьем из баночек вино
а наших хижин постоянство
военной карте всё равно

4.

смерть прикрывает наготу
плотью мальчика головой щенка
вот, мы брат и сестра
пойдем спустимся в пустоту

тогда
по горло во тьме
клекочущие небеса стараясь не видеть
вот, вы брат и сестра
скажут боги прячущие лицо

в этот праздник неспелого хлеба нас некому выводить
от полей каменных злаков чеканной конопли
в этот день несвернувшейся крови некому нас простить
мы брат и сестра
из дельты

голуби
голуби площадей нас научили
жить

5.

Цветы живут быстрее тленья вишен
еще быстрее и слаще жизнь вина
я имени села сюда не слышу
но белая сладка его стена
быстрее, белей и слаще наших стен
там церковь по колено в чернозём

6.

Одна война зимы две месяц рыбьей кости
я покажу тебе себя еще
три сладкое клеймёное плечо
космодемьянской на допросе
теперь смотри когда они пройдут
березы и табак дурного цвета
затем опять голландия и эта —
чья створки А нам небо раздерут

где все плескался твой зелёный глаз
нежадно искажая всё живое
где я одна с тобою
где нету нас

7.

Где ночь отвесная в падении свободном
ни перьев золотых ни каблуков
там гладь небесная еще надёжней водной
смыкается и не даёт кругов

второе солнце смерти поднималось
железное над городом Но мы

не слушая его опять пытались
прикрыться пыльной одной полрой зимы

одним ее невнятным одеялом
от собственных холодных светлых глаз
вторая стража смерти всё кричала
по имени не забывая нас.

Всё отделённое страницею, двумя ли,
всё неопасное невидимо. Усни,
чума идёт по улице. Едва ли
после войны ты вспомнишь эти дни.

* * *

припали крылья мои к спине
и воздух к дыханию глух
ты знаешь имя моё но не
его произносишь вслух
и вовсе поздно рассвет кладёт
мне на лицо ладонь
скоро меня господь приберёт
праздничный как огонь
ах он возьмет меня насовсем
всего позволит просить
чем дальше от дома он скажет тем
легче всё позабыть

* * *

Сон... смертным потом волосы твои
к остывшей прилипают голове

о господи сейчас твоей щеки
я прикоснусь на снеге и траве
где ты стоишь пускай ни звук ни свет
уже не проникают до тебя
но для прикосновенья смерти нет
и жизни нет но только
ты любя

* * *

Тело за мною ходило тело
Ело маковый мёд
А теперь довольно, мне надоело
Я во власти других забот

Я в зубах сжимаю алую нить
К ней привязаны небеса
Я всё выше, выше желаю плыть
Я хочу оставаться сам

Гильотина света над головою
И мне дела нету до нас с тобою
Пусть они в разлуке, в беде навеки
Я сегодня сам и мосты и реки
Я огонь и трубы, вода и мыло
Я что хочешь, лишь бы тебе польстило

Я Ариадна скалою у грота
В зубах нитка, во рту монетка
Я себе Ариадна, Тесей и Лота
Я голубка, детка.

Данила ДАВЫДОВ

ЗАПРЕЩЁННОЕ ДЕТСТВО

Совмещённый мотив детства/смерти накладывается в некоторых текстах Горенко на более широкий спектр мотивов отверженности, маргинальности, неприкаянности, жертвенности, наконец; при этом весь этот пучок мотивов сочетается с протестной нотой. Лирика приобретает откровенно этическую направленность. Последнее стихотворение Горенко «Перевод с европейского», написанное нарочито безыскусно, почти наивно, завершается «датой и местом написания»: «Терезиенштадт, апрель 1943». Здесь некроинфантильность окончательно теряет какую бы то ни было игровую функцию, становясь единственным методом писания стихов (почти буквально) «после Освенцима».

Поэтика последовательного ухода выделяет Горенко из поэтов ее поколения: для нее характерно не просто сочетание мотивов детства и смерти, но некая констатация «запрещённости» детства (особенно чётко прослеживаемая в цикле «Песни мертвых детей» и «Перевод с европейского»).

Мне уже приходилось писать о попытке Горенко «скрыться» в субкультуре. Радикальным моментом в этой части последовательного ухода стало обращение к наркотикам. Повторюсь: биография поэта в данном случае меня не может интересовать (хотя в комментариях Владимира Тарасова к избранному¹, достаточно написано

¹ Горенко Анна Малое собрание. / Сост. и комм. В. Тарасова. — Иерусалим, 2000

© Данила Давыдов, 2016

об этого рода опытах Горенко, приведших её к гибели); важна поэтика, в том числе жизнетворческая. Прямое упоминание препаратов, частое в поздних стихах Горенко, как раз не может приблизить нас к пониманию её поэтики. Но есть другой аспект этой горестной ситуации. Обозначу его как наркотическую оптику, в понимании «оптики» как выстраивания «альтернативных систем миропонимания». Демонстрация неканоничности миропонимания, разорванности и в то же время порождения неконвенциональной упорядоченности, — вот что может быть обозначено как «наркотическая оптика». Само вещество оказывается лишь метафорой — в случае Горенко, увы, реализованной.

Характерные приёмы письма Горенко — несогласование членов предложения, разорванность синтаксиса, непредсказуемая полиметрия, использование однородных структур, компрессия, — создают эффект «trip'a», смещения концептов. Этот тип письма характерен именно для многих авторов «системно»-наркотической субкультуры, жизнетворческие методы которой Горенко воплотила в своей поэтике последовательного ухода. Как правило, «наивные» образцы такого рода субкультурного письма эстетически малоинтересны. «Наркотическое» (здесь это термин метафорический) может считаться неким вариантом «визионерского». Но на уровне поэтики мы не имеем возможности чётко отделить визионерство как таковое и визионерство как приём.

Почему блистательный талант Горенко получает в современном литературном процессе неадекватно заниженную, мягко говоря, оценку? Мне представляется, что поэтика последовательного ухода Анны Горенко — своего рода вариация на тему предложенной Николаем Байтовым т.н. эстетики не-Х, характеризующейся, в частности, неуверенностью и эклектизмом. Разного

рода формы мэйнстрима современной поэзии — от авторов, наследующих «Московскому времени», до «постконцептуалистов» — не могли бы удовлетворить Горенко, поскольку являются паллиативами. Глубоко противоречивая поэтическая фигура Анны Горенко, через последовательность отказов (от самоопределения и социального статуирования, от конвенциональности письма) пытавшейся достичь максимума самоадекватности, безусловно, не вписывается в рамки чётких, «внятных», «X-овых», по Байтову, построений и поэтому оказывается, на первый взгляд, вне контекста. Но это лишь на низшем уровне восприятия; на более высоких мы — уже без удивления — обнаружим значительность того небольшого корпуса текстов, что остался от Горенко. Подобно Борису Поплавскому, которого младшее поколение первой эмиграции ощущало своим оправданием, Анна Горенко оказывается оправданием и русскоязычной молодой литературы в диаспоре, да — в некотором смысле — и нас всех.

Первая публикация: Д. Давыдов, «Поэтика последовательного ухода», «Новое Литературное Обозрение», 2002, № 57.

Сергей КАЗНОВ
(1978 — 2005)

Родился в Саранске. Учился на журналиста. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (2002), семинар поэзии Игоря Волгина. Работал в местных газетах, печатался в республиканских журналах и альманахах, за год до смерти стал лауреатом конкурса молодых поэтов Подмосковья «Золотое перо». Умер от инфаркта. Через несколько дней после смерти вышла его книга «Остров, полный звуков». Стихи Сергея, воспоминания его друзей, коллег и сокурсников составили сборник «Цветы и звёзды» (Саранск, 2006).



АНГЕЛ НОМЕР ШЕСТЬ

* * *

Как страшно быть элементом эпоса.
Царём быть лучше, героем проще —
врываться с боем в чужие крепости
и петь пеаны в священной роще.

Как тяжело в песнях, людей чарующих,
быть ерундой, драпировкой в зале,
как трудно видеть вождей пирующих
и слышать всё, что они сказали, —

© Наследники Сергея Казнова, 2016

и промолчать! И потупить голову,
терпеть и воле чужой отдаться.
Как страшно жить, не имея голоса:
песчинкой быть — и не разрыдаться!

Быть неприметным цветком цикория
среди цветущего пышно луга.
За Одиссеем следит история.
За его садом следит прислуга.

И знать: вовек ничего не выпросят
твои моленья, твои стенанья.
Сегодня терпят, а завтра выбросят
и позабудут твоё названье.

Слепой певец поглядит ехидно
и прикажет с пейзажем слиться
тебе, забытому, как Брюнхильда,
на триста двадцать восьмой странице.

твоё волненье, твоё горение
не в силах петь, а едва бормочет:
творец сильней, чем его творение,
и унижает его как хочет.

Портьера пыльная, полка книжная,
глотая тихие, злые слёзы,
я тоже здесь, и молчу униженно,
и эпос вертит свои колёса.

* * *

Вот пейзаж нам задан: домик, мезонин.
Запах — то ли ладан, то ли вазелин.
Здесь живут две женщины, странная семья:
память о прошедшем и любовь моя.
Горечь и красу мирка делят на двоих.
Память бродит в сумерках в комнатах своих,
как аббат у Чосера, с каменным лицом,
там, где ты расчёсывала волосы с концов,
собирала листья в пламенный букет,
улыбалась, чистя каменный паркет,
завивала волосы с печкой визави,
пела звонким голосом о своей любви,
где полвека минуло, как четыре дня.
Там, где ты покинула навсегда меня.
А любовь всё кружится в платице из роз,
осушая лужицу памятных слёз,
приставляя лесенку к чердаку зимой,
напевая песенку о себе самой.

СТАНСЫ

Девочка, как тебя величать,
тёмная кровь,
я научил тебя различать
секс и любовь,

я покупал тебе на Тверской
сок и инжир,
я познакомил тебя с тоской
и подружил.

Нынче неважно, кто в барыше —
он небольшой.
Я выжигал по твоей душе
с лёгкой душой,

я тебе в сердце под рёбра вбил
стержень копья —
но ни один тебя не любил
так же, как я.

А за науку чудный ответ
ты мне дала —
горстью отсыпала звонких монет
из-за угла.

Дальше — молчи, я почти простил,
дальше — во тьму,
но для кого я тебя растил —
сам не пойму.

* * *

Не пеняй мне за ревность,
оправдаюсь вполне.
Даже ветхая древность
на моей стороне.

Хоть бояться другого
не пристало Отцу,
ревновал Иегова
к золотому тельцу.

Мы из праха и тлена.
Нечестивую плоть

до седьмого колена
поражает Господь.

И того лишь спасает,
кто в Господней руке.
Это в книге Исаяи
видно в каждой строке.

Все евреи, арабы
себе ставят на вид:
выживает лишь слабый,
кто Его не гневит,

соблюдает субботы,
не читает Рембо
и не ищет свободы,
потому что слабо.

* * *

Мы встречались в лохматом тумане всего
только год; ты не знала сама для чего.
Только спички спасали меня от пожара.
За то время, пока ты не знала сама,
я успел доказать теорему Ферма
и всерьёз занялся кубатурою шара.

И когда я, мечтая исчезнуть в толпе,
выхожу вечерами на рю де ля Пэ,
я вас вижу: вы вместе, но вряд ли поженитесь.
Стар я стал, да и просто устал, наконец,
наблюдать, как тоскует влюблённый юнец,
принимая «десятку» за «Киа Маджентис».

Я давно не любитель подобных картин,
у меня есть внутри свой святой Валентин,
сам себе живописец, мольберт и картина.
Оттого-то и хочется мне поскорей
перестать увлекаться судьбою зверей
и направить ружьё на хозяина тира.

* * *

Из предрассветного озноба
всплывают ветви, кочки, мхи.
Ты так творил весь мир, должно быть,
как ныне пишутся стихи.

Пучины, горные вершины
ты нашептал в полубреду,
без объясненья и причины,
как яблоня цветёт в саду.

И нынче в августе червонном
крик перепёлки луговой
рифмуется с протокой сонной
и свежескошенной травой.

А сила утреннего клёва
созвучна слову «благодать» —
и грош цена такому слову,
какое можно угадать.

На перекрёстках мироздания
у мироздания за спиной
срифмовано моё страданье
с полётом бабочки ночной.

На всём, что живо, что истлело,
лежит одна Твоя печать,
но подорожник от омелы
Ты сам не должен отличать.

* * *

Все, кто пел и плясал о высоком,
наконец-то довольны вполне:
истекаю я клюквенным соком,
дорогая моя Шаганэ.

Обливаюсь я влагой венозной
и уже ничего не прошу,
и стакан, как сосуд кровеносный,
я устало к устам подношу.

Мне казалось, я высох и выжат,
чтоб уже не наполниться впредь,
но понятно: мне велено выжить,
чтобы было кому умереть.

Искажён и истрачен любовью,
я оставлен в живых до поры,
и летят к моему изголовью
истерические комары.

ЭЛЕГИЯ

Как машина стоит на четырёх домкратах,
как земля плывёт в океане на трёх китах, —
моя жизнь, погружённая в смерть на четыре пятых,
ещё различает ягоды на кустах.

Торопись, крыжовник; молись за меня, малина;
и на помощь ко мне, смородина трёх цветов,
ибо, ежели вправду клин вышибают клином,
то и я принять ваши ласки уже готов.

Я учил её близорукости, препинанью,
и счастливой любви, и сворачиваться ежом,
и слезам навзрыд, и сам был обложен данью,
и её долги пунцовели платежом.

Слышишь, скорая полночь, забей мне в запястья гвозди
и не говори, которое ты число.
Ничего не надо. Она любит стручки и гроздья,
и на что ей горох, из которого проросло.

Познакомь меня лучше с какой-нибудь из ущербных,
вроде той луны, красотки наверняка,
чтобы вместе слушать шуршанье шмеля и щелбня
и глотать по ночам чёрный кофе без молока.

* * *

Эта осень — особенно долгая,
век бессонниц моих, полудрём,
и сшивает неспешной иголкою
август лета с моим декабрём,
и такую раскинулась Волгою,
что как будто мы все не умрём.

Чудотворные наши обители,
выходящие из берегов,
богомольцы, сектанты, любители
всех Озирисов и Иегов,

я не верю вам, братья-святители,
не бывает на свете богов.

Это просто питаются стонами
духи, вечно хотящие есть,
и кружатся над нами фантомами,
пожирая молитвы и лесть;
имена их — скорее антонимы
для того, что действительно есть.

Молодое, весёлое, вздорное,
посиделки в высокой траве,
тополиная пыль коридорная
на рассвете, в июне, в Москве, —
вот она, моя точка опорная,
вот он, путь к золотой синеве.

Только память и свет, только пение,
только это стальное перо,
только золото, пусть и осеннее,
только утреннее серебро, —
вот она, моя честь и спасение,
и молитва, и зло, и добро.

Потому что листва тополиная
облетела и стала немой,
потому что спиральная линия
обязательно станет прямой;
эта осень — особенно длинная,
но кончается тоже зимой.

ЭЛЕГИЯ

Издалека заводим речь:
весна, свобода.
Она и время наших встреч,
и время года.

Она на ранних поездах
весь день каталась
и в отцветающих садах
навек осталась.

Сулила кончиться добром,
неслась верхами
и пахла глиною, костром,
дождём, духами.

Как Пасха следом за Страстной
приходит слепо,
теперь за прожитой весной
настало лето.

Забьётся медленно в висках,
и ясно станет:
само потонет в облаках
и нас потянет.

Оно, как ангел номер шесть,
стоит с трубою
и погребает все, что есть,
и нас с тобою.

Стас НЕСТЕРЮК

ВЕЧНЫЙ РУЛЬ

Когда Сергей Казнов поступил на филфак Мордовского государственного университета, для его друзей это оказалось полной неожиданностью. Потому что в школе он считался крепким «физиком», и ему прочили карьеру инженера, конструктора или даже учёного.

Много позже, окончив Литинститут, Сергей открыл завесу над этой «упущенной» возможностью в стихотворении «ФЭТ» (то есть Факультет Электронной Техники). И оказалось, что на самом деле он никогда не отрекался от физики окончательно. Упомянув *«токи Фуко, константы и переменные»* и сказав, что *«всё это теперь утрачено»*, Сергей тут же признаётся, что *«с тех пор <...> интересуется меня отсечённое лишнее»* и сам он как человек *«представляет собой, наверное, не вектор выбранных строк, а сумму отвергнутых»*.

Действительно, складом ума Сергей больше напоминал «физика», нежели «лирика». И в быту навсегда сохранил остроту научного взгляда на всё, к чему прикасался. А вообще, сфера его интересов была невероятно широка: квантовая механика и метеорология, ботаника и теория вероятностей, история и ракетостроение... И во всё это он с удовольствием вникал, разбирался и пытался понять.

Свой интерес и познания Сергей охотно и умело использовал в творчестве, создавая крайне необычные, но очень ёмкие и осмысленные образы. Чего стоит один его «Белый шум» — очень серьёзное стихотворение об

© Стас Нестерюк, 2016

осмыслении христианства, изложенное словно лекция по физике. В двух десятках строк Сергей рассказал о принципах передачи звука с помощью радиотрансляционной сети и неизбежных потерях такой системы, превышающих иногда величину самого сигнала. Сплетение поэтического дарования и научного взгляда придавало его стихам почти сюжетную содержательность. Из-за чего, кстати, в Литинституте у него даже были неприятности: устав от обвинений в «рифмованной прозе», Сергей пошёл на конфликт с мастером, забрал документы за курс до окончания и восстановился лишь через год — в другой семинар!

Казнов был на удивление интересным собеседником. Умел внимательно слушать и поддержать тему, уважал чужое суждение, но ни одно авторитетное мнение при этом не принимал на веру. Считал, что любую истину можно постичь силой собственной мысли, не прибегая к догмам. Был совершенно чужд предвзятости и предрассудкам, а склонность к сотворению кумиров считал худшим недостатком. И потому не принимал религии, что видел в ней отказ от свободы и разума. Осознавая величие высших законов природы, он, тем не менее, не позволял никому решать за себя свою судьбу. Однако, называясь атеистом, не отрицал и разумности мироздания, а в творчестве — нередко обращался к богу. Но бог Казнова — внеконфессионален и является скорее философским, нежели религиозным понятием. Стихи Сергея не призывают к поклонению: в них Он присутствует «как равный», почти собеседник. Определяя же своё *собственное* место в мире, Казнов говорит в одном месте: *«не нужен мне вечный двигатель, подайте мне вечный руль»* и *«моё любимое право — править и выбирать»*.

Даже в отношениях с женщинами Сергей подсознательно тянулся к «научной» стороне своей души. Его главной музой

в жизни стала преподавательница физики из технического колледжа. Именно ей он посвятил большинство своих поздних романтических стихотворений. Увы, физика, напрочь лишённая лирики, это тупик, в котором Сергей понапрасну пытался прошибить головой стену. Дама сердца совершенно не замечала красот его творчества, считая поэзию вообще — чушью, а стихи Сергея — чушью провинциальной! Его чувства казались ей забавными, милыми и трогательными, но никак не сочетались с представлениями о мужчине, который нужен в качестве возлюбленного. И это — при том что Казнов был настоящим кавалером: галантным, интеллигентным и — совершенно бесстрашным при необходимости. Будучи не очень крепким с виду, он, казалось, напрочь был лишён страха, когда нужно было ввязаться в драку. Дрался и один на один, и против нескольких сразу; бывал бит... Но совершенно не утрачивал при этом врождённой жизнерадостности. Зло, встречаемое в жизни, он слишком глубоко презирал, чтобы позволить ему портить себе настроение.

А настроен был всегда на праздник. Друзья так и говорили: «Когда приходит Казнов, в комнате как будто становится светлее». Люди невольно тянулись к нему, словно к духовному наставнику. Вокруг него всегда теснились друзья, и даже когда он попал в больницу летом 2005 года, больничный двор на три недели превратился в подобие Сада Эпикура. Каждый день, как только открывались двери для посетителей, возле Сергея на лавочках собирались ребята с желанием пообщаться.

А ведь ему было отнюдь не до веселья! Доставленный на скорой прямо с улицы, он три дня провёл в реанимации с диагнозом «обширный инфаркт». Помня, что отец его умер в 40 лет именно от инфаркта, милости от судьбы ждать не приходилось. Однако Казнов был настолько спокоен и привычно весел, что заставлял нас забыть — куда мы

пришли. Лишь тетрадь, которую он завёл в больничной палате и которая осталась после его смерти, даёт некоторое представление о глубине мыслей и переживаний его в этот период.

Выйдя из больницы, Сергей не оставил активное общение с друзьями. Напротив: продолжил жить как прежде, осмысленно решив, что жизнь должна приносить радость, а держаться за неё из страха — недостойно уважающего себя человека.

Зная результат, такое решение можно счесть глупым и ошибочным. Больной — должен себя беречь! Но зная натуру и характер Казнова — поэта и человека — понимаешь, что иным он быть не мог. Вернее — не хотел, что в данном случае означает одно и то же.

Сергей КОРОЛЁВ
(1980 — 2006)

Родился в Бабаево Вологодской области. Служил в армии, работал на лесозаготовках. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького (семинар поэзии Галины Седых). Публиковался в местных изданиях, журналах «Литературная учёба», «Дети Ра», альманахе «Братина», антологии «Возвращение» (Москва). Добровольно ушёл из жизни. Посмертно вышла книга «Повторите небо» (М.: «Воймега», 2011) и подборка в журнале «Арион» с предисловием Александра Переверзина.



КОЛОКОЛ БЬЁТ НИ ПО КОМ

* * *

«Дядя Коля был тоже чудак:
Слишком рано убрался со свету...»
Я подумал о нём просто так,
Фотографии тех, кого нету,
Из родни, кого нету в живых,
В деревенском альбоме листая,
Элегантно грустя: — Что же вы,
Как по саду листва золотая,
Улетели — не знаю куда?
Растворился и запах домашний,

© Наследники Сергея Королёва, 2016

И без вас замерзает вода,
И без вас согревается пашня...
Две «на память» поблеклых строки,
Мертвецов залихватские позы —
Скоморохи мои, дураки!
Ничего не пошло вам на пользу:
Пили водку, любили девиц,
По волкам заряжали картечью...
Ваши фото похожи на птиц
Непонятною музыкой-речью.
Вспоминаю вас издалека,
Ваши руки, размытые лица —
Память вечна, земля глубока,
Жизнелюбцы и самоубийцы.

* * *

Время гниёт в старых часах.
Нет ни минуты на ерунду.
Мне — исчезать, тебе — исчезать,
Повремени — и я обожду.

Надо забыть про земное гнильё,
Чем-то заняться на целую жизнь.
Мается маятник, колокол бьёт,
За паутиною стрелка дрожит.

— Если разбиты твои корабли
Там, на зубастых камнях, на мелях...
— Значит, я шагом пойду до земли!
— Если когда-нибудь будет земля.

Колокол, колокол! бьёт ни по ком!
Всех утонувших разбудит на дне.

По морю, по морю — только пешком!
— Как малoverы пройдут по воде?

* * *

Свободу некуда девать:
она *не влазит* в ворота;
она желает убивать —
и не приучена работать.
У ней особенная статья,
не поминай Свободу всуе,
ей лучше не существовать —
и вот она не существует.

* * *

Я твою землю проходил плугом,
Я пробирался в твою ночь — вором:
Мы коротаем вечность друг с другом,
Сейчас мне двадцать, через день — сорок:
Взведён не медлящий боёк — время,
Ты затаился и прицел движешь,
Ты — бережлив и не даёшь премий,
Я — шаг за шагом становлюсь ближе
К берлогам тех, кто не имут сраму...
Ты остаёшься — свежевать славу,
А мне утеха: я не весь — в яму,
И нам с тобой в одной воде плавать.

* * *

Кому — в унылом карауле
влачить служилую тоску
и ждать, когда родная пуля
перебежит через реку:
закроет очи, поцелует,
повалит и прижмёт к траве —
и запоёт и заворкует
в пробитой настезь голове.
Веди усталого солдата
в замысловатые края,
где ни тоски, ни автомата,
ни потной сбруи бытия.

* * *

Хорошо, если вместе умрём.
Не хочу без тебя доживать.
Поседевшие стол и кровать —
Даже пыль нас запомнит вдвоём.
Берег неба зажжёт маяки,
А по берегу — он и она, —
Как улитки, бредут старики,
И вот-вот их подхватит волна.
Что на память тебе подарю?
Что имею — давно не моё.
Не о смерти с тобой говорю,
Но о чем-то важнее её.
Если всех растворяет поток,
Я с тобой непременно сольюсь.
Я боялся, что будет «потом», —
А теперь ничего не боюсь.

* * *

Обнимая в ночи нелюбимых своих —
вспоминаем любимых своих:
далеко за морями огней городских
мы оставили их.

И теперь не учи меня жить по уму —
лучше мне навсегда одному.
Но позволь, напоследок тебя обниму —
перед тем как во тьму.

* * *

Я стал прозрачней и грустней:
Пустое зеркало не врёт.
Я начал думать по весне:
Когда же осени черёд.
Ходить-бродить незнамо где,
Ногами листья ворошить,
Прощаться с миром всякий день
И лишь с деревьями дружить.
Деревья нищие, как я, —
Но перебьёмся, ничего!
Такая славная семья:
Они не любят никого.
Они живут безвестный век,
Качают лапами внучат
И терпят дождь, жару и снег,
Живут — и боль свою молчат.

* * *

За тобой и за мною придут:
Я уже напрягаюсь и жду.
Наверху вычисляют маршрут,
И звезда вызывает звезду:
— Не бросай меня. Слышишь? Ответь!
Но широк пустоты мавзолей
И высок одиночества мост;
Но теряются звёзды в траве,
Но теряются травы корнями в земле,
А Земля затерялась меж звёзд.

Галина СЕДЫХ

И НИКТО ЕЩЁ НЕ НАКОСЯЧИЛ...

Первый сборничек лирики, изданный мизерным тиражом в Вологодской области в 90-х годах прошлого века, талантливый северянин Сергей Королёв представил на творческий конкурс в Литинститут, в который и был зачислен в очень юном возрасте — ему тогда было неполных 17 лет.

*Это чьи-нибудь семнадцать лет:
Вечный город мой и мост висячий,
Небо и крадущийся рассвет...
И никто ещё не накосячил
В жизни! и безвинны на миру.*

Что случилось потом? Где «накосячил»? Почему армия, родной колхоз, лесоповал, дворницкая, униформа охранника — про то читатель узнает из Серёжиных стихов. А ещё — многое узнает о его друзьях и родных, которые «*живут и боль свою молчат*», о родном городке Бабаево на Вологодчине, о том, как «*не дожил дня*» и «*в безвремении застрял*».

Защита диплома планировалась на весну, всё шло своим чередом: сессия, семинары, зачёты, лекции, предзащита. Обычный график работы студента выпускного курса. И вдруг!..

*— Повторите небо! повторите! —
Это я трагически ору...*

© Галина Седых, 2016

*Но не повторяют ни черта...
...В зале гробовая темнота...*

Нисколько не сомневаюсь, что, доведись ему защититься, это была бы блестящая, безоговорочная победа. Но в реальной жизни всё случилось не так, как планировалось и предполагалось. В январе 2006 года Сергей Королёв добровольно ушёл из жизни. Этот совершенно очевидный факт до сих пор не укладывается в моём сознании («*Всё ещё не постигая смерти вечную тюрьму*»). Тяжело говорить в прошедшем времени о полном жизненной энергии двадцатипятилетнем человеке. Спустя пять лет в его уход не хочется верить. Да и сам он в такое не верил: «*Мне туда не надо, я не дожил дня*»:

*Если судить по бабкам да по дедам,
Так жизнь моя не пройдена на треть;
Они не торопились умереть,
И я не тороплюсь за ними следом.*

Хотя, как я сейчас ясно вижу, всю свою недолгую жизнь Сергей как будто бы пытался писать завещание-предупреждение: друзьям, родным, любимым. Всем-всем-всем...

*Никакие не «вечные своды» —
Там суглинок да камень тяжёл,
Да дремучая темень природы,
Из которой однажды пришёл.*

Для Сергея это было априорное знание. Прошлое без будущего, вечное без иллюзий.

Природа была щедра к Сергею. Она одарила его не только талантом стихотворца, но и физической силой. Я

вспоминаю — в нём всё было замысленно красиво. И даже избыточно красиво, как у чеховского идеального человека. Сергей запоминался сразу же, с первой встречи, и после не терялся в памяти — ни внешностью, ни характером, ни стихами. Не терялся даже в пёстрой студенческой компании. Я помню профиль римского легионера, нос античного атлета, вечный камуфляж, чуть грассирующий выговор, как у русских эмигрантов первой волны. И эта странная манера — при разговоре смотреть прямо в глаза (не мигая, но и не видя), сквозь и мимо собеседника. От всего этого веяло таким холодом одиночества. Ещё помню, что Сергей обладал недюжинной силой и вспльчиво-отходчивым характером, он был остроумен и сосредоточен и, как я сейчас понимаю, очень уязвим и абсолютно неприспособлен к тому, что называется «большая жизнь».

*Я верю: это было в старину!
И в то, что снова повернётся детством
Большая жизнь: я запросто стряхну
Невинную задумчивость младенца —
И повторится вечное кино...*

Не повернулось, не стряхнуть, не повторится. Жизнь слишком сурова, чтобы быть неправдой вечного кино.

Сергея Королёва очень ценили все, кто его хорошо знал. За талант, бесребреничество, за неведомую внутреннюю тайну, которую он навсегда унёс с собой. Унёс Туда —

*Где бабушка с седыми волосами,
И после жизни мы в своё окно
Из смерти в жизнь заглядываем сами.*

И никто ещё не накосячил...

Воистину прав великий Лорка, говоривший о том, что самая печальная радость — быть поэтом, всё остальное — неважно.

Сергей был и остаётся Поэтом.

Первая публикация — в книге Сергея Королёва «Повторите небо» («Воймега», 2011).

Тарас ТРОФИМОВ
(1982 — 2011)

Родился в Екатеринбурге. Учился на филологическом факультете Уральского госуниверситета. Музыкант, лидер группы The Stockmen. Работал копирайтером в пиар-агентстве. Публиковался в журналах «Воздух», «Урал», альманахе «Вавилон», сборниках премии «Дебют» и др. Стихи входили в длинный список премии «Дебют». Финалист премии «ЛитератураРРентген» 2005 года, лауреат премии «ЛитератураРРентген» 2006 года в главной номинации. В



2007 году вышла первая книга стихов «Продавец почек». В 2012 году в Екатеринбурге вышел сборник стихов и прозы «Мне вновь — богом. Зябко на душе...», а в 2013 году подборка стихов Тараса вошла в иллюстрированную книгу современной русской поэзии, изданную Британской высшей школой дизайна.

ЧЕРЕПА ЗАБЫТЫХ ПИСЕМ

* * *

Вы замечали — всё это бывает, когда
Девочка из параллельного не отвечает
Ни на звонок, только даром тянул провода
Кто-то небритый, в похмельной и божьей печали.

Словно набитый плохими ирисками рот
Медленно слово выводит, оно

© Наследники Тараса Трофимова, 2016

Липнет к нёбу, длинный гудок, и во
Времени вислый живот.
Лезут минуты, одетые в серые робы.

Ты положи, положи. Нет, я не положу.
Ради себя и неё и какого-то духа
Я подержу ещё трубку, чуток подержу,
Чтобы на память осталось горячее ухо.

* * *

Выходишь в свет, когда светает,
Задвижки бункеров порвав.
Идёшь под дымным небосводом,
Проходим кажешься уродом,
Хотя почти чистопородный —
Гав! Гав! Гав! Гав!

Раздумье. В волосы вцепясь,
Минуешь грязь, минуешь грязь;
Притон безделья и безумья,
Рай обесцвеченных фигур,
Рвёт головы овал твой шумный
Екатерин-бур.

БУКВАРЬ

А жук жужжал. А ящик был из досок.
А жук сердился — панцирь ему жал.
А ящик тень бросал — всю из полосок.

А мальчик книгу по ночам читал,
Раскрыв страницы до размеров ночи.
Под утро удивлялся, что устал.

Ложился он. С ним в темноте лежал,
Как тень от ящика,
ст о л б е ц
з е л ё н ы х
с т р о ч е к.

Автобус первый, словно жук, жужжал.

* * *

Я вышел на работу, чтоб понять —
Две-три недели в самом деле долго.
Две лилии. Три вербы. День девятый.
Очухался, как мокрое перо,
В постели.
Мне приснилась речка Волга.
Две лилии (они там не растут).
Три вербы. Кто-то умер.
Братья: «Зря ты!»
Он им из гроба: как вам не понять,
Я вышел на работу, чтоб занять
Две-три недели. Мокрое перо
По Волге плыло. Вот оно концом
К постели, где я умер. А лицо
Напудрено, и за щеками вата —
Две лилии (они там не растут).

* * *

Тогда по всей земле стояла глина.
Как мы кусаем хлеб, она кусала
Сапог, потом второй. Так за одной
Прошла другая пара сапогов.

Два сапога — один, четыре — двое.
Затем они построили оркестр.
Там было девять честных музыкантов.
Их губы примерзали к мундштукам.
Их сапоги месили пузо глины,
Застреленных месили их глаза.
Их музыка хрипела серой сукой
(Сорвала голос, потеряв щенков).
Хрипела: выходи и умирай.
Хрипела: мне без вас так страшно, страшно.
Хрипела: выходи и умирай.
И только кто-то падал, сапоги
Показывали шляпки гвоздевые.
Рыдали мордой в глину, холодея.

МОРЕ — РАЗ, ДВА, ТРИ

Мой друг Малечко ездил в Николаев,
Хотя там Украина и вообще
Полно пампушек, сала, пёсских лаев
И рубль не имеет обраче
Ни я, ни ты, ни кто-то из приезжих
Не купит водки в рідной на рубли.
За гривны — море, бабы, цирк-манежи,
Волнуется всё море — значит «ТРИ»!

Малечко отдыхал своею хатой,
По возвращеньи он мне подарил
Консерв «Одесский воздух», плотно сжатый.
Морская, бля, фигура — ну замри!
Мне страшно открывать «Одесский воздух»,
Напичканная смыслом голова
У ящика Пандоры скажет просто:
«Волнуется, ша, морэ. Таки ДВА!»

И тут реветь я буду и посуду
Настойчиво, но аккуратно бить.
Эллады нет — пойду к седому пруду,
Не вам одним воды Эллады пить.

Шагающий по тропкам ребе Кацман
Прошепелявит: «Шо было у нас!
Ведь верили, и голосами астмы:
Шма, Исраэль! Там море таки РАЗ!»

Малечко, под тобою Чёрным — море,
А в рот пихнули речи колдунов,
Подействует? Не действует? Поспорим.
Вдвоем в ракушкин рог морской свой рёв:
«Море волнуется — РАЗ!»

ПРОДАВЕЦ

Парень скромный, симпатичный,
Не хвастун и не хитрец,
Мой приятель закадычный —
Детских почек продавец.

Золотые челюсти,
Десять дюймов прелести,
Банка медицинская,
Рожа материнская.

Топором тяжёлым двинет
По ребячьей голове,
Сноровисто почки вынет —
Не одну, а сразу две!

Хорошо товар идёт,
Налетай, больные!
Золотятся в полный рот
Челюсти вставные.

Почка умною была —
Не курила, не пила,
Маленькая, славная,
В организме главная.

* * *

Ты мне крестик из спичек свяжи поперёк —
И с таким проканаю.
Если кончатся спички — достал и поджёг.
Закурю, повздыхаю.

Если кончатся ноги, ладонями я
Как туда, так обратно.
Если кончусь я весь — зеркало занавесь.
Был хороший, и ладно.

* * *

Живописец. Писец как живо,
Натягивая шкуру дня,
Ты акробатом спецпошива
Разыгрываешь для меня
Две роли в рамках шкуры влажной,
Две боли от бровей до рук,
И кое-что, уже не важно,
Где бился влажный гулкий стук.

Поднятия страстей картину,
Приподними всё полотно,
Добавь бубенчиков старинных —
И будет самое оно.

* * *

Листайте черепа забытых писем
Тех, кто любил, тех, от кого зависим
Был — целым, без остатка, горячо.

Моргайте в их уснувшие фигуры
На донце сердца, без литературы,
В надежде: снова под рукой плечо.

Вдыхайте запах старого дивана —
Кошачьи саки, месячные мамы,
Слюна и семя папы, пыль и грязь —

Всё это жизни — в ласке и печали,
Всё мысли, что вас с богом обвенчали
По Пушкинской метели, затаясь.

Вот лишь, наплакавшись и надышавшись,
Списав это на взрослую, но — шалость,
Подумаете: жизнь была светла,

Хихикнут старцы и заржут паяцы,
И за спиной у вас распространятся
Два исполинских сломанных крыла.

Илья НЕНКО

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МИЗАНТРОП

Имя Тараса Трофимова впервые прозвучало, когда в 2000-м году уральского поэта и литературтрегера Василия Чепелева спросили, есть ли в Екатеринбурге талантливые молодые авторы. С 2001-го года имя Тараса ежегодно фигурирует в списках премии «Дебют», а в 2006-м году он стал одним из первых лауреатов премии «ЛитератураРентген» (Екатеринбург).

Творчество Тараса Трофимова чаще всего делят на три ключевых этапа развития: Т. Танкист, Тарас Трофимов и Mad Terrence Трофимов. Каждый из них характеризуется своей тональностью стихов и рисунков. При этом нельзя сказать, что Тарас и сам не менялся на разных этапах становления своей творческой личности. И каждая новая ступень — это и новый Тарас. Неизменной оставалась только поза екатеринбургского мизантропа. При этом характерной особенностью Трофимова было желание писать так, как будто с него кто-то за это спрашивает, иной раз он как будто отчитывался: «Заставляю себя писать ежедневно».

В пристальной любви-ненависти к огромному серому городу Тарас Трофимов — продолжатель традиций Максима Анкудинова, Бориса Рыжего и Романа Тягунова. Однако с годами к полному молодого задора цинизму и мизантропии добавилась уже всеобъемлющая жалость поэта к окружающему миру. Это можно было проследить как в творчестве Тараса, так и в личной с ним беседе. Хотя с

© Илья Ненко, 2016

лёгкостью можно сказать, что у каждого был свой Тарас. Это объясняется степенью доверия, открытости к тем или иным людям, к разным кругам. Если для кого-то он был весёлым и ироничным, то, например, екатеринбургский писатель Дмитрий Шкарин вспоминает, что всё время общение с Тарасом было окрашено отчаянием и безысходностью. Примерно за неделю до гибели Трофимов часто рассказывал байку о стране Вальхалла, где нет большего ада, чем тот момент, когда кондуктор трамвая будит тебя утром, а у тебя в кармане денег ровно на билет.

Гибель Тараса заметно изменила представителей его екатеринбургского окружения. У некоторых появились седые пряди, у многих изменилось отношение к тому, что происходит вокруг, к собственной жизни. Некоторые пытались заново переосмыслить творчество Трофимова. Найти в нем некоторые «знаки» — к примеру, стихотворение «Руку не меняют» заканчивается словами: *«Приятели будут вздыхать над рюмкой: мол, хороший был, а умер глупо. Такой же расклад»*. Тарас Трофимов погиб 1 апреля 2011 года, попав под электричку.

Леонид ШЕВЧЕНКО
(1972 — 2002)

Родился в Волгограде. После школы год отучился в Волгоградском государственном университете на филологическом факультете, потом ещё два — в Литинституте (семинар поэзии Татьяны Бек и Сергея Чупринина). В 1993 году вышла первая книга «История болезни» (Волгоград). Работал журналистом в газетах «Вечерний Волгоград» и «Первое чтение». С 1998 по 2002 год регулярно публиковал рецензии в журнале «Знамя». В 2000 году составил, отредактировал и выпустил в свет первый номер литературного альманаха «Шар» (Волгоград). Вторая и последняя прижизненная поэтическая книга Шевченко «Рок» (Волгоград) появилась в 2001 году. Убит ночью 25 апреля 2002 года при невыясненных обстоятельствах в нескольких метрах от своего дома. Посмертно вышли три книги со стихами, рассказами, повестями.



ПИРАМИДАМ — ЗВУЧАТЬ

* * *

Я не умру, главы не преклоню
пред палачом в коронке изумрудной,
как я тебя любил, как я люблю
в многоголосой ночи многотрудной!
Едва ль меня желание посетит

подрезать вены с точностью актёра,
я думаю, что после смерти — стыд,
так замолчи, безумная Изора!
Проходит век, и больше не бывать
таким делам — чеканкам и цветочкам,
так научился плыть и убивать,
душе темно и неуютно почкам.
Пустое посещение моё
окажется дряхлеющим туманом,
о, я любил, о, я люблю твоё
немое слово с городским обманом.
Вот по реке плывущая звезда —
почти звезда, и нечего стараться.
Доколе будут сниться холода?
Еще немного.
Жалко расставаться...

ЗОЛОТОЙ ВЕК

Когда нас в детский сад водили
эльфы — и никто не умирал,
когда у мальчиков были крылья,
на дудке юноша играл.

И в школе изучали Книгу
Мёртвых и не летела гарь,
и гном держал в руках мотыгу
и длинный голубой фонарь.

Когда на лютне были струны,
и были лотосы в висках,
германские писали руны
в вечерних городских листках.

Привёз чиновник из столицы
два телескопа и орган,
рыжеволосые ученицы
влюблялись в молодых цыган.

Когда потел философ в бане,
в Тибет тянулись журавли,
когда наутро христиане
ещё драмтеатр не сожгли.

У сторожа не отобрали флейту,
луну теолог не украл, —
меня в детсад водили эльфы
и Саламандра забирал.

РЕЛИГИЯ

Джинсы, которые из Индии не привезли,
шары новогодние, которые я разбил...
Все ближе речной вокзал Обетованной земли —
озеро Чад, русский Нил.
Пирамидам — звучать, лотосам — гореть,
Иерусалим захвачен — вот такая фигня.
2000 год: религия или смерть.
Камикадзе, поцелуй меня.
Хорошая, блин, экзотическая страна,
сверхчувственный опыт — многообразие культовых лиц.
На речном вокзале меня поджидает она —
женщина декадентов и самоубийц.
Религия или смерть: мы с тобою могли
воскрешать предметы, которые Ты любил —
прилагаю список: джинсы не привезли,
и шары новогодние я разбил.

Мне снятся времена прошедшие:
Какой-то день, какой-то год.
Меня любили сумасшедшие
И больно целовали в рот.

Я был и плотью и видением,
Проходим, дождиком, трухой,
И громким увлекался пением,
Художественной чепухой.

В любви, в работе или в праздности,
Везде — и на краю земли,
Всегда большие неприятности
За мною почему-то шли:

Пускай мне не хватало мужества,
Товарища в моём пути —
Но время славы или ужаса
Останется в моей горсти.

РЕВОЛЮЦИЯ

Когда в магазинах раскупят чёрные колготки,
Когда губернатора положат в красный гроб...
Ничего нового... на жёлтой подводной лодке
Она приплывёт, красивая как Игги Поп.
Как в кино, в тёмной комнате вспыхнет спичка,
Как в коротком романе — железная дверь на замке.
А моя революция — белобрысая алкоголичка
С блестящей гранатой в татуированной руке.
В прозрачном кафе сексуальные танцуют пары,
Бешеные ананасы, рябчиков жрут,
На зелёных парашютах маленькие комиссары
Спускаются с неба и «Марсельезу» поют.

РОДИНА

И только возвращением не мучь...
Какой-то пасмурный невыразимый луч
воспоминания: двоящийся пустырь,
пятиэтажка, бабочка, снегирь.

Вот малолетка наполняет шприц
во мраке общежитий и больниц,
на лодочке катается дурак,
на маленькой Голгофе свищет рак.

Я жил в стране, которая была
прекрасней всех и потому светла
наполовину, вот такой расклад:
летит снегирь, а бабочки горят.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Взлетать с поверхности стола
золою или паутиной,
носить на шее клык тигриный
и продавать за рубль длинный
в универмаге зеркала,
когда поэзия была
ещё соплячкой и бродяжкой...
Какие странные тела
и мальчик над железной чашкой,
и ты выходишь на балкон,
клянёшься тьмою и могилой,
но я не птица, я — дракон
чешуйчатый и многокрылый.
Не паутиной, так золой,
монету, а не клык тигриный,

и продавать за доллар длинный
на рынке обруч ледяной.

МУЗА БЕССМЕРТИЯ

Отсвистело моё поколение,
Околела синица в горсти.
Я не верил в твоё появление
На моём безымянном пути.
Отстучали вагончики громко,
И приблизилась благодать,
А какие-то мальчики звонко
Продолжают поэмы читать.

Происходят события в отчизне,
Побеждает холодная ложь,
А ты меня обнимаешь при жизни,
И за влажную руку берешь,

Горячими руками.
Что я сделал? Душой не криви:
Неужели одними стихами
Я добился взаимной любви?

Неужели мне это не снится?
Крылья ангелов молодых,
Абсолютно спокойные лица
Гениальных клиентов твоих

И безумья сердитые маски,
Вдохновенные скрипки весной.
Узнаю по кровавой повязке
Гумилёва, любимого мной.

Я ушёл от позорного тленья
И оставил пожар позади.
Я не верил в твоё появенье
На моём безымянном пути.

Подборку составила Елена ЛАСТОВИНА

Елена ЛАСТОВИНА

ПРАВО НА КРАСИВУЮ ГИБЕЛЬ

В рассказе «Собиранье голосов», опубликованном в сборнике «Русская книга мертвых» только спустя 7 лет после смерти автора, Леонид Шевченко пишет: «Необходимо вовремя затормозить и погибнуть. Умереть настоящей неподдельной смертью — высокое искусство. Можно прожить тысячу лет оригиналом, маргиналом, наркоманом и проч., но в смерти оказаться обычным Петровым, который загнулся от какой-то расхожей дряни. Нет уж, мы оставляем за собой право на красивую гибель — детективная история, мистическое приключение, — и пусть никто не найдёт в нашем мгновенном уходе стилистической погрешности, дилетантской ошибки».

Сложно сказать, насколько красива была гибель тридцатилетнего Шевченко, а чем обусловлена — ещё сложнее: её неофициальные версии до сих пор множатся — одна страшнее другой (топор в качестве орудия убийства и передозировка наркотиков — свежие варианты); но тем самым его таинственный уход обставлен в любимом поэтом готическом стиле. Прошло 13 лет с той апрельской ночи, а обстоятельства преступления, как и сами преступники, по-прежнему неизвестны. Зато известно, что убеждения и журналистская деятельность Леонида вызывали вполне объяснимое негодование у определенного круга людей. Его бунтарское начало (Че Гевара как один из главных символов эпохи сыграл здесь свою роль) и манера держаться вкупе с редкостной

© Елена Ластовина, 2016

эрудицией не могли не раздражать окружающих, особенно коллег по литературному цеху.

Посещать литстудию при Союзе писателей, которой в то время руководил В.С. Макеев, Леонид начал, кстати, достаточно рано — лет в 14 (1986 год). На студии он знакомится с Алексеем Дьячковым, занявшимся впоследствии издательским делом и выпустившим в 2009 году «Русскую книгу мёртвых». Эту книгу отредактировал поэт Александр Леонтьев, также друживший с Шевченко уже в 90-х.

В 1989 году Леонид поступил на факультет филологии и журналистики Волгоградского государственного университета, а после окончания I курса ВолГУ отправил стихи на творческий конкурс в Литинститут. Узнал, что получил «5+», сразу же уехал сдавать вступительные экзамены и был зачислен без документов на I курс семинара поэзии Татьяны Бек, где встретил будущую супругу — поэтессу Елену Логвинову из Славянска. Учился вместе с драматургом Екатериной Садур; она сохранила подаренную ей поэму «Марина Мнишек», опубликованную в 2013 году журналом «Знамя», регулярно печатавшим тексты Шевченко — поэтические, прозаические, публицистические. Другая его сокурсница — Мария Степанова, известная ныне как поэт и редактор сайта «Colta.ru», состояла с ним в переписке и тоже 20 лет хранила у себя рукопись под названием «Новая коллекция. Книга классических стихотворений», не расшифрованную до сих пор.

Похожий по словам Логвиновой на молодого Бориса Гребенщикова, а по словам Татьяны Бек — на Пьеро и на Блока одновременно, Леонид совпадал с поэтом-символистом не столько по внешним данным, сколько по трагическому мироощущению. Оно было обусловлено существованием на сломе эпох, наблюдением за сменой

властей, за тем, как человек превращается в «огарок никому неизвестной свечи» (Шевченко, между прочим, жил в Волгограде на улице Огарёва). Распад СССР вынудил Логвинову в 1992 году вернуться на Украину. В итоге сначала она, а потом и Шевченко были отчислены. Последующие годы Шевченко постоянно перемещался между Волгоградом и Славянском, работая то дворником, то сторожем, то почтальоном.

В 1993 году у него выходит первая поэтическая книга «История болезни» совместно с А. Леонтьевым и Е. Логвиновой. Летом 1995 года в Славянске у Шевченко и Логвиновой родился сын Игнат. Но в июне 1997 года Леонид вернулся в Волгоград и устроился библиотекарем в отдел эстетического воспитания Волгоградской областной детской библиотеки, где проработал 3 года и вёл свою литературную студию. Тем же летом на телевидении, где работал друг Леонида А. Бергер, Шевченко познакомился с журналисткой Юлией Хайрутдиновой, ставшей его второй женой.

Летом 1999 года на волгоградском телевидении вышла передача о Шевченко, которую подготовила журналистка Татьяна Кузьмина. В том же году вышла антология поэзии «Строфы века», составленная Евгением Евтушенко, в которую включили стихи Леонида — единственного из волгоградских поэтов. А в 2000 году увидел свет первый и единственный номер литературного альманаха «Шар», составленный, отредактированный и изданный Шевченко.

2001 год был для Шевченко ознаменован двумя важными событиями — рождением сына Василия и выходом книги стихотворений «Рок». Осенью Леонид принимал участие в I Форуме молодых писателей России в подмосковных Липках. 24 апреля вместе с женой он ходил на концерт легенды русского рока Вячеслава Бутусова, после чего собирался написать о нём материал и утром отнести его

в редакцию газеты «Первое чтение», где тогда работал. Но утром его душа покинула наш мир...

Ещё работая в библиотеке, Шевченко для выступления перед школьниками написал маленький текст о своих культурных предпочтениях, который хочется привести здесь целиком в качестве заключительных слов об этом уникальном авторе:

«Любимая эпоха № 1: Средневековье; труверы и трубадуры — отсюда музыкальные пристрастия: композитор и поэт Вальтер дер Фогельвейде; кельтский фольклор, культовая католическая музыка.

Любимая эпоха № 2 («время цветов»): конец 60-х — начало 70-х (не СССР — больше Америка). Музыка, поэзия, литература: писатель Джек Керуак, Сэлинджер, Берроуз; поэт — Джим Моррисон (группа DOORS), Дженис Джоплин, Джимми Хендрикс. Любимое музыкальное направление — психоделия» (рок).

Вообще литературные пристрастия: В. Набоков (проза, стихи), Б. Поплавский (проза, особенно — стихи), Арсений Тарковский (стихи).

Что есть моя поэзия? Хождение по девяти кругам игрушечного Ада. Манипуляция райскими символами: небесный Иерусалим, Эльдорадо и проч.

Я сам выдумал Своё время: прошлое, настоящее и будущее — в нём и живу».



Зрители Четвёртых Литературных чтений «Они ушли. Они остались». Театральный особняк. 27.03.2016



Патрик Валох (Австрия) рассказывает о Викторе Барышникове (1991 — 2005) на Четвёртых Литературных чтениях «Они ушли. Они остались». Библиотека им. Лермонтова. 25.03.2016



Наталья Черных рассказывает о Викторе Иванове (1977 — 2015) на Четвёртых Литературных чтениях «Они ушли. Они остались». Библиотека им. Лермонтова. 25.03.2016

ГЛАВА III

ПОЭТЫ, УШЕДШИЕ ДО СОРОКА ЛЕТ

Лола ЗВОНАРЁВА

ПРЕНИЯ ЖИВОТА СО СМЕРТЬЮ

*Доклад, прочитанный
на Вторых Литературных чтениях
«Они ушли. Они остались» 15 ноября 2013 года
в салоне «Классики XXI века»*

*Смерть — безгранична. С этим примириться
Ещё черёд настанет...
Нина Гейде*

В книгу «Новые имена в поэзии» (М.: Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, 2011) вошли подборки 23 молодых поэтов, родившихся с 1973 по 1989 годы. Почти у каждого из них смерть — один из центральных образов, который нередко становится частью заголовка: «Как шагает музыка по трупам...» и «Тонет смерть в полусладком вине...» (Игорь Белов из Калининграда), «Ушла под утро тихо, в забытьи...» (Наталья Елизарова из Каширы), «Умирая тысячу и одну ночь» и «Видеть сны, не умирать...» (Владимир Зуев из Екатеринбурга), «Дымный отблеск ада, на местах...» (Евгений Коновалов из Ярославля), «Смерть-медсестра» (Борис Кутенков из Москвы), «Осенью мысли рождаются в смерти...» (Татьяна Перцева из Хельсинки), «Почему не умрём? Умрём» (Екатерина Соколова из Сыктывкара), «Наверное, Бог похож на умирающего человека» (Айгерим Тажи из Алматы). Вспоминаются стихи близких им по возрасту

© Лола Звонарёва, 2016

Нины Гейде из Копенгагена: *«Поединок с любовью, когда уже нету границ/ Между светом и тьмой, между счастьем и посвистом смерти...»* и Григория Аросева из Москвы, автора рассказа *«Смерть в Красноводске»*: *«На вокзал приду, сяду в электричку,/ она тонко свистнет и в смерть умчит».*

В сборнике стихов объёмом 220 страниц слово «смерть» упомянуто 33 раза, глагол «умирать» — 28 раз. Молодые поэты нередко говорят о смерти не впрямую — предлагая читателям различные иносказательные описания драматического ухода человека в мир иной. *«Души, шагнувшие в ночь/ С дьявольского моста»,* — пишет о самоубийцах, бросившихся с Карлового моста в Праге, Наталия Елизарова, *«На дне противотанковых траншей/ мне будет безразлична скорость пули,/ и бесконечность лжи, когда застыну,/ лапшу червей пуская из ушей»,* — это поэтический монолог немецкого солдата, погибшего во время Второй мировой, написанный Дмитрием Румянцевым из Омска. А вот как натуралистично изображает будущую смерть нерадивого отрока, читающего псалом, Дмитрий Смагин из Смоленска: *«Будет от страха остаток дней колотить:/ оборвётся сосуда сердешного нить —/ ангелы тело напрасно перетряхнут».*

Что это? Мода? Спекуляция на чувствах читателей? Думаю, нет. Скорее, речь идёт о трагедии поколения, о глобальном обесценивании человеческой жизни в России, о перенасыщенном неестественными смертями мире, в котором мы живём. Молодые поэты, как чуткие сейсмографы, улавливают опасность, о которой погружённый в бытовые заботы гражданин старается не думать.

Статистика сообщает шокирующие цифры: за последние пять лет (2007 — 2012) покончили с собой 14123 подростка, в 2008 году жертвами насилия стали 126 тысяч детей, погибли 1914 ребят, 12,5 тысяч детей находятся в розыске;

оказались в детских домах, приютах и интернатах 800 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из них, как правило, во взрослой жизни выживает только треть, остальные оказываются жертвами криминального мира и собственной наивности). В 2009 году в России покончили с собой 1379 юношей и 369 девушек в возрасте от 15 до 19 лет.

Молодые поэты призваны высказаться от имени поколения, которому пришлось жить в драматическое время, когда одна историческая формация рушилась и на её место приходила другая. Его можно сравнить только с историческим разломом 1917–1920-х годов, которое мудрая Зинаида Гиппиус назвала *«щелью времени»*, волнуясь, что в эту историческую щель провалится все её поколение. Не об этом ли небольшое стихотворение Владимира Зуева из Екатеринбурга: *«я знал его... и этого... и эту.../ а с этим мы дежурили по классу,/ смотрели с ним “Иглу”, смотрели “Ассу”.../ их нет, как нет... как не было, и нету.../ повесился... разбился на машине.../ поймала передоз... сгорел по пьяни.../ я вязну между ними в паутине...»*

В XX веке философы (Андре Бергсон, Мартин Хайдеггер, Жиль Делёз), рассуждая о жизни и смерти, отделяли интенсивное человеческое время от экстенсивного хронологического времени истории планеты и Вселенной. К примеру, 26 лет жизни Лермонтова и 37 Пушкина несоизмеримо богаче событиями, чем столетия мировой истории. Преодолеть забвение можно только путём творчества. И литературные чтения *«Они ушли. Они остались»*, посвящённые молодым поэтам, умершим молодыми в 90-е — 2000-е годы, уже два раза проходившие в московских библиотеках и музеях, — лишнее тому доказательство.

Рассуждая о смерти во 2 послании коринфянам, апостол Павел заметил: *«...кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке*

вечную славу...» (2-е Кор. 4:17). Над темой смерти начали всерьёз задумываться европейские гуманисты — Эразм Роттердамский в Германии, Целтис — в Польше, вслед за ними восточнославянские поэты — Симеон Полоцкий и Карион Истомирин.

Молодые восточнославянские поэты ещё в XVII веке интересовались европейскими трактатами, посвящёнными смерти. Студент богословского отделения Киево-Могилянской коллегии Викторин Евфанасий перевёл с английского на польский язык книгу Генри Монтегю, графа Манчестера «Размышления о смерти и бессмертии» (первое английское издание — 1631 г.). Необыкновенную популярность в Европе приобрела гравюра Дюрера «Рыцарь, Смерть и Дьявол».

Переведённый с немецкого памятник *«Прения Живота со Смертью»*, содержащий диалог между жизнью и смертью, был распространён на Руси в XVI–XVII веках: его влияние заметно в виршах уже упоминавшихся придворных поэтов-просветителей Симеона Полоцкого и Кариона Истомина.

Слова «живот» (в старинном значении этого слова) и «жизнь» издавна считались синонимами. В устойчивых выражениях «не щадить живота», «лишиться живота» подразумевалась именно жизнь: её не щадили, её лишались. «Живот» одновременно и имущество — в служилой среде ценность не меньшая, чем жизнь, но всё же временная, «бренная». Смерть не столько отрицание жизни-живота-жития, сколько частный, хотя и важный, итоговый и завершающий момент в той протяжённости, которую наши предки именовали словом «живот». Живот — это жизнь конечная, земная, горькая и суетная. Жизнь есть жизнь бесконечная, вечная, небесная и блаженная. Именно поэтому умерших называли «усопшими». «Вечный живот» — прихотливый оксюморон, если иметь в виду,

что не живот вечен, а жизнь. «Краткая жизнь» — тоже оксюморон, поскольку в христианском значении жизнь — вечная. Барочная метафорика XVII века допускала подобную игру словами. К характерным мотивам европейской поэзии барокко принадлежит тема конца света, непрочности, шаткости бытия, острое ощущение текучести времени, его неудержимого бега. Интересно, что в отечественной молодой поэзии рубежа веков также возникает мотив конца света: читаем в стихах Анастасии Журавлёвой: *«Может быть, конец — это пункт приёма/ Макулатуры и металлолома?! Стоишь, — в руках металлолом и макулатура,/ И приёмщица — сорокалетняя дура —/ Губы в помаде чёрного цвета,/ Читает буклет про конец света...»* Или в стихотворении Владимира Иванова «Про меня и про коня»: *«Иные подумали, что облака/ Похожи на лошадь и на седока,/ Другие решили, что это/ Конец начинается света».*

Пессимизм и рефлексия барокко были явлением новым, не свойственным ни Ренессансу, ни Средневековью. Не было уже возврата к гармонии «мира и человека», какой бы она ни была (античной, церковной или возрожденческой). Спор с привычными сегодня формулами ощутим и в современной молодой поэзии, вызывающе подчёркивающей парадоксальность и неоднозначность окружающего нас мира: *«А лукавое Слово на запах/ поспешает, на одурь и дым,/ ёжась в Божьих корежистых лапах,/ словно мрак — перед светом земным»* (Борис Кутенков).

Конфликты мира, пусть ещё абстрактные, проникли в душу, потрясли личность и даже стали осознаваться свойствами её природы. Размышления о смерти, по мнению отечественных поэтов как XVII века, так и современных, способны реально помочь нравственному самоусовершенствованию личности. Осознание неизбежности смерти закрепляет

в восприятии читателя понимание быстроты текущего времени и социально значимую мысль о его ценности. Не об этом ли печально-иронические стихи Бориса Кутенкова: «...Посудачат о частном горе,/ выпьют, чокнувшись и скорбя,/ за любовь, за “temento tori”.../ Он — не чокаясь, за себя./ И, не вспомнив о том, что было,/ разойдутся за просто так:/ кто — себе вырывать могилу,/ кто — на скрипке играть в кабак./ Человек — умирать в потёмках/ с ненадёжной ордой стихов,/ где пиджак, на локтях протёртый,/ как дамоклова вечность, нов;/ Где звучащая тишь повисла,/ где и сам превратишься в звук,/ что от века искомей смысла,/ описавшего полукруг».

Если в поэзии Золотого и Серебряного века смерть оставалась одной из главных тем (вспомним строки из популярных в конце XIX века стихов Зинаиды Гиппиус: «И, если смерть придёт, за ней послушно/ Пойду в её безгорестную тень: —/ Так осенью, светло и равнодушно,/ На бледном небе умирает день...» или: «Мне лилии о смерти говорят,/ О времени, когда меня не станет.../ И, ведаю: любовь, как смерть, сильна./ Люби меня, когда меня не станет...», «Любовь одна, как смерть одна...», «Любовью, смерти неподвластной,/ Люблю всегда, люблю навек.../ Искал победы не напрасно/ Над смертью смелый человек...», «Вы, сердца смертного создання,/ Сильнее своего творца...», «Концу всегда, как смерти, сердце радо...»), то из картины эмоциональной жизни советского общества, последовательно культивировавшего вызывающий оптимизм в официальной поэзии, смерть исчезает. Допускалось лишь героически погибнуть за идеалы революции или смертью храбрых на Великой Отечественной войне.

Смерть, ранее вездесущая и всем знакомая, стала постыдной и запретной. Делали вид, что её не существует. В основе этой тенденции лежало не столько стремление

пощадить чувства умирающего, сколько попытка общества избежать картины смерти, ибо считалось, что жизнь всегда счастлива и ничего не должно нарушать этой иллюзии: поэзия (вспомним «150 миллионов» Маяковского) славит человека массы, а масса — бессмертна. Смерть, сделавшись табу, с начала 30-х годов XX века заняла место рядом с сексом, табуированным в Средние века.

Характерно стихотворение Антона Черного из Вологды, направленное на развенчание дежурных оптимистических мифов о первом космонавте Юрии Гагарине (его жанр Максим Амелин определяет как «эффектную социальную страшилку не без захода в метафизику»): *«Стоит зелёное ведро./ В ведре лежит Гагарин:/ Орденосеи и герой,/ Простой советский парень./ Его Леонов опознал/ По родинке на шее./ А там, где самолёт упал,/ Воронка и траншея./ Лежит ребро, скула и бровь,/ Как жуткие детали./ Обугленная грязь и кровь/ Стекают по эмали./ Не верится, что это он./ Одной рукой несомый,/ В какой кошмар он погружён?/ В какую невесомость?/ Солдаты ищут дотемна/ Ошмётки и останки./ Горит звезда, горит луна,/ Как орденские планки./ Настала полночь на часах,/ И мрак слегка сгустился/ в огромных чёрных небесах,/ С которых он спустился».*

В Средневековье смерть рассматривалась как переход в новое качество существования, освобождение от власти «мира сего». Боялись смерти второй, раскрытой в Апокалипсисе, — уничтожения личности на Страшном суде. Отсюда деловое, жизненное отношение к смерти. Такая позиция средневекового христианства противоречила возрождённому в советское время языческому принципу «о мёртвых либо хорошо, либо ничего», идущему от дохристианской Греции (известен закон Солона, запрещавший хулить умерших).

Нередко стихи молодых поэтов — сродни балладам, в которых дается оценка той или иной человеческой судьбы на

фоне большого исторического времени: это тайные мечты и неумолимая реальность, показанные через восприятие невезучего физика Вани, пережившего смерть жены, или нищей торговки Зины из стихов Бориса Кутенкова. Сталкивая жизнь и смерть на бытовом и духовном пространстве, поэт подводит итог: *«Будто и нет расстоянья меж высью и пропастью,/ будто не шаг до гибели — шатки мосты.../ ...Пыльно, блаженно, миндально./ Всё — замысел, промысел,/ солнечный замысел ужаса, счастья, беды».*

...Итак, молодые поэты не просто рассуждают и пишут о смерти: они задумались о смысле бытия, о самых важных и трудных проблемах, которые еще Зинаида Гиппиус считала центральными задачами серьёзной поэзии, напряжённо размышляющей о смерти, о любви, о Боге. Молодые поэты хотят понять, осмыслить, зачем они живут на этой Земле.

Дмитрий БАННИКОВ
(1969 — 2003)

Родился и жил в Перми. Окончил Пермский государственный университет, по образованию юрист. Стихи публиковались в коллективном сборнике «Монарх. Семь самозванцев» (Пермь, 1999), в журналах «Уральская новь», «Арион», альманахах «Лабиринт», «Пермь Третья». Автор книг «Постоялец» (Пермь, 1996), «Пора инспектировать бездну» (Москва, 2004). Лауреат Илья-премии (посмертно). Погиб в автокатастрофе.



ШОССЕ ЯВЛЯЕТСЯ И СНИТСЯ...

* * *

Уронили на пол Бога —
Тихий стук, совсем не гром.
Он теперь взирает строго
На линолеумный ромб.
Опрокинутый у входа —
Как бы есть и как бы нет.
Безграничная свобода
Заполняет кабинет.
Изумленье. Ожиданье
Вспышки молнии. Испут.
Осторожность. Привыканье

© Наследники Дмитрия Банникова, 2016

К обстоятельству. И вдруг —
Значит, можно, можно, можно
Без причины, ни за что —
Скрасить ваксою сапожной
Однородность белых штор.
Значит, можно не терзаться,
Наплевать, послать, забыть,
Можно с нового абзаца
Выбрать новое: «не быть».
Значит, можно — за монету,
Значит, можно — на краю.
Мир стоит, а Бога нету,
Бог лежит, а я стою...
...Сметены в совочек, редки,
Острозубы и резки,
Бело-костной статуэткой
Красно-белые куски.
Невесома, в дуновеньи
Сквозняка, едва шурша,
Опускается под веник
Позабывтая душа...

* * *

Кружит, кружит лист осиновый
В октябре над дачным домом —
Самолётик апельсиновый
Над пустым аэродромом.
Бак сжигает керосиновый
Над садовничьим содомом.
Череп пугаловый дуется
На креста облезлых спицах.
Под кабиной чередуются

Грядка, лужа, черепица.
Он взмывает через улицу
Эмигрирующей птицей —
Опускаться нет желания
В огороде — грязном, зряшном.
Там, внизу, размежевание
Между завтрашним — вчерашним.
На земле — переживание,
Пережёвыванье каши.
По спиральной траектории
Он заходит на посадку
Под забытый ус виктории —
Взрос на ветке, канул в грядку.
Получается, История
Подчиняется Порядку.
Что же делается, Господи?
Перекрасить не пора ли —
Бриллиантовые россыпи,
Что сверкают на спирали?
Снова выдох — паром в воздухе,
Снова Осень на Урале.

* * *

Мы выйдем из зимы,
Как путники из чащи —
Остатком её тьмы,
Подавленно молчащим.

Мы встанем на шоссе
И взглянем ошалело:
Она колола всех
И нас не пожалела.

Из нас шарфы растут,
И шапки — волосами,
И ауры простуд
Под нашими носами.

Из серой Хохломы,
Голубоватой Гжели —
Мы вышли из зимы.
Мы в марте. Неужели?

Под солнечным рублём,
Бездонным и бездомным,
Стоим лимонным днём
И ничего не помним.

Так вот, пришел черёд
Все пуговицы сдвинуть,
Сочтя до четырёх,
Отрезать пуповину

И вытряхнуть на снег
Капустные листочки,
И поспешить к Весне
В последнем свитерочке,

В попутке задремать
На кресле, как в кровати.
...Водитель, словно мать,
Включит обогреватель...

* * *

Я эту трассу вдоль изъездил —
Мой путь женьшеневый.
Я еду ночью. Ждут известий,
Не спят две женщины.

Мне в пункте «А» пришлось прощаться,
Проя прощения,
А в «Б» меня, как домочадца,
Ждёт угощение.

Одна тарелки попросторней
Несёт для плова — две,
Другая, если по-простому,
Сидит на проводе.

Над лобовым, как дочку, лижет
Луну Медведица.
Одна твердит: «Езжай потише —
Там гололедица».

Взгляд встречных — выпученный, силой
Звезды стократнее.
Другая повторяет: «Милый,
Поаккуратнее».

Шоссе является и снится,
Зигзаги — парами.
Усталость виснет на ресницах,
Проблемы с фарами.

Куда я еду и откуда
По колее ночной?

Не расплатился бы за удаль,
«командировочный».

Избушка огоньком окрасит
Мои провинности,
Гуляет ветерок над трассой,
Свистит провинция.

Меняются район с районом,
А волость — с волостью.
Я еду — жизнью напоённым,
А проще — сволочью.

* * *

Внезапно ударило двадцать четыре.
Стал жалок обмякший вороний полёт.
Желая проверить изменчивость в мире,
Я вышел на лёд.
Тот берег. В ином измеренье — вчерашнем —
Он был недоступней далёких планет.
В сегодняшнем, скованном панцирем страшным,
Конечно же, нет.
Остатки упавшей метели. Дорога
В бурунах, зелёных проплешинах льда.
Все эти подробности — тоже от Бога?
Наверное, да.
От Бога, похоже, и то постоянство,
Что мы, поселясь на одном берегу,
Не чувствуем больше иного пространства.
Я так не могу.
Я долго смотрел на холодный и чёрный,
Налево от солнца, лелеющий мрак,

Тот берег — на вид неживой и никчёмный.
Но это не так.
На нём, на заснеженной пляжной брусчатке,
Безмолвие тихим дыханьем скребя,
Я встану и, словно с обзорной площадки,
Взгляну на себя,
На город, на стройки, на людные сценки,
На броунов мир, заведённый ключом.
Субъект, породив объективность оценки,
Уже ни при чём.
Ведь кто-то же есть за зеркальной границей,
За небом, за лесом, за реками, за...
И что-то находит он, если вглядится
В свои же глаза.
Пол-истины мысленной влив в полуересь,
Я двигался, кстати, по голому льду,
И рыбы, в подошвы с сомнением вперясь,
Вставали в бреду.
Лед выдержит — мы не у тёплых Японий.
Осталось немного — ещё поворот.
О, боже, я понял, я, кажется, понял:
Послушайте, вот...

Анна СИДЯКИНА

О АТОМЫ МОИ, НЕ РАССЫПАЙТЕСЬ!

Дима Банников был профессиональным юристом, успешным и уважаемым адвокатом. Зарабатывал весьма достойно: первая машина (гонорар за выигранное в суде дело) появилась, когда он ещё и водить не умел, потом началось строительство новой квартиры — спокойно, без напряжения. К работе, по словам его жены Наташи, Дима относился суперответственно: каждый вечер, вернувшись со службы, изучал судебную практику, прочитывал и запоминал многочисленные документы, поправки в кодексах и т. д. Иногда придумывал дочке Кате сочинения (задумается на пять минут, и — готовый текст, бери, записывай). А после всего этого он писал стихи.

«Первые серьёзные стихи начал писать в армии с 1988 года. Нашёл себя в поэзии, считаю, в 1991 году. В 1994-м издал первую книгу стихов “Постоялец”. Вторым раз опубликовался в сборнике поэтической группы “Монарх”, в которую вступил в 1998-м. В 1999 г. был принят в члены Союза российских писателей. Стихи пишу постоянно, но редко. Львиную часть времени “сведает” работа, сама по себе творческая, но в принципе мешающая выразить себя в чём-то ещё. Главным увлечением были и остались книги. Одни из любимых писателей — Цвейг и Набоков». Его жене запомнился потёртый томик Бродского. Наташа редко была с мужем на поэтических встречах, а для него это был выход к читателю, возможность публиковаться — ему хотелось литературного признания. Хотя и сознавался, что игры в

© Анна Сидякина, 2016

литератора — далеко не самое важное. *«На главные вопросы в жизни окончательного ответа сам себе я ещё не дал»...* Наташе запомнилось, как он писал стихи: ночами, зажав ручку в кулаке, с силой царапая ею по бумаге.

В начале января 2003 года на «Рождественском вечере с Ниной Горлановой» в Пушкинской библиотеке мы видели Диму Банникова в последний раз. Он появился в дверях, с улыбкой кивнул знакомым, постоял немного, послушал и ушёл. 15 января он погиб в автокатастрофе на трассе под Березниками, отправившись туда с коллегами в служебную командировку. За рулём был не он, другой человек не справился с управлением, и машина на скользкой дороге вылетела на встречку, — но что это меняет? *«Мы выйдем из зимы/ Как путники из чащи —/ Её остатком тьмы,/ Подавленно молчащим./ Мы встанем на шоссе/ И взглянем ошалело:/ Она колола всех/ И нас не пожалела./ Из нас шарфы растут,/ И шапки — волосами...»* Их и погибло четверо, в точности так, как написал об этом Дима. Через год Юрий Беликов составил и издал посмертную книгу Дмитрия Банникова «Пора инспектировать бездну», полную прекрасных, зрелых и пророческих стихов. Он прожил свои тридцать три года чисто и осмысленно, не растратив в бессилии ни жизни, ни таланта. И ушёл так же чисто, побеспокоившись заранее о тех, кто остался: не волнуйтесь, там весна. Что сверх этого можно сказать поэзией, и чему еще могут служить её пророчества?

Мы с Димой Банниковым были почти одногодки, но ни разу не поболтали просто так, по-дружески — всегда оставались на «вы». Хотя это как раз тот случай, когда отсутствие общения ничего не значит. Была взаимная самодостаточность: по крайней мере, я всегда чувствовала, что рядом, параллельно моей, движется его очень хорошая, правильная, благодарная жизнь. Незадолго до последней встречи Дима привез мне свои фото для публикации в

О, атомы мои, не рассыпайтесь!

каком-то екатеринбургском альманахе. С фотографиями всегда было трудно — Дима считал себя нефотогеничным. Но одну из них мы всё же выбрали. Жизнерадостный, летний, улыбающийся Дима стоит под дырявым зонтиком за прилавком с гроздьями спелыми фруктами — гроздья винограда, яблоки, апельсины. Круглые, тёплые и живые, как атомы, к которым обращена его «эпикурейская» молитва: «*О, атомы мои, прошу, не рассыпайтесь!*». Не рассыпались. Перекатились в слово «благодарность», но не рассыпались, нет.

В очерке использованы автобиографические заметки Дмитрия Банникова «О себе» (2001) из книги стихов «Пора инспектировать бездну».

Марина ГЕОРГАДЗЕ (1966 — 2006)

Родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Изучала грузинский язык, занималась переводами поэзии и прозы. По окончании института получила приглашение в Тбилисскую коллегию переводчиков при СП Грузии. В 1988–1991 жила в Тбилиси. Из-за войны была вынуждена покинуть Грузию и с 1992 года жила в Нью-Йорке. Занималась поэтическими переводами с грузинского (в частности, перевела на русский язык стихи Терентия Гранели). Переводила статьи с русского на английский для нью-йоркского журнала «Слово/Word», в последние годы жизни работала ответственным секретарём в нью-йоркском «Новом журнале». Умерла от меланомы в нью-йоркском хосписе. При жизни вышли книги стихов «Маршрут» (Нью-Йорк, 1998), «Чёрным по белому» (Москва, 2002), «Я взошла на горы Сан-Бруно...» (Нью-Йорк, 2007). Посмертно вышла книга стихов, рассказов, путевых заметок «Я жить вернусь...» (2010).



НЕТ ТЯЖЕСТЕЙ. ОДНА ДУША

К МАМИНОМУ ПОРТРЕТУ

Посмотреть — только кости да кожа,
да угрюмые кисти волос.
На тебя я тем больше похожа,
чем во мне больше струн порвалось.

© Наследники Марины Георгадзе, 2016

Чем темнее поля под глазами
— тем светлей этих глаз глубина.
Мама, как получается с нами,
что и жизнь лишь над смертью видна?

Ты хотела в лесах притаиться,
ты хотела пореже дышать
— но стволами не откупиться,
но не море стволами сдержать.

Ты могла быть всех женщин моложе,
всех мужчин ты могла быть смешней.
Но душа, словно кости под кожей,
проступала сильнее и сильнее.

Слишком сильные мы в этом мире.
Слишком нежные струны на нём.
Непохожими в мир приходили
— одинаковыми умрём.

1983

ПЕСНЯ ДЛЯ ИННЫ

Когда открыла окна в сад,
ты поняла: сейчас умрёшь.
Последним вздохом — аромат
всех сорванных цветов вдохнёшь.
Последним взглядом — с высоты
увидишь жизнь свою как шар.
А сборы в этот раз просты —
нет тяжестей. Одна душа.

— Прощайте, милые мои!
Я вижу вас, я вижу всех.
Все ваши ночи, ваши дни,
все ваши горести и смех.
Все луны, солнца и сердца
и волосы, что на ветру
вам захлестнули пол-лица,
с собою в душу заберу.

— Скажите детям: на вокзал
ушла, к зелёным поездам.
Простите, мне вас очень жаль.
Но я, как только буду там,
на землю посмотрю тотчас.
И в темноте держав земных
я так же буду видеть вас,
как звёзды в небесах ночных.

1987

РЫЖАЯ

Ушла, но не прошло и получаса
— пришла и села посреди двора,
хвостом укутав лапы. Вместо глаза
— сочащаяся красная дыра.

Светило солнце и жужжала муха.
Все замерли — цыплята, люди, кот
— и отступили. Посредине круга
она сидела, чуть качаясь взад-вперёд.

Шептали люди: «Господи! как можно
так много потерять за полчаса!»

— и осторожно, очень осторожно
руками трогали свои глаза.

Еще вчера они тебя манили
и гладили, и говорили: «Кис!
Ах, если б мы кого-нибудь любили
Так беззаветно, как ты душишь крыс!
— Мы жизни бы своей не пожалели!
Дай только крысу, чтобы полюбить!»

Теперь молчат. Твой мертвый глаз алеет.
Другой — презренье не даёт открыть.

Н. Афон, сентябрь 1992

* * *

Я пришла в сумасшедший дом,
чтобы было с кем говорить.
Мне сказали: смотри на огонь,
он поможет тебе ожить.
Он поднимет твои волоса,
он разбудит память и страсть.
А как научишься воскресать
— ты должна на море попасть

— где остался от всех речей,
диалектов, судеб, племён
только профиль волны ничей,
только гладкий песчаный склон.
Где так просто оставить след
и так просто его стереть.

— Ты должна на море смотреть
— оно поможет тебе умереть.

1994

* * *

— *Что вы будете делать после смерти? —*
спросили Черчилля.
— *Первую тысячу лет я буду рисовать.*

Первую тыщу лет ты будешь солить и перчить,
а я буду в мебель кидать свой черный металлический
ножик.

А за окном на заборах пузатый Черчилль
будет красным мелком рисовать прохожих.

Господи! — отпусти, дай нам делать лажу,
на голове стоять, продавать зубную
пасту; это в жизни надо быть важным
— рисовать, летать и писать стихи врасписную,

а после смерти всё хорошо, красиво.
В белых рубашках чистые дети рая.
Можно лежать на пляже и быть счастливым,
раз в тыщу лет занятье свое меняя.

Не надоест, не станет тошно и скучно,
и на душе — не мрачно, как в чашке с чёрным
кофе, и не удастся себя замучить
ради того, чтоб поэтом быть и актёром.

...первую тыщу лет
Эйнштейн будет держать аптеку
Рабиновича,
продавая в ней панацею.

Я иногда поднимаю голову кверху,
чтоб посмотреть, как проходят, тихо белея,
по небу наши жизни, как лев и лодка.
Вон они мы — это ли не утешенье?

Кто там внизу ищет себе решётку
и надрывно летает по дням рожденья?

Февраль 1995

БЕЙТ — ХА — КВАРОТ¹

Над могилой не виснет листва, и надгробье моё —
без портрета.

Ни ограды вокруг — никакого подобия дома.
Чтобы прямо и быстро взлетела душа, как ракета.
Чтоб, взлетая, она не запуталась в чём-то знакомом.

Чтоб она по дороге не сделалась птицей на ветке
или рыбой в ручье, не смешалась бы с дымом сигары.
Чтоб она не помчалась к заветной любовной отметке,
как собака несётся к столбу своего писсуара.

Чтоб она на себя не взяла никакую личину.
Чтоб не знала она ничего, кроме грома и свода.
Чтоб, взлетая, забыла, кем — женщиной или
мужчиной
ковыляла она по путям, спотыкаясь о годы.

Потому что мы были угрюмые косные люди.
Мы отдали земному и божью и царскую долю.

¹ Еврейское кладбище (*иврит*).

Кто умел полюбить — тот умеет забыть.

Мы — забудем.

Мы слушались Бога, как Он повелел — и довольно.

Пусть душа начинает опять как когда-то — в пустыне.

Пусть не будет за яркой чертой ни войны, ни охоты.

Только жёлтые камни ко мне приносите отныне.

Только круглые жёлтые камни — отточье свободы.

Февраль 1995

* * *

Благо-получье с-состояньем

— мне это никогда не снится.

Я и простому выживанию

не понимаю научиться.

Пытаюсь завязать ботинки,

на право-лево рассчитаться

— но все блестящие картинки

поверх насущного ложатся,

рябят, дрожат, переливаясь,

все путают и преломляют.

И вот — я в стену лбом втыкаюсь,

рот открываю мимо чая.

Так в воду брошенной монетке

на дне фонтана, ручейка

— ей не мечтать о прочной сетке,

оббивке мягкой кошелька.

Зато! — зато не будет счёта.
В свинью не бросят, на съеденье
не отдадут. Одна забота:
блести улыбкой идиота,
лежи залогом возвращенья.

* * *

Сколько надо сглотать просвир,
износить железных сапог,
чтоб попасть на счастливый пир,
где бы мёд, наконец, потёк.
И в счастливом конце-венце
возлежать за столом во дворце.
Но, когда я мёд пригублю,
вспомню, что его не люблю.

Вслед за этим вспомню ещё:
как деревья стоят на снегу.
И ещё, и ещё, и ещё...
Этот мёд я пить не могу.

А когда пойдёт разговор —
беден мой словарный запас.
На ночном ветру до сих пор
я кричала клочками фраз —
остальное сносило вбок,
возвращая искры в лицо.

— А пойду-ка я на крыльцо,
зашивать железный сапог.

1983

СТРЕЛА

Стихов я не писала никаких.
Стихами этими другое что-то было.
Зверьки какие-то... Случайные перила, —
И я хваталась, падая, за них.
Но это было прежде, а сейчас
Растянут лук со страшной, страшной силой,
И для стрелы, что силы набралась,
И жизнь, и смерть, и стих невыносимы,
И каждый миг, как век, неумогу,
И жизнь со смертью, расступаясь в стороны,
Ушли с пути стрелы — и пустоту
Поставили звенящим коридором.

Все отойдите! Мамочка, прости,
Что твой же лук ещё сильнее согну я,
И до твоих до тридцати пяти
Уже древком в мишени задрожу я.

1986

Павел БАСИНСКИЙ

ПРОСТО ЖИТЬ

Полугрузинка, полурусская (по матери — Георгадзе, по отцу — Косорукова), она родилась в Москве в 1966 году, а умерла в Нью-Йорке в 2006. Ей только-только исполнилось 40 лет.

Выпускница Литинститута (поэтический семинар Евгения Винокурова), она уехала из России совсем молодой, жила в Тбилиси, переводила грузинских поэтов. Когда в Грузии начались беспорядки и жить там стало не только опасно, но и попросту неприятно, отправилась в Нью-Йорк, где тоже переводила и, кажется, вовсе не стихи. Жила по принципу *«птицы небесные не сеют и не жнут»*, питалась, по-моему, только кофе и сигаретами «Мальборо», что, скорее всего, и стало причиной её преждевременной смерти.

Я встречался с Мариной в Тбилиси и в Нью-Йорке и ни одного раза в Москве, что — тоже показательно. Она была ослепительно красива!словно сошедшая с холста. И при этом — до такой степени наивна и беспомощна в бытовом и просто в жизненном отношении, что у меня это вызывало даже злость. *«Что ты тут делаешь?»* — спрашивал я её в Нью-Йорке, где они со своей подружкой-эмигранткой Лялей приютили меня. — *Кому ты тут нужна?»* *«Просто живу, — беспечно отвечала она. — Жить можно только в Тбилиси или в Нью-Йорке». «А зачем?» «Просто жить». «В Москве — нет?»* Поморщилась.

Впрочем, я был с ней почти согласен. На дворе стояли 90-е годы. В столице как грибы росли «комки»

(коммерческие киоски). Вчерашние врачи, учителя, инженеры превращались в «челноков», то есть, попросту говоря, спекулянтов. Писатели торговали своими книгами в подземных переходах, чтобы купить себе что-нибудь поесть. Если это называется НЭПом — я больше не хочу НЭПа.

Поэт имеет право жить как он хочет. Если не мешает жить другим. Это аксиома. Поэты часто умирают рано — это печальная правда. От поэтов нельзя требовать, чтобы они приносили обществу пользу. Это задача и долг других людей, которые, наверно, в сто раз лучше поэтов, но не умеют писать стихи.

Если мы полистаем мартиролог больших русских поэтов, то увидим, что многие из них умирали, погибали, не дожив сорокалетия, а то и тридцатилетия: Пушкин, Лермонтов, Веневитинов, Надсон, Гумилёв, Есенин, Маяковский, Павел Васильев... Александр Блок перешагнул сорокалетний рубеж и умер, как бы спохватившись. Жизнь Мандельштама после сорока — это непрерывная череда мучений. То же и Цветаева. На Ахматову на склоне лет смотрели как на чудо, как на посланца неведомой цивилизации, как на исключение из правила: вот, не должно быть, а почему-то есть.

Ранние смерти поэтов — как гибель ласточек. Некоторые из них прилетают слишком рано после зимы и замерзают. Их жалко, но они должны прилетать, потому что иначе нельзя определить температурный рубеж, после которого прилетать можно. Так, наверно, происходит и с осенним отлётом: кто-то не должен успеть улететь, а иначе — как определить «последний срок»?

В Тбилиси она курила на улицах, в кофейнях, где угодно. В одиночку купалась в каком-то парке. Не знаю, как сейчас, но тогда в Тбилиси делать это было категорически нельзя — молодой женщине нельзя. Кавказ всё-таки. Она плевала

на табу. Порой, может быть, в силу своей внешности, казалась даже какой-то заносчивой и высокомерной. Но часто, слишком часто проскальзывали в ней девчоночьи жесты, интонации. Московская девчонка, без руля без ветрил, помешанная на поэзии. И ещё — на Грузии, которая, как я понял, представлялась ей в советское время как бы культурной альтернативой «совковой» России. Здесь — Тициан Табидзе, культ Пастернака, там — цензура и засилье поэтов-«деревенщиков». Я думаю, что и Нью-Йорк представлялся Марине альтернативой России, из которой она уехала в начале 90-х, России «дикой», «варварской». Американский культ денег и потребления её ведь не касался, я же сказал: жила как птица небесная. Да и Нью-Йорк, Манхэттен — не Америка, там есть всё что душе угодно, кроме Америки, настоящей Америки.

По этой Америке мы промчались на машине Ляли до Ниагарского водопада. Поездка была сумасшедшей, нужно было обернуться в два дня, чтобы мне успеть на обратный самолет. Сначала я беспокоился. Марина сказала, улыбаясь своей чудесной улыбкой: «Не бойся! Если ты опоздаешь, тебя посадят на другой самолёт. Кому ты здесь нужен?» Ночевали в каком-то мотеле, втроём на широченной кровати, пили виски и дешёвое местное вино. Купались в ледяном Онтарио. Никогда в жизни я больше не чувствовал себя до такой степени свободным. Просто жить... Тогда я понял Марину.

И всё-таки в её внешности, при всей её живости, всегда было что-то сонное. Она как будто всегда немножко засыпала, всегда казалась как бы... невыспавшейся. Кофе они с Лялей пили, по-моему, литрами, останавливаясь где только можно было его купить, брали огромными бумажными стаканами, крепчайший.

В Грузии она была грузинкой и, если бы не вечная сигарета в руке, она сливалась бы с Тбилиси в одно целое.

Павел Басинский

В Америке она была американкой или, по крайней мере, жительницей Нью-Йорка — точно. Я не видел её в Москве, но в Москве, я уверен, она была вполне органичной москвичкой.

Где же она всё-таки прожила жизнь?!

Похоронена Марина в Москве. Дома?

А жить, Марина, непросто, непросто!

Константэн ГРИГОРЬЕВ
(1968 — 2008)

Родился в Омске. Окончил кораблестроительное ТУ № 14 в Ленинграде. Играл в местном ВИА Михаила Борзыкина (группа «Телевизор»). Поступил в Литературный институт им. А. М. Горького на семинар поэзии Евгения Долматовского. В этот период познакомился с Вадимом Степанцовым, Андреем Добрыниным, Виктором Пеленягрэ, Александром Бардодымом. 22 декабря 1988 года был подписан «Манифест куртуазного маньеризма»,



что ознаменовало собой создание Ордена куртуазных маньеристов. Работал продавцом, грузчиком, журналистом, рецензентом, редактором. С Вадимом Степанцовым основал группу «Бахыт-Компот». Стихи публиковались в сборниках Ордена. Вместе с другими участниками Ордена сыграл в художественно-документальном фильме «За брызгами алмазных струй». Скончался в 2008 в Москве от сердечного приступа, по дороге на работу в день 20-летия Ордена Куртуазных Маньеристов. Юбилейный концерт превратился в концерт его памяти. В 2009 вышла книга стихов «Одна из жизней» (изд. «Водолей») и двухтомник мемуаров (изд. «Телер»). В 2010 вышла книга стихов «Курзал» (изд. «Время»). В Казахстане вышли книги «Предчувствие», «За газетной строкой», и «Жизнь после жизни» (доступны в Интернете для бесплатного чтения и скачивания на сайте «Книги авторов Прибалхашья»). В Балхаше ежегодно 22 декабря проводятся вечера памяти Григорьева.

БОГОМОЛ В ХРУСТАЛЕ

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Весь город опушил сегодня снег,
В снежки играют люди, всюду — сказка.
Лишь дворники вздыхают: «Нам — фиаско,
Берём лопаты, нынче не до нег...»

Живущий по режиму человек,
Я рано встал, мне снилась чья-то ласка.
Теперь пишу сонет — нужна развязка.
Листаю я стихи своих коллег.

Работаю. Вдруг сердце вострепнулось,
Души моей предчувствие коснулось.
Я этот тайный знак постичь стремлюсь.
Есть сила в интуиции поэта.

Но что это, душа моя, что это?
Ах, неужели вскоре я влюблюсь?

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

«Остановись, мгновенье!» — много раз
Я мог сказать, ведь жизнь порой прекрасна,
И счастлив я был часто, это ясно,
И приходил от этого в экстаз.

Но я же договор не заключал
Ни с кем, чтоб говорить слова такие.
В стихи всё выливается смешные,
Иронию всегда я выбирал.

И уж конечно, жду от жизни я
Счастливейших, прекраснейших мгновений,
Вот и сейчас прекрасен день весенний,
Я тих, спокоен. Счастлив я, друзья!

Сижу я на балконе и курю.
И, брэнность этой жизни понимая,
Опять себе, как мантру, повторяю —
Я весел, жив, здоров — и я творю.

ИРОНИЯ

С надеждой, с верою неистовою
Быть околдованным опять
То Тютчева я перелистываю,
То Бунина. И что сказать?
Нет, классиков я не освистываю,
Но так уже нельзя писать.

Мы люди часто выступающие, —
Я говорю про ОКМ, —
Аншлаги всюду собирающие
Легко и просто, без проблем,
Мы мастера, отлично знающие,
Что людям интересно всем.

Народ желает иронического
И остренького. Ну, он прав.
Довольно было элегического
Изображения дубрав
И воспевания лирического
Луны, цветов и всяких трав.

Да, хлёсткие и ослепительные,
Смешные мы стихи творим,
На темы самые волнительные
Со зрителями говорим,
Аплодисменты оглушительные
Звучат в ответ на наш экстрим.

А есть поэты обозлившиеся,
У них улыбка не в чести,
Творят, с тоскою породнившиеся...
Нет, с ними нам не по пути.
Без чувства юмора родившиеся
Где смогут радость обрести?

Мы — рать, по-своему воинственная,
Смех помогал нам сотни раз,
Любуйся нами, о, Единственная,
Богиня, важная сейчас,
Богиня светлая, таинственная
Ирония — царица масс.

Вновь классиков я перелистываю,
Вновь начинаю понимать —
Русь куртуазно-маньеристовою
Сама всегда хотела стать!
Чтоб с жаждой юмора неистовою
Всё хохотать и хохотать!
И сумму баксово-рубlistовую
Пиитам юморным давать.

БОГОМОЛ

Прозрачный богомол в саду осеннем грезит.
Сбылись мои мечты — я вами обладал.
И вот мы пьём вино... Куда оно в вас лезет?
Я сам бы так не смог — бокал, ещё бокал!

Да, я теперь любим, и вы мне говорите,
Как я похорошел. А я ошеломлён:
Вы курите к тому ж? О, сколь ещё открытий
Готовите вы мне, прелестная Мадлон?

Два месяца назад вы скромницею были...
Куда там до вина и лунного огня!
И в толк я не возьму, ужели близость в силе
В вас монстра разбудить и погубить меня?

О, как унять ваш пыл? Но что ж, я мудр и молод;
Я вышел на балкон и тихо с ветки снял
Охотника на птиц — большого богомола,
И опустил его в хрустальный ваш бокал.

Вы замолчали, вы растерянно смотрели,
Как шевелится он. И вдруг вы, как дитя,
Заплакали... Мадлон! Ну что вы, в самом деле?
Ведь я же пошутил... ведь это я шутя!

Прижались вы ко мне, я целовал вам руки,
И нежно утешал, и думал: вуаля...
И чувствовал глаза, исполненные муки —
То богомол на нас глядел из хрустала.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Вот опять в никуда указал
Безнадежной влюблённости вектор,
А когда-то я девушку знал
Со значком «Молодой архитектор».

Длинноногую фею любви
Я увидел, гуляя в Кусково,
И в глазах прочитал: «Позови».
И позвал в ресторан «Три подковы».

Улыбнулась она: «Погоди.
Не нужны мне твои рестораны.
Если нравлюсь тебе, приходи
Завтра в церковь зачатия Анны».

От названия бросило в дрожь.
Почему, догадаться несложно.
И она рассмеялась: «Придёшь?».
Я в ответ прошептал: «Если можно...»

Белый камень на солнце сиял,
Дуры-бабочки всюду порхали.
Я едва за тобой поспевал —
Мы всю церковь не раз обежали.

Ты меня измотала вконец,
В бок меня постоянно толкая:
«Посмотри, какой фриз-бегунец!
Луковичная главка какая!».

А когда мы присели в тени,
Я решил говорить напрямую.

Снял очки и сказал: «Извини,
Но сейчас я тебя поцелую».

И увидел я сон наяву:
Волосами ты только трягнула,
И легла, усмехаясь, в траву,
И футболку лениво стянула...

Все в душе первернулось моей!
Я увидел упругие груди,
И кузнечики русских полей
Застонали, запели о чуде!

Сколько лет с того лета прошло...
Где сейчас ты? услышь мои зовы!
Почему я уверен светло,
Что мы встретимся, встретимся снова?

Не забуду я нашей любви —
Как в траве ты кричала, нагая...
Луковичные главки твои
Снятся мне до сих пор, дорогая!

Юный жар первобытных сердец
Вновь нас кинет в объятия друг друга,
Чтоб ты вспомнила бабочек луга,
Золотую траву полукругом
И могучий мой фриз-бегунец!

УПЫРЯЧЕЕ ТИВИ

Упыри и упырицы завладеют миром вскоре,
Вмиг изменится, конечно, внешний облик городов.
Впрочем, их названья тоже — замелькают в разговоре
Нью-Вампирск и Лос-Могилос плюс Великий Упырёв.

Вы себе представьте только вечно тёмные квартиры,
Улицу Загробной Жизни и гигантский Дракулград.
Вот восходят на трибуну президент и мэр — вампиры,
Вот по Площади по Красной упырей идёт парад.

Вся летучими мышами переполнена столица.
А над нею чёрный купол — он от солнца защитит.
Вот Госдума. Депутатов сытые повсюду лица.
Вот Лубянка. В кабинете Дракулы портрет висит.

Вот завод по производству крайне вкусной кровакоки.
Капсул противочесночных сам в аптеке набери.
Заколоченные церкви. Битвы кланов, ссоры, склоки.
Вот студенточка-вамписка. Вот шахтёры-упыри.

Попивая кровакоку из пластмассовых бутылок,
Дружно смотрит население упырячее ТиВи.
Вызывает очень много понимающих ухмылок
Знаменитое ток-шоу «Что вкусней всего в крови».

Сериал «Большая жажда» вампирейтинг возглавляет,
Сериал «16 кланов» тоже очень ничего.
Если кто из кровососов мрачных песен возжелает,
Шоу «Фабрика вампиров» удовлетворит его.

Нынче песня популярна под названием «Кусака».
Под неё танцует в клубах очень лихо молодёжь.

Два бойз-бэнда популярны: «Ад» и «Порожденье мрака».
У последних есть хитяра «Больше кровушки даёшь!»

Задолбала всех певица Алла — Алла Упырёва
Задушевною балладой «Нету в зеркале меня».
Как ни включишь телевизор — этот хит услышишь снова,
Надоедливой певицей недовольна вампирня.

Есть канал «Домашний Тёмный» и канал есть «Вамп-Культура»,
Много кабельных каналов. Например, «Лечу на крик».
Есть программа для вампирок «Идеальная фигура».
Стоматологи в рекламе хвалят пасту «Белый клык».

Юмористы еженощно веселят страну. Их шутки
О пробирках и прокладках предсказуемы весьма.
Да и рожи юмористов как-то запредельно жутки —
Вельзевул Загробнов, скажем, страшен, словно Жизнь сама.

Журналист Семён Клыковер тиснул злобную статейку
Про уродство телезрелищ в дайджесте «Кровавый Путь».
Высмеял он Упырёву Аллу и её семейку,
Все статью читали жадно, крови позабыв хлебнуть.

Был скандал невероятный. Кланов призатихли войны.
Упыри кричали: «Точно! Телемафию дави!
Дайте больше нам каналов! Мы ведь этого достойны.
Улучшать, бесспорно, надо Упырячее ТиВи».

А Клыковера Семёна за статьи, что гневно-гнойны,
Президент немедля вызвал в Красный Дом на визави.
И сказал: «Министром будешь. Формулы твои убойны.
Орден получи за смелость. В Красном Доме поживи.
Ежели проблемы будут, что особо геморройны,
Прилечу летучей мышью сразу — только позови».

Облачён в простой пуловер,
Был смущён Семён Клыковер.

Пауза.

А ведь думал: «Всё, гейм овер»
Час назад Семён Клыковер.

СТАНСЫ

Вряд ли что-то изменится в мире
После смерти мгновенной моей,
И опять в тихоструйном эфире
Для влюблённых споёт соловей.

И опять будут люди смеяться,
Волноваться, буянить, грустить,
И опять будут смерти бояться,
И для счастья детишек растить.

И опять кто-то водки напьётся,
Кто-то стансы опять сочинит...
Мир таков — и таким остаётся,
Но реальность творит и казнит.

Неизбежны законы природы.
Все живое однажды умрёт.
В бездну царства летят и народы —
Бездна новую жизнь создаёт.

Ежечасно на нашей планете
Люди гибнут, от старости мрут,
Им на смену рождаются дети,
Подрастают и песни поют.

Мир таков, такова эта данность.
Люди память о мертвых хранят.
Мыслеформы моей многогранность
Миллионы понять захотят.

Я не зря жил на свете, похоже,
Ведь, читая и слыша меня,
Миллионы почувствуют то же,
Что когда-то почувствовал я.

Вряд ли что-то изменится в мире
После смерти моей, но, живой,
Здесь останусь я в телеэфире,
В книгах, в дисках, в Сети мировой.

Андрей ДОБРЫНИН

УРОКИ КОНСТАНТИНА ГРИГОРЬЕВА

Константин Григорьев — одновременно и мой друг, и большой поэт. Помянуть его мне, в противность традиции, захотелось в тот же день июля, в который мы с ним в 2006-м году договорились отдохнуть на море. Константин был отъявленным домоседом, и убедить его в необходимости отдыха и перемены обстановки стоило немалых трудов. Однако он всё же соглашается, мы прибываем на море, и что же я вижу? Лютая жара, от которой темнеет в глазах, в поселке — множество приезжих, так что мы еле нашли комнату, на пляже — теснота, в магазине — длиннейшие очереди, круглые сутки — музыка, вопли, собачий лай... С датой приезда я сильно ошибся и в страхе ожидал, когда же мой спутник выскажет мне претензии. Однако Константин не проявлял ни малейшего недовольства — наоборот, по всем признакам он был совершенно счастлив. С его лица не сходила улыбка, он не расставался с блокнотом и с приобретённым недавно мобильным телефоном: в блокнот он почти непрерывно записывал новые стихи, а с помощью мобильного телефона запечатлевал на память разные поразившие его детали южной природы и южного образа жизни.

Тут надо вспомнить, что родился Константин в Омске, вырос в Казахстане, в городе Балхаш, а с 1988 года почти безвыездно жил в Москве. Поэтому на юге его поражало буквально всё: при прохождении через посёлок приходилось поминутно останавливаться, чтобы он заснял то забавного

© Андрей Добрынин, 2016

белого котёнка, то замершего на ветке жука-богомолы, то цветы, то местного пьяницу Вована, который вечно чему-то ухмылялся, то южные фрукты — ведь Константин никогда раньше не видел, как растут инжир или персики... Вечером он просматривал снимки и заливался блаженным смехом, ибо увиденное и запечатлённое было для него не просто занятно — нет, оно было мило и дорого его сердцу. Иными словами, он не просто наблюдал — он любовался. Его восхищало купание в море, ужины в шашлычной и непревзойдённый мастер стряпни — армянин Володя, девушки — порой очень скромной наружности, восхищало то, как легко на море пишутся стихи, горы, леса, животные и растения... Вот вам первый урок Константина Григорьева: мир прекрасен, забавен, интересен, и надо всей жизнью подготовить себя к тому, чтобы видеть в мире прекрасное, забавное и интересное.

Как же выработывал в себе Константин это умение видеть? Проще всего было бы сказать, что он с этим умением родился, тем более что, дав такой ответ, я не погрешу против истины. С другой стороны, с теми или иными талантами рождаются многие, однако подавляющее большинство талантов гибнет в пучине житейской суеты, даже если их бывшие носители живут и с виду процветают. А поэту Григорьеву житейская рутина была откровенно враждебна — видимо, дьявол, отец суеты, чувствовал его потаённую святость и оттого особенно на него злобился. Григорьев оставался беден всю жизнь — порой почти голодал, порой получал невысокую зарплату, половину из которой приходилось отдавать за съёмное жильё. К тому же на руках у него была неизлечимо больная жена. Конечно, его выручали знаменитые поэзоконцерты Ордена куртуазных маньеристов, на которых он блистал: помимо стихов поражал публику необыкновенными нарядами, музицировал, пел песни собственного сочинения, устраивал презентации

придуманных им же бредовых поп— и рок-групп — одни названия чего стоят: «Идолы молодёжи», «Андрюша Сироткин и его пацаны», «Изблёванные Люцифером»...

Постороннему зрителю и в голову не приходило, что всегда весёлый постановщик карнавала бедствует. Впрочем, по некоторым признакам догадаться об этом было несложно, — другое дело, что не хватало желания догадываться. У нас ведь принято помогать, во-первых, в расчёте на отдачу, то есть, по сути, не помогать, а инвестировать, а поэт Григорьев представлял собой слишком сложное явление, чтобы его можно было «раскрутить» в СМИ, превратив тем самым в предмет коммерции. Телесной красотой рыжий толстяк Григорьев, похожий на античного фавна, тоже не отличался, а значит, отпадал и этот распространённый мотив для спонсирования. Таким образом, житейские обстоятельства вовсе не благоприятствовали умению Григорьева любовно вглядываться в окружающее. Силы ему приходилось искать в самом себе, и, как оказалось, этому мягкому, даже робкому с виду человеку мужества было не занимать. То есть родиться талантливым — это хорошо, но к таланту непременно должно прилагаться и мужество. В этом — второй урок Константина Григорьева.

О спонтанном, необработанном вдохновении холодно заметил один известный поэт: *«Вдохновение — мать всех нелепых стихов...»* Григорьев работал постоянно, сочиняя стихи, песни, прозу, много читая, отсюда и его домоседство, и замкнутость, создававшая впечатление человека себе на уме, хотя как раз расчётливость Григорьеву была, к сожалению, совершенно не присуща. Наоборот, увлёкшись, он нередко отказывался от выгодных мероприятий, а также часто работал, что называется, «за спасибо». Поэт Григорьев работал с утра и до вечера, и из подражателя обэриутов (точнее — Введенского) вырос в одного из

мэтров куртуазного маньеризма, а затем уверенно перерос узкие рамки этого движения. Оттого и показалась такой нестерпимо обидной его внезапная смерть в 2008-м году. И всё же он успел в полной мере познать высшую радость земной жизни — радость творческого труда, а значит, прожил не один земной век, а несколько. Трудясь, урвать у судьбы больше, чем она желает нам дать — таков третий урок Константина Григорьева.

Тот, кто читал стихи Григорьева, наверняка заметил странное явление: чтение это лёгкое, иногда — забавное, чаще — уморительно смешное. Но при всем том вдруг замечаешь, что в стихах Григорьева есть и второй слой, глубина — но не зловещая, а полная добра. При этом автор не занимается психоанализом, не пытается блеснуть философией, — нет, глубина создаётся тем явственным личностным началом, которым проникнуто всё написанное Григорьевым. Он вроде бы не занимался духовными практиками, однако мужество и трудолюбие наделили его тем, чего порой тщетно добиваются адепты различных богоискательских сект: постоянно светлым расположением духа, благожелательностью к ближним и ко всему существу, умением быть благодарным всему мирозданию. В этом четвёртый великий урок Константина Григорьева.

Статья опубликована на официальном сайте поэта Андрея Добрынина <http://andrey-dobrynin.ru/> (печатается в сокращении).

Манук ЖАЖОЯН
(1963 — 1997)

Родился в городе Лениканан (ныне Гюмри) Армянской ССР. Учился в Ростовском университете, окончил отделение художественного перевода Литературного института им. Горького (1990). Преподавал в школе, в Христианском гуманитарном лицее. С 1992 года жил во Франции, был литературным обозревателем газеты «Русская мысль». Автор книг стихов: «Селект» (Париж: Industria, 1997). Печатал стихи в журналах «Новая Юность» (№ 17, 1996), «Стетоскоп» (№ 17, 1997). Сотрудничал как критик и эссеист с еженедельником «Русская мысль». Посмертно издана книга «Случай Орфея. Стихи, эссе, рецензии, дневники» (СПб, изд. журнала «Звезда», 2000). Автор многочисленных критических и публицистических статей, эссе, переводов из армянской поэзии. Был сбит машиной в Петербурге, куда вынужден был выехать для продления французской визы.



С ИМЕНЕМ КОЛКИМ РОССИЯ

ЯЗЫК

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть...

О. Мандельштам

Вначале труднейшие звуки
Даются легко, но затем

© Наследники Манука Жажояна, 2016

Твои опускаются руки,
И ты остаешься ни с чем.

Уходишь с пустыми руками,
Набивши немотою рот.
Постылая музыка камня
Фальшивые ноты берет.

Пустяк. Ведь не всяким же словом,
Их уст исходящим, я жив,
Но хлебом единым и новым
Вином из гамейской лозы.

Ты встанешь на крик петушиный,
На клёкот на галльский, на рык
Гортанный — на рынок блошиный,
На птичий, мой птичий язык!

Я нем, оттого что не знаю,
На чьём языке говорю,
И чьё исповедую знамя,
На чьём пепелище горю.

Но если всё дело в гортани,
Что ж, праздную победу, Париж.
Молчу, шепелявый, картавый,
И ты, златоустый, молчишь.

Август 1995

* * *

Моей матери

Как заика, пытаюсь сказать неказистое слово.
Это осень — виновница бед, приводящих к зиме.
Что-то с миром случилось. Чудной, виноватый, беззлобный,
И боится, как грешный малыш, коридоров во тьме.

Всё чего-то стыдится, лукаво добреет, как будто
Нашалил и разбил, и осколки пугливо собрал,
Всё мучительней ждёт, всё, взрослея, считает минуты,
Ибо знает — простят, нужно только умело соврать.

Что за вязкая чушь, отчеканенной речи подсудна,
Что язык заплетается в сетях и нитях волос?
Не о том я писал, но в душе безотчётно, подспудно
Это чувство сиротства в мальчишке и мире слилось.

Так под осень всегда. Словно все разошлись или поздно
Возвращаются в дом, где невидимый кто-то забыт.
Так под осень всегда проливаются строки и слёзы.
Так под осень всегда, мой угрюмец. Не помни обид.

Ноябрь 1985

ПРОЩАНИЕ С РОССИЕЙ

Моим дочерям

Не осталось во мне ни следа от тропической неги.
Забываю, как солнце душисто и камень горяч.
Ничего, кроме тёмного льда и солёного снега,
Из которого дочь моя лепит — кулич или калач?

Мне любая разлука, любая разлука посильна
(Оттого, что надеюсь на более пёстрые сны)
Даже с братом родным, даже с именем колким Россия,
Даже с тем, что в цене, даже с тем, чему нету цены.

Что там ни говори, а гнездовье всегда есть гнездовье,
На своей ли земле, на чужой ли — не всё ли равно?
Но, покрытая телом твоим и политая кровью,
Возвратится к тебе через годы как хлеб и вино.

Ах, я знаю тебя, я, почти что на треть обрусевший,
Да, я вижу тебя, удалая империя зла,
Ты, пекарня и бойня, где кровь не бывает несвежей,
От ножа отвела и от чёрного глаза спасла.

Начало 1990-х

★ ★ ★

Не молчи. Окруженье моё как один молчуны.
Я дожждаться не смог ни единого звука в ответ.
Отзвонили звонки. Отсвистели своё свистуны.
Отшумели шумы. Отвертелся сентябрьский ветр.

Не молчи. Будто пойман врасплох провинившийся свет,
Попритих, в оправданье своё ничего не найдя.
Будто умысел чей или Господом данный завет
Эту тишь породил, эту радугу после дождя.

Не молчи. Это сладкая вещь — предаваться словам.
Не молчи, говори, говори, нарушая запрет.
Не молчи. Я согласен со всем, ты как прежде права.
Не молчи. Я полжизни искал этих райских бесед.

1987

БАБУШКА

Ты спряталась в пшенице. Я один
Средь скал отвесных и седых вершин.
Ну а точней, холмов в 120 м,
Тень от которых обращалась в темь.
Ты спряталась. Мне было восемь лет.
Тьма в пять минут преображалась в свет,
Что лился профилактикой от гриппа
Вниз, на посёлок городского типа.

Твоей то было, бабушка, игрой
С моим испугом и моей горой,
С моею поздней и картавой речью, —
Где все ж неведом Киркегардов страх,
И где берут и носят на руках,
И льют мацун на выжженные плечи.

Все это были горние дары
Родства по крови противу жары
И заговором старческим от хлада.
Когда тряслась ты в энных лет пальто
В декабрьском замороженном авто,
Пред тем, как город затрясёт как надо.

Не потому я плачу, что трясло
Наш городок по первое число,
Ну а точнее, под число седьмое.
А оттого, что трещина легла
Меж тем, где детство, и меж тем, где мгла,
Меж тем, где я один — и мы с тобою.

29 декабря 1996 — 14 февраля 1997

ИЗ ЦИКЛА
«НА СМЕРТЬ ИОСИФА БРОДСКОГО» (III)

Он лежал без движенья, у двери, ничком и в очках.
Друзья говорят, не ложился, мол, ночью работал.
С лицом не Орфея, а больше еврея-врача
Он лежал, о движенье нимало уже не заботясь.

Не Орфей двуязыкий, не Нобель, а больше Эней,
Сердцеёд-основатель, а если точнее, Вергилий,
Гид по мёртвому царству, по дольнему царству теней,
Тех, что в зимнем Стокгольме его, говорят, окружили.

Хорошо египтянам, у них все идёшь и идёшь,
И у жизни и смерти у них ни конца, ни предела.
Все, что нужно для жизни и смерти, с собою берёшь, —
Нессесер, словари и перо, чтобы темень редела.

31 января — 2 февраля 1996

* * *

Всё, что я напишу, пусть окажется сном и обманом.
Повторяю все чаще и чаще: усни, обмани!
Запылились в углу и усохли мои ватерманы,
Даже этих стихов, я боюсь, не dokonчат они.

Как сундук на свету, расколдованы страхи и тайны.
Потянулись на свет, на старьёвщиков милость сданы,
Предались безъязыким мутантам и нежным путанам.
Что мне их безъязыкость и нежность, о, что мне до них!

Эти мысли меня осеняли дорогою в Канны,
Там, где море, как старая скатерть на дачном столе,
То сомнётся в кулак, то расправится, в воду не канет
То, что глубже воды и дождливейшей ночи старей.

То, что нас разделяет с тобой вороватою далью,
Этот атлас намокший и смытые пятна на нём.
То, что нас разделяет, разделит меня и подавно
С этим морем, и с этою жизнью, и с этим дождём.

14 мая 1994

* * *

Я с теми, кто бросил землю,
Кто кушает хлеб чужбины,
Макая по пальцы в зелье
Кофейное вместе с винным.

Кто взгляда назад не бросит
Из страха пред тем, кто в спину
Глядит, ни о чём не просит
Заблядовавшего сына.

Две стороны — чёт и нечет —
У улиц, пройди любую:
Затрахаёт, искалечит
Враждою, затем любовью

Париж этот светоносный,
Бодлерова полный сплину,
Чумы, тошноты, поноса
И муз остальных причина.

Пять камешков с Пер-Лашеза
Я выбрал: Мольер, Россини,
Шопен, Абеляр — Элоиза
И пятый, — о ком просили.

Оттуда, где глас «одная»
Доносится как «мы оба»...
Звучит как земля родная,
Стучится о крышку гроба.

Февраль 1996

Лиля ПАНН

ЧЕЛОВЕК ШАГАЮЩИЙ

(О книге: Манук Жажоян. Случай Орфея. (Стихи, эссе, рецензии, дневники.) Составитель Анна Пустынцева. — СПб.: «Журнал «Звезда», 2000)

Книги по ведомству «литературы существования» (так в одноимённой статье 1996 года назвал — по аналогии с философией существования: экзистенциализмом — невымышленные сочинения огневой писатель этой литературы Александр Гольдштейн) выходят в наши дни одна за другой, и «Случай Орфея» безусловно оправдывает введение благородного, высокого термина. Существование Манука Жажояна, столь напряжённое в эссеистике, приобретает полнокровность, светотень, объем жизни в его дневниках. (Жизнь Манука оборвалась рано, внезапно и жестоко: в неполные 35 лет его сбила машина на Невском проспекте). Стилистическая отделанность дневниковых записей говорит об авторском расчёте на читателя, а в том, что этого читателя автор, помимо себя, со временем стал видеть разве что в своей *altra ego* (по слову Иосифа Бродского), убедит интонация пишущего: как-то (а как, невозможно определить) совсем не на продажу. *Опыты* жизни и мысли — в дневниках, эссе и даже рецензиях — ярчайшее в духовном наследии Манука Жажояна. Скорее, хочется говорить о душевном наследии, ибо при всей своей интеллектуальной пестроте книга воплотилась как одна цельная душа. В цветаевском понимании. Манука при этом

© Лиля Панн, 2016

романтиком в чисто литературном смысле не назовёшь. Для этого вполне современного литератора определение Жуковского — «романтизм — это душа» — можно без натяжек расширить: литература — это душа.

С такой литературой он и выходил к читателю парижской «Русской мысли», где в 1993–1997 годах еженедельно печатались его рецензии, реже — эссе и стихи. Лучшие из рецензий он успел сам отобрать в «Избранную подёнщину». При том, что блеску его «подёнщины» можно было только позавидовать (как все те годы и завидовал автор этих строк), его коронным жанром было эссе. То ли Париж его обязывал, то ли был он рождён для этого традиционно французского жанра — так или иначе, острый галльский смысл и галльское же чувство меры направляли перо молодого эссеиста.

Язвительный писатель и мягкий человек неразделимы в его текстах. Что это, мастерство, писательский талант? Я думаю, склад личности. Искать родственные ему фигуры надо не среди писателей, а среди своих знакомых, друзей (еще вернее — возлюбленных). Все мы знаем таких людей — саркастичных и одновременно ласковых, под кожей часто на грани отчаяния и — смеющихся. И умных, умных. Все мы предпочитаем вести разговоры именно с ними. Таким родным человеком из жизни перелетел на бумагу Манук. Панибратства при этом с собой не захватил. Немало сейчас других блистательных говорунов в эссеистике, но при всей их склонности к подмигиванию редко они смотрят в глаза собеседнику. Не то Манук. И потому никак не отвязывается строчка из его стихов: *«Не молчи. Я полжизни искал этих райских бесед»*.

(У читателя может создаться ложное впечатление, что автор этой рецензии был лично знаком с Мануком Жажояном. Откуда это: Манук, Манук? Почему не Жажоян? Соображения я могу предложить только легковесные.

Во-первых, есть люди, которым в том или ином контексте имя идёт больше фамилии. Очевидный пример — Веничка Ерофеев. Столь же неуловимую роль играет и внешность. Фотоиллюстрации в «Случае Орфея» при всей скромности полиграфии не могут скрыть лицо-имя.)

Упоительно слушать его. *«Я не могу себе представить зрелища удивительнее, чем человек, напевающий чужую мелодию. Нет ничего интимнее этой минуты, нет отношений теплее и тоньше, доверчивее и вместе с тем стыдливей, чем отношения создателя мелодии и повторяющего, воспроизводящего её любителя».* Или: *«Я превращаюсь в старуху, когда не пишу».* Воображение его так подвижно, мысль так своевольна, что для её же блага лучше всего её продвинутыми формами изящной словесности не баловать. Письмо Манука стилистически — сама невинность. Свободу слова он осознает как точность, особенно в дозировке сентимента, временами очень сильного и незавуалированного. За пристрастие к сарказмам платит абсолютным воздержанием от ёрничества. Речь его будто принадлежит эпохе до стёба, но писал он в пору пика истерики российского дискурса.

Мир спасёт не красота, а юмор — такое подозрение рождает эссеистика Манука. Тот юмор, который и есть красота — неотличимый от серьёзности. Спасёт, по крайней мере, литературу и уж наверняка — семиотику: жажояновская «Последняя семиотика» тому свидетельство. «Последняя», поскольку смех смеётся последним, замыкая круг познания и размыкая следующий виток диалектической спирали. А как иначе демонтировать такие знаки повседневной жизни, как слава, брак, семейная ссора, письмо, эмиграция, сплетня, ложь? Или, к примеру, поцелуй? *«Итак, первое: поцелуй — это сокрушительный удар по брезгливости, от которого брезгливость не оправится уже никогда».* И такого человека в расцвете лет сбила насмерть

машина? в его любимом Питере? зачем? На такие вопросы философия существования не только не отвечает, но и не ставит их — это дело литературы существования.

Самая оригинальная работа Манука, на мой взгляд, эссе «Сорок тысяч братьев» — о любви в браке и вне брака, о жене-сестре и любовнице. Легкость, с которой он остается целомудренно бесстыдным, видимо, особый дар. С оттенком безумия, его «теория тела» безжалостна (к новобрачным). В ее фундаменте — коллективное сознание и бессознательное армянского народа, выше всего ставящего в женщине сестру. Теорию он укрепляет аргументами поэта: *«Меня очень трудно убедить в том, что есть в мире язык, в котором это слово — “сестра” — было бы неблагозвучным»*. (В стихах та же тема удается только в отдельных строчках: *«Что мне тело твоё, если ты родилась бестелесной?»*) Его философия, неотличимая от поэзии, питается и русской мудростью — «Крейцеровой сонатой». Выливая свой ушат холодной воды на «тело» в браке, он идёт дальше — к освобождению от «пола» в браке. Супружество — высокая свобода.

Тут видна закалка духа нешуточным бытийным опытом, мудростью — довольно-таки ранней в тридцатилетнем возрасте. Но в случае Манука возраст и мудрость надо помножить на два, а то и на три — по числу стран (Армения, Россия, Франция) обитания, ибо он из всемирно отзывчивых. Вот он пишет в «Исповеди»: *«Россия и Армения долго смотрели друг на друга, долго стремились друг к другу, и только во мне они соединились, разные, равновеликие, как не соединились ещё ни в ком: они соединились в любви. Так любить одновременно Россию и Армению могу только я»*. Извольте понимать буквально — есть комментарий в виде многих трезвых страниц.

Дневники Манука выдают, что это дитя добра и света, каковым знали его читатели «Русской мысли»,

ещё и дитя большого отчаяния. И сколько бы отчаяние ни перерабатывало себя по законам творчества в свою противоположность, невидимое подводное течение ощущалось и притягивало читателя. То, что образует книгу, дневник ставит под вопрос — сами основы духовного существования автора, то, чем он жил, на чём выживал: человеческое общение, религию, культуру, литературу. Его антилитературный бунт беспощаден: *«Литература (чуть не написалось — литературва) — стерва и потаскуха; она не способна оценить толстовской романтической твоих отказов и уходов, их страдальческой, напряженной вынужденности. Стервы не понимают таких вещей. Она, твоя литература, никогда не поймёт патетики «полной немоты», как потаскуха, именно потому, что она, потаскуха, никогда не поймёт патетики, скажем, полного воздержания».* Бунт Манука на фоне его неровного, хотя и обаятельного стихотворчества, особенно чётко проявляет его правду: это случай поэта именно что литературы существования. Неслучайно в эссе, давшем название всей книге, автор замечает, что *«история Орфея — это история не поэта, а любящего».*

Нелитературные деконструкции высоких мифов Манук производит тогда, когда в опоре больше всего и нуждается — в одиночестве эмиграции. Оно и понятно — как и углубление самоанализа. Опять Манук стилистически прост и содержательно сложен. То есть честен. *«Здоровье есть честность, не так ли?»* Так. Здоровье есть и тонкость. Да и сложность неодноклеточных — здоровье.

Что привело его в 1992 году в Париж? Наверное, то самое, что и в Россию из Армении — центробежность и центростремительность одновременно (я во всём, и всё во мне). Манук оказался по нынешним временам в полуэмиграции. В этой позиции можно смотреть на

эмиграцию извне и изнутри, легче разглядеть за эмиграцией «экзистенцию» — как в случае Георгия Иванова. «Страшные стихи ни о чём» М. Жажояна, может быть, лучшая статья о Г. Иванове.

Прагматику эмиграции Манук понимал неплохо: всё же он был эмигрантом с внушительным стажем, учитывая его опыт жизни на три страны. Особенно удался ему портрет Четвертой волны эмиграции (последней на сегодняшний день) в очерке «Блеск и нищета парижанок». Статьи о Париже у него не могли не получаться. Да и стихи парижской темы — самое заметное, броское, что он оставил в поэзии. Такой одержимости Парижем не знали поэты «парижской ноты» — выездные и до Первой волны эмиграции:

*Только тем и тешишься, что Париж
на улице Денуэтт,
Ковыряешь строку, как прыщ,
на улице Вожирар,
Не о том, не о том говоришь
на улице Дюрантон.*

Рано или поздно запутанность его отношений с Парижем (дневник тут многое может рассказать о типичной для пришельца любви-ненависти) должна была разрешиться на уровне *tour de force*. В «Пьяном автобусе» всё слилось и спелось. Париж и — покинутая Мануком земля под перезвон «Заблудившегося трамвая» Гумилёва, воя электрички «Москва-Петушки». Ритм «Автобуса» — от «Пьяного корабля» Рембо, но драйв его собственный, Манука, и берёт он нотой пьянее:

*Обули догола кондукторы в зелёном
Водителя, что мой любимый правит
рейс...*

Я не думаю, что Париж русских поэтов представим теперь без рейса «Пьяного автобуса», без «Парижа бастующего». Если не «Пьяный автобус», то многие из стихов Манука о Париже я отдам за один этот его газетный очерк. И не потому, что он написан какой-то невиданной прозой, нет, это обычная речь, репортаж журналиста о забастовке городского транспорта. Но магическое воскрешение автора здесь достовернее, чем в стихах.

«Пешее передвижение — единственное для меня нравственно допустимое. Всякий раз, когда я сажусь в метро или в автобус, я совершаю маленькое предательство по отношению к самому себе. И чтобы это предательство не разрослось до размеров непереносимых, я оправдываю его спешкой или чем-нибудь ещё.

Любую чахлую трёхдневную забастовку парижского транспорта я принимал как личный подарок. Надо ли говорить, что значит для меня вот уже трёхнедельная забастовка? <...>

Именно теперь начинаешь осознавать всю порочность неспешных прогулок «в мирное время». Это озирание по сторонам, этот интерес к тому, чего ты не оплатил 240 километрами своей жизни; этот шаркающий, любопытствующий шорох — вместо измождённого гула миллионов ног, с каждым шагом преодолевающих измождение, словно вытаптывающих вторую часть бетховенской «Девятой симфонии».

В «Париже бастующем» человек шагающий и человек рассказывающий совпадают. Не самая ли это большая удача человека пишущего?

Первая публикация: в журнале «Знамя» 2001, № 12. Эссе печатается в сокращении.

Эдуард КИРСАНОВ
(1972 — 2003)

Родился в Смоленске, преподавал английский язык в колледже. С 1995 года был активным участником литературного объединения «Персона». Печатался в смоленских, тамбовских, донецких изданиях. В 2002 году вышла книга его стихов «Круг чтения. Квадрат окна. Треугольник души». Погиб в результате несчастного случая. В 2004 года вышла книга «В кромешной тьме я маленькая точка...», куда вошли все законченные произведения поэта.



ГДЕ ВРЕМЯ ЗАСЫПАЕТ НА ХОДУ...

СТАРИК И МОРЕ

стоял ноябрь и за окнами темнело
не то чтобы внезапно постепенно
в его углу всё было как всегда
неторопливо и тоскливо осовела
совсем кукушка над кроватью то и дело
вдруг слышалось не гулкое ку-ку
но уханье глухое старику
проснувшись (радость языку
забыть про буквы) поворчать хотелось
что нынче ночью снова не спалось
ворочалось вздыхалось и сопелось

но всё-таки под утро удалось
вздремнуть часок-другой (приснились скалы
полоска пляжа (правильные формы
неправильны) у берега буйки но за буйки
не заплывать на заднем плане море
и чёрно-белых-белых чаек стайка
земля они кричали айвазовский
трезубец посейдона рыбаки
мелькали рыбы морды плавники)
.....
проснувшись он поплёлся ставить чайник
на кухню сморщенные тапки — расцвело —
спешили по паркету тот скрипел
и пели волны грустно безнадёжно

ЧТЕНИЕ В ТЕМНОТЕ

милый Шеймус пишу тебе эти строки сам не знаю зачем
в угоду желанью стать ближе или же так от скуки
наверное в обращении есть нечто большее чем
слово скопление звуков и сами звуки
единственно различимые в этой тьме
знаки присутствия изворотливы словно ужи проворны
это правда что в нашей глуши особенно на письме
буквы/губы неповоротливы мысли вздорны
в нашей глуши всё как есть совершенный покой
омут фригидность муз какая бывает лишь в третьем
тысячелетии если кому-то махнёшь рукой
расстояние жест исказит и тебе не ответят
а теперь здесь зима и неизвестно какое
сегодня число и за окном кружится
почему-то не белое но удивительно голубое
снежное облако и шелестят страницы

ВОСПОМИНАНИЕ

*Всё так горизонтально, что никто
Вас не прижмёт к взволнованному бюсту.*

И. Бродский

В стране, где в рыжих сумерках дома
друг к дружке прижимаются поближе,
где больше шансов всем сойти с ума
от одиночества среди таких же

среди таких же, как и вы теней,
от сырости немного ошалевших,
блуждающих при свете фонарей,
среди пейзажей за день надоевших.

В стране, где стоя на каком-нибудь мосту
художнику возможно простудиться,
но не понять, зачем летят за ту
черту река, и облака, и эти птицы.

Остановиться и упасть лицом
на перекрестье белых длинных линий,
туда, где вас раздавят колесом.
В стране, где не бывает лилий

одни тюльпаны, мельницы и свай
громады, спорящие с морем,
и где вам не услышать «ай-
люли» над косогором или полем.

В стране, где каждый первый скуп
(вопрос, скорей, не принципа, а крови),
где, торопливо кутаясь в тулуп,
молочница с ведром поднимет брови

в ответ на ваше «хау-дую-ду».
В стране, где в сыре дырочек навалом,
где время засыпает на ходу,
вдруг вспомнить ту, единственную ту,
которая любить не обещала.

ИДЁТ ВАША МОЛОЧНИЦА С МОЛОКОМ

тук-тук (т. е. нок-нок) она пришла
ключ маялся в замочной бедолага
он ждал когда его обнимут пальцы (раз-два-три)
мечтал о тишине спокойствии внутри
кармана или ящика комода
она пришла одна а на столе
лежали молча хлеб полфунта масла
мёд кажется какая-то стряпня
стояла и язык огня чудесный пламень красный
ворочался в камине семена
она пришла с ведром вдали густое
сползало облако на живописный лес
домов проснулось все окрест
и через край струилось белое парное

ЖЕНСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ

(Перевод стихотворения Сильвии Плат)

Все в чёрном, наподобие жуков,
— Столь хрупкие, что стоит только дунуть, —
И вмиг развалятся, рассыплются в труху, —
Старухи изнутри ползут наружу
На солнышке погреться, посидеть

Среди камней, спиной прижаться к тёплой
Ограде каменной. Вязальные крючки

В их сморщенных руках, под птичий щебет,
Заводят песню старую, как мир,
про сыновей и дочек: дочери, сыновья,
Далёкие, холодные как фото —
Графические снимки, внучки, внуки,
Которых никогда никто не видел.
И с возрастом рыжеет чёрный цвет
Их платьев, зеленеет, как лишайник.

На крик совы слетается вся нежить,
Согнав старух с зелёного газона.
А ближе к ночи из своих постелей,
как из гробов, старухи ухмыляются друг дружке.
И Ангел Смерти, этот старый лысый хрен,
пасётся в коридоре, выжидая,
И лампы слабый фитилёк становится короче
с каждым вздохом.

ВОСВОЯСИ

за тучкой в небе за какой-нибудь бирюлькой
за дудочкой играющей в углу
ты тянешь ручки пухлые свои
нескладный гамлет мой и никому
колпак дурацкий свой не доверяешь
всё размышляешь бы... или не бы...
и время говорит тебе ку-ку
и взгляд пустой скользит по потолку
есть музыка в молчании и ты
молчишь над буквами оставив без вниманья

рыданья муз и всхлипы тишины
молчишь до хрипоты...
тебя смешит мычанье патефона
и плакать хочется от звона бубенцов
хор в вышине молчит но без старанья
короче помраченье налицо
должно быть в бездне так вселенная вокруг
но лучше бы не чувствовать вселенной
остановить бы этот страшный звук
остановить движенье не-движеньем
да да ты помнишь помнишь что была
была одна все пела и плыла
плыла и пела думала люблю
куда-то вдаль на запад в западню
ни сонный лес ни птицы ни цветы
не знали этой песни восвояси
её течение несло лишь ню
и евдундосья речные нимфы
ей подпевали весело смеясь
и эхо повторяло торопясь
и плеск воды и смех и голоса
до смерти оставалось полчаса
kom, søster, kom med oss¹ они
её с собою звали
в муть омота и выбраться едва ли
плыви офелия плыви

¹ Иди, сестра, иди с нами (датск.).

ОКНО ВЫХОДИТ НА УЛИЦУ

*Камертон*¹

дас фенстер геет ауф ди штрассе, йа²
улица извивается и уводит взгляд
куда-то откуда потом нельзя
ни выбраться
ни ускользнуть
ни скрыться

торговка у дома напротив напоминает домну
васильевну или скорее всего петровну
проснувшийся город вдруг принимает форму
летащей
на север
птицы

никто никуда не спешит никто никуда воскресенье
самое время для счастья и одиночества так целый день я
лежу на диване и разглядываю растенья
на подоконнике
это ли
счастье

окно выходит на улицу о несомненно
улица будто бы вымерла переменный
местами сильный с порывами перемена
погоды
приносит одни
несчастья

¹ Прибор, служащий эталоном высоты звука при настройке музыкальных инструментов и в пении (нем. *Kammerton*).

² Окно выходит на улицу (нем. *das Fenster geht auf die Straße, ja*).

ну да окно выходит на улицу будь осторожен
с этим чудесным видом и накупив пирожных
в ближайшей кондитерской всевозможных
сядь и устрой
себе ланч
или полдник

и представь что в каком-нибудь каргополе или вятке
пасмурно и пётр лукич в тетрадке
аккуратно выводит +2 осадки
как из ведра
изобилия
близится полдень

ПЕЙЗАЖ «LANGSCAPE» BY D. P. SPLENDID

В кромешной тьме я маленькая точка,
идущая на твой далёкий голос,
я облачко, плывущее по небу,
разрезанное надвое крылом
случайной птицы,
 крошечный квадратик
 окна,
через который ничего уже не видно:
лишь облачко, и крошечный квадратик,
и тьма кромешная, и маленькая точка.

ГЛУМ¹ УНЫНИЕ

Мир был печальным, начиная со вторника.

Г. Маркес

Уныние. Весь день нетороплив.
Я должен с этим чувством примириться, —
Бессмысленно по комнате слоняться
Из одного угла в другой
И что-то бормотать себе под нос
Или молчать насупившись,
на слово натолкнувшись.
Всё бесполезно. (Взмах рукой)
Прислушаться: там ползает внутри,
В коробочке квадратной из-под спичек, —
Он маленький и выглянет вот-вот,
И тяжело часы вздыхают на окне,
И выпь, ополоумев, кричит из мха —
Кха-кха! — дверь кашляет и дышит за стеною.
(Немного погодя)
рукой нащупать гвоздик
И сделать дырочку, овал,
Подырмоляйствовать,
Что ничего не слышишь притвориться
И превратиться,
Как механизм немой повиснуть
или слиться
С фигурой в зеркале.
Уныние. Весь день нетороплив.
Я должен с этим чувством примириться.

¹ Уныние (англ. *gloom*).

ПЕЧАЛЬ

(Стихотворение Теодора Хюбнера Рётке)

я понял всю неумолимую печаль карандашей,
лежащих аккуратно в своих коробках,
всё горе пресс-папье и промокашек,
всю грусть-тоску скоросшивателей и клея,
всё одиночество, отчаянье, унынье, царящее
в общественных местах,
в приемных, туалетах и т. д.
весь неизменный пафос умывальника и крана,
всю ритуальность мультиграфа, скрепки, запятой,
всю бесконечность повторений лиц, людей,
предметов, жизней, судеб.
я видел пыль, сидящую на стенах учреждений,
заведений, институтов,
тончайшую, как лучшая мука, опасную, ужасную, живую,
почти невидимую пыль, летящую сквозь скуку бытия,
и покрывающую тонкой плёнкой ногти,
глазурью липкой волосы и брови, —
она садилась, медленно кружась, на совершенно
одинаковые лица
не то людей, не то печальных серых ксерокопий.

* * *

Разрезать вещь и вынуть смысл
Я тороплюсь.
Не быть боюсь.
Хочу успеть
Всё рассмотреть, расставить, разложить
И жить,
Бессмысленно горя,
И умереть от сентября.

Дарья ЛЕБЕДЕВА

ГОТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК

«Уныние. Весь день нетороплив. Я должен с этим чувством примириться», — две строки из стихотворения Эдуарда Кирсанова говорят о нём довольно много. Живя размеренной, привычной жизнью в тихом Смоленске, Эдик (как звали его друзья) примириться с унынием, конечно, не мог, а потому оплетал обыденность придумками, фантазиями, волшебством. У него были две большие литературные любви: Николай Гумилёв и Даниил Хармс. Он знал полностью творчество Хармса, его библиографию, читал все доступные мемуары о нём. Также любил Ремизова и Кафку. По рассказам друзей, личность Кирсанова была многослойной, многосоставной, но отнюдь не противоречивой. Даже разговаривать о нём, признались мне, одновременно просто и тяжело. Он был и общительным, и замкнутым человеком. И все это было совершенно естественно для него.

Смоленский поэт Дмитрий Смагин написал об Эдуарде со сдержанной болью: «Он был всегда очень скромн и сдержан. Для нас его смерть — трагедия. Его все очень любили». Друзья поэта Наталья и Андрей Баркаловы — участники литературного объединения «Персона» (Андрей к тому же — одноклассник Эдуарда) проговорили о нём несколько часов — так, как будто он жив. И это спустя десять лет после его смерти.

Эдуард Кирсанов, по словам его друзей, был человеком «немного готическим». Казалось, он неловко чувствовал себя на этой земле. Окно в его комнате обрамляли

тяжёлые бархатные шторы. Он носил мягкие пиджаки и неизменный длинный чёрный шарф, который по его просьбе связала жена Валерия, вышив на нём цитату из Хармса: *«Пью фюфюлы на фу-фу, еду мальчиком в Уфу»*. В его кабинете в Автотранспортном техникуме — там он преподавал английский язык — висели на стенах портреты Шекспира и Мильтона. Он смотрел на мир сквозь болотного цвета очки. Обожал мистификации — например, делал переводы стихов неизвестных поэтов, а потом оказывалось, что это его собственные стихи. Любил изучать языки — помимо английского знал немецкий, шведский, немного финский, латынь на уровне университетского филологического образования. Как вспоминает жена Эдуарда, у них был радиоприёмник, который работал на шведской волне. Однажды поэт прислушался и с грустью сказал: *«Умерла Астрид Линдгрен...»* Эдуард постоянно вставлял иностранные слова и фразы в свои стихи — искал особенную музыку строки, чужие языки служили приправой, придавали остроты. Например, стихотворение *«Окно выходит на улицу»* начинается с немецкой фразы в русской транскрипции: *«дас фенстер геет ауф ди штрассе, йа»* и дальше этот пассаж обыгрывается уже на русском: *«ну да окно выходит на улицу будь осторожен»*.

Кирсанов любил ритуалы. Поход в гости, приём гостей, чаепитие, курение самокруток. Ему был важен процесс. То же в творчестве — поэзия была главным делом его жизни, и важен был именно процесс. Он по-настоящему работал над своими стихами, запирался в одиночестве, искал новые формы, составлял слова — добивался предельной точности смысла и музыки, мелодичности, гармонии. Всё, что он видел и слышал, тщательно преобразовывал в поэзию. Это был его способ существовать здесь и сейчас.

И это слышно в его стихах — смелых, но предельно аккуратных, где каждый ритмический сбой, каждый звук продуман, прочувствован, резонирует, откликается.

Алексей КОЛЧЕВ
(1975 — 2014)

Родился и жил в Рязани. Учился на факультете русского языка и литературы РГПУ и филологическом факультете МГУ. Лауреат конкурса имени Вл. Бурича (Кострома, 2000) в номинации «Поэзия», стихи вошли в лонг-лист премии «Различие» (2013). Публиковался в антологиях «Нестоличная литература» (2001), «Лучшие стихи 2011» (2013), «Лучшие стихи 2012» (2013), альманахах «Бредень» (2002), «Чёрным по белому» (2002), «Узнай поэта» (2011), «Белый ворон» (2011), «Василиск» (2012), журналах «Дети Ра», «Воздух», «Волга», «Ното Legends», «Транслит». Опубликовал книги стихов «Частный случай» (2013), «Несовершенный вид» (2013), «Лубок к родине» (2013). Был постоянным участником поэтических фестивалей «Авант», «ГолосА» (Чебоксары), «Стрелка» (Нижний Новгород), Фестиваля свободного стиха.



GAME OVER!

* * *

капитан полубаба
лётчик
герой войны
судится с государством
пять лет как погиб

а денег
так и не заплатили

ходит из могилы
на все заседания
ответчик от министерства
вновь не явился

капитан размышляет:
будь у меня
хоть одна ракета
класса «земля-земля»
вроде той от которой

где бы взять
новый китель
старый
поистлел уже истрепался

ПОРНО

мы берём кредиты
на съёмки порно
в банках думают: мы кретины
но зачем-то дают покорно

нам никогда не добиться успеха
не вернуть затраченных денег
работаем ради отвращения или смеха
и про каждого произнесут: бездельник!

«жизнь как форма некрофилии» —
таково название первой картины

люди в ней двигаются не как живые
а словно вырезанные из картона

так что отдавать кредиты нам нечем будет
пускай коллекторы имущество ищут
если никто никого не любит
мир становится злым и нищим

* * *

«история — дело всегда простое
советская власть времена застоя
рожают лёжа голосуют стоя
цель у всех одна — коммунизм
бабка гробовые хранит на сберкнижке
во дворе играют в войнушку мальчишки
шпана объясняет профессорскому сынишке
что такое телесный низ»

* * *

проходя мимо
пылающих церквей
крошащихся памятников
саморазрушающихся новостроек
ржавых заборов
сухих деревьев
дохлых кошек
раздавленных муравьёв

думаешь
куда ты попал
думаешь

что за дурной сон
думаешь
война
думаешь
если можешь думать

когда на западе неба
расходятся
изжелта-синие облака
и неведомая десница
разворачивает меж них
огромный свиток
с багровым посланием

GAME OVER!

* * *

Не победит её рассудок мой...

М. Лермонтов

мне некуда деть усталость
как некуда деть глаза
а из темноты уставясь
глядят чужие глаза

вот родина вот берёзки
вот домик с кирпичной трубой
бредёт мужичок нерезкий
спортивный костюм голубой

он русский? конечно русский
сражённый своей судьбой

а над равниной плоской
горнист играет отбой

* * *

русь стоит на семи холмах
трёх китах девяти царях
хоровод расписных рубах
перекошенных брюх и рях

затянься папироской вослед петру
поскреби подбородка плешь
вон пошёл сиволапый гундеть муру
трёх сосёнок плутать промеж

я-де мы-де весь не умру
хочешь режь меня хочешь — ешь

* * *

пой еврей соловей большеротый
пей казак за незримую русь
мы пройдем марширующей ротой
утомлённые мелкой работой
ты пиши вдохновенно болботай
я бумажкой твоей подотрусь

напиши мне такое письмо
чтоб над вымыслом я обрыдался
чтоб оно долетело само
как подарок в пятьсот эскимо
чтобы я без ума без умолку
в плаче над ним сотрясался

я накину на плечи шинель
в тундру выйду забуду обиду
где ты чёрное платье шанель?
мелкий снег как густая шрапнель
накрывает бараки но мне ль
уничтожить тебя нереиду?

пой же пой свой последний псалом
в чёрном небе звезда золотая
государственным блещет орлом
инвалид за сосновым столом
смерть прекрасна как дева с веслом
сыплет снег всё кругом заметая

и щелястый сортир за углом

* * *

как будто буратино с букварём
прохожий сквозь лирическую вьюгу
бредёт наушник прижимая к уху
в четверг часам примерно к трём
нам говорят мы все умрём

прохожему идти недалеко
он купит в магазине
халву и яйца лук и молоко
и понесёт в пакете — не в корзине
с рекламой на боку «мадам кличко»

минуты через три он будет бит
шпаной похмельной во дворе у лавок
потом поднимется неловок

скула разбита и всего знобит
как от уколов крохотных булавок

а смерть что смерть? кружится голова
пружинит под ногами воздух шаткий
вьюга ревет как татарва
идут наметом белогривые лошадки
внизу пылает красная москва

КРУГ ЧТЕНИЯ

и фрейд и фромм и прочие врачи
чего-то там туманно обещали
юнг намекал на некие ключи
пред вами суд и правда но вначале
извольте на анализ сдать мочи

за ними приходил в ночи толстой
как призрак выплывая из тумана
пугая тряс огромной бородой
грозил навек упрятать в даль романа
с дорогой дальней долей непростой

ах доля доля дроля не дрочи
свой ум незрелый помни мир как воля
насквозь пропитан древней силой чи
как торт пропитан дозой алкоголя
так запиши: засмейтесь смехачи

рассмеявшись усмеяльно!

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ

вот точка вот тучка вот рыжая дачка
вот мысли тянучка вдоль дачи собачка
залает немножко как свет из окошка
вот ржавая тачка вотдохлая кошка
а вот оно я в пузырящейся майке
немножко в малине немножко в моркови
на майке немножко певца из ямайки
вот тучка вот солнце как вымя коровье
вот тучка вот точка вот старая ручка
вот три стебелёчка на каждом колючка
вот три стебелька стерегут кобелька
вот тучка вот солнце вот дом вот река
и я подкидного скоблю дурака

ОПЯТЬ РОМАНС

человек-невидимка собирается ехать на дачу
там сирени и воздух и в воздухе всюду пыльца
в поселковом шинке он возьмёт три ириски на сдачу
и пойдёт по проулку прозрачный и светлый с лица

за заборами здесь незаметно ликует природа
кто шумит кто цветёт кто клубится

над почвами русских равнин
вот идёт человек представитель простого народа
неприметного фронта почившей страны гражданин

не рыдайте над ним ах мы все в этом мире чужие
не пришельцы но вроде как будто заброшены сами к себе
вот идёт человек он невидим и крылья большие
у него за спиной словно два лопуха в городбе

Геннадий КАНЕВСКИЙ

ПАРИЖ-НА-ОКЕ

Лёшу Колчева трудно было представить себе, например, заразительно хохочущим. Но мне посчастливилось несколько раз увидеть, как он улыбается. Это было солнце сквозь дымку. Добрый гигант, как на обложках альбомов Gentle Giant. Удивительное ощущение. Он был такой — дымчато-опаловый какой-то, что ли. Вообще дико писать «был». Я знал, что он тяжёлый диабетик, на инвалидности. При этом, видя, как он ездит по городам и весям, как читает стихи на презентациях своих книг (а это — отдельная песня: искусству читать стихи со сцены чётко и внятно у него многим можно было бы поучиться), думал — проживёт ещё долго. Хотя и ходил в последнее время, опираясь на трость. Зато с ним рядом всегда была Оля Самохвалова — юная и прекрасная, светящаяся уже не сквозь дымку — тоже каким-то чуть застенчивым светом. Так и ходили рядом два солнышка.

Стихи у него удивительные. Прежде всего, при кажущейся просодической привычности многих из них, требующие внимательного вчитывания, что по нынешним временам — драгоценное качество. Сразу отваливались в сторону любители посконно-домотканой традиции. (Разговор о новой генерации рязанских поэтов — Колчеве, Горшковой, Грековой, Азарской, Мельник, Белой — оставим для отдельного текста). Потом — общая мрачноватая ирония, чёрный юмор, скептицизм на уровне всего текста в удивительно органичном сочетании с какой-

то радостной игрой словами, доходящей порой до элементов глоссологии. Лёша умел совмещать виртуозное владение цитатностью и центонностью, когда цитата подаётся не «в лоб», а творчески переработанной, органично входящей в тело стиха, с абсолютно народной песенной стихией. Просто это была не та народно-песенная стихия, которая по сердцу почволюбам. Скорее, она шла от городского романса, от куплетов мастеровых, от едких песенок предместий. Париж-на-Оке и его Беранже. Беранже XXI века, со всем техническим арсеналом нашего времени.

Он писал и печатался давно, больше пятнадцати лет, но книги — три подряд — вышли одна за другой лишь в последний год жизни. В Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Самаре. Даст Бог, выйдет когда-нибудь большой том избранного и в Москве, и в родной Рязани, к которой он относился сложно: любил и хорошо знал сам город, едко иронизировал над его косной литературной средой, над есенинским культом, над которым и сам Есенин, будь он жив, поиздевался бы вволю. Писал он много, и осталось ещё много неизданного.

Нельзя не сказать и о музыке. Да, в последние годы основной сферой его интересов были стихи. Однако в своё время Лёша стоял у истоков российской альт-электронной и дарк-фолк-сцены, один из центров которой, благодаря его усилиям в том числе, находится как раз в Рязани. Об этом лучше напишут музыковеды и музыкальные критики, я же знаю лишь, что он принимал активное участие в концертной и студийной деятельности нескольких групп этого жанра и являлся автором многих текстов, звучащих со сцены и в записи по сей день. Насколько я могу судить, взгляды и убеждения его в тот период вполне соответствовали музыкальным пристрастиям: он был увлечён традиционалистской русской и европейской философией, мистико-консервативными течениями мысли.

Помню, когда я увидел его впервые, помимо преобладающих в одежде тёмных тонов (пристрастие к ним он сохранил) был еще и кельтский крест на пряжке ремня. Мировоззрение и убеждения его с тех пор претерпели изменения, но он всегда продолжал интересоваться философией, филологией, культурологией, был в курсе всех течений и новаций, в каждый приезд в Москву и Питер покупал и читал книжные новинки в этих областях. Не говоря о том, что был меломаном и музыкальным эрудитом высочайшей пробы: от него можно было узнать многие факты, не упомянутые в самых подробных музыкальных энциклопедиях.

Лёша Колчев останется с нами — в своих стихах, в доброй памяти, в спокойной мудрости, в (кажущейся) своей угрюмости, которая пропадала при тесном с ним общении. Если и проявлялась при первом контакте, то довольно скоро становилось понятно, что не она, по слову классика, является его сокрытым двигателем. А является — торжество внутренней свободы.

Пусть земля будет ему пухом.

*Первая публикация: на сайте проекта «Культурная инициатива»
<http://kultinfo.ru/>, 22.05.2014.*

Василий КОНДРАТЬЕВ (1967 — 1999)

Родился в Ленинграде, учился на историческом факультете Ленинградского государственного университета. С конца 1980-х публиковал стихи, прозу, эссе, переводы с английского и французского в «Митинном журнале», журналах «Звезда Востока», «Родник».

Первая и единственная книга прозы «Прогулки» вышла в 1993 году. К середине 1990-х перестал писать стихи, сосредоточившись на прозе. Автор предисловий к книге Томаса де Квинси



«Исповедь англичанина, употребляющего опиум» (1994) и полному собранию прозы Ю. Юркуна «Дурная компания» (1995). В его переводе издана книга Х. Уолпола «Иероглифические сказки», произведения А. Мишо, Ф. Понжа, П. Боулза, Э. Родити, Л. Зуковски, Дж. де Кирико, М. Палмера и др. В 1994 году был редактором сборника «24 поэта и 2 комиссара», журнала «Поэзия и критика» (вышел один номер). Организовал и провёл литературный фестиваль «Открытие поэзии», объединивший деятелей неофициальной культуры. Лауреат премии Андрея Белого 1998 года в номинации «Проза».

ОКНО В ПОКИНУТОМ ДОМЕ

ПИСЬМА ПАМЯТИ О ХЭЙАН

I.

Время,
одетое в числа и дни,

© Наследники Василия Кондратьева, 2016

мимо проходит и, кажется, застывает
когда в ночи пропадает небо, и гаснут огни,
и холмы исчезают в тумане,
и ты
переходишь из жизни в память,
в трепет листвы за окном,
в легкий пар на умытом лугу,
в плеск
на берегу далёком —
в память, которую я не могу
ни забыть, ни унять
в одиночестве жизни
когда
каждая тень говорит.

II.

В одиночестве дней
мысли равны
— и каждая знает место
своё, и как листья они опадают,
оставляя нагие ветви бессмысленных чувств.
Вот и голое дерево наших дней
встало под белым снегом
у порога зимы
среди опустевших полей.

III.

Подумай,
как мало прошло,
и как много времени будет ещё
впереди —
только дожить бы;
от веселой женитьбы до похорон
и от майского дерева

до засохшего клёна,
до головы Адама осенних времён.
О любви никто не сказал —
это только забытый сон,
стон холодного камня из вечного плена.

IV.

Дорога, которая нас разделяет —
тысячи гулких шагов, уходящих вдали
в ропот стай перелётных,
в молчание первого снега,
в шёпот дней
в тесных стенах узилища
опустевшей Земли.
Всё меняется.
От сознания новой природы,
нового мира вокруг тебя —
последний куст лета отцветает легко —
все слова пропадают.

Что расстояние?

Даже годы,
которые отделяют тебя от меня — того
делают взгляд нестерпимым до боли
и узнавание всё трудней.

Так последняя капля свободы
пропадает в ожидании
дней, когда снегом покроются крыши,

V.

белые крыши домов среди опустевших полей.

ГРАММАТИК

Г. Мореву

Мне ли, лёгкой поступью эпигона
проходящему по развалинам, —
выйти в поле, вздохнуть полной грудью?
Лёгкой бабочкой бьётся в окно душа.
Мне, обменявшему «есть» на «могло быть»,
мир открыт, шумят золотые кроны.
Только ветра не слышно — стеклом окружённый,
я не чувствую воздуха, спёрто дыханье,
и железные клещи держат мой голос,
тонкий, невнятный голос.

СМЕРТЬ СОЛДАТА

Аркадию Драгомощенко

Death is absolute and without memorial...¹

W. Stevens

Он уходил.
Морозный воздух сковывал
плетением сухих ветвей ночное небо,
молчанием оцепеневшее.
Фонарь раскачивался на ветру,
втекая маслом
в мутный холод
клокочущего под мостом потока.
Глаза слипались чёрной пропастью,
и слепли

¹ «Смерть абсолютна и без мемориала», Уоллес Стивенс (англ.).

СОН ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ

Памяти Геннадия Шмакова

I.

Воздух входит в тебя, как в распахнутое окно.
Сизая дымка, парящая в яблонях;

лай собаки

отзывается в деревенской глуши;

о,

благодатные летние дни,
отрада страниц часослова,
в мраке хрустального свода идущие чередом.
Белый цвет распускается в кущах зелени,

золотом

в чёрном окне загорается лампа...

Так смешно, по-наивному просто
гостем входить в свой забытый, оставленный,
полуобжитый дом,
напоминанием смерти недвижимой, Иосиф.

II.

Цепь Арахны,

влажная паутина дрожит
мелкими каплями небесного пота

между тобой и детством;

тонкая веточка ивы плотину чуть держит,
и соседство порхающей бабочки станет немилым,
даже мучительным утомленному далью оку.

Тропка, тропка, беги,

паутинка, тянись

дальше и дальше ввысь, сколько хватит

просторного неба

в неизмеримом, облачном крае Земли.

III.

Так ли ты далеко
отошёл от порога родного дома?
Крик филина затерялся в опустевших полях.
Шелест сухого леса,
эхо в мёртвых ветвях, мутная тина
ветром носимая по безжизненным водам.
Перед свободой, которую вновь обретаем
мы беспомощны.

Среди щебетания птиц
в тёмном лесу — солнечный вопль бессилён,
зверь,
гонимый сквозь тернии,
чувствует одиночество,
Тень чумы мышью вползает в жилище,
синей змейкой, как в чаше у Иоанна,
корневищем
совокупления голубых вен.

IV.

Голубое окно в покинутом доме
как зеркало в поле странствий
отлетевшей души.

Прозелень из дали
синих сумерек кажется близкой
и застилает горло, будто бы издали
край небесного свода раскололи осколки
дальнего грома, вернувшего корабли.
Маленький мальчик смотрит из-за решётки
на опустевшую комнату, будто это окно
в шаткий мир, будто я — исполнитель желаний
и таким же, как он, был когда-то давно.

* * *

А. Румянцеву

Никогда не бывает
просто
ощутить себя частью, пылинкой
на коленях великого Вишну. Дождь ли пройдёт,
задевая песчинки и камешки, ветер промчится,
глаза наполняя
живительной влагой...

Смотри:

эти слова так уложены, камень к фаянсу,
золото к мрамору, что не разбить сочленений,
мыслей недвижимых.

Свиток не развернёшь
без томительной грусти. И как это просто
в стенах бесчувственных, в воображаемом мире
мыслями память крепить и словами

налаживать якорь
в дальнее плаванье. Ною осталось
только ковчег просмолить. Здесь каждой

твари найдётся

пара по нраву, довольно
доброй еды и питья. Молимся доброму Богу,
чтоб не оставил скитальцев в дороге
на разорение буйным ветрам.

Милый, добрый,
наш бородатый отец нас приемлет
как бы, куда ни ушли,
с чем
и когда ни вернулись...

Дмитрий ГОЛЫНКО-ВОЛЬФСОН

ОПЕРЕЖАЯ ЖИЗНЬ

Мне вспоминается знакомство с ним на протяжении более чем десяти лет, общение не столь близкое и закадычное, сколь регулярное, иногда чуть ли не ежедневные публичные рандеву за узеньким столиком-стояком в толкотне кафе, в прокуренном и проспиртованном кулуаре какого-нибудь вернисажа, на крикливом богемном пикнике... Мое знакомство с Василием Кондратьевым оборвалось, как говорится, в связи с его преждевременной смертью, трагически-нелепой и символической, как и многое в его опережающей саму себя жизни,— оборвалось, поставив перед фактом. Перед фактом его отсутствия в остроумных и фривольных интеллектуальных беседах или совместных походах за добавочным алкоголем. Перед фактом его отсутствия среди стеллажей Публичной библиотеки (где мы, ненароком сталкиваясь, обсуждали гетеронимию Пессоа или описанные у Балтрушайтиса анаморфические цилиндрические зеркала) или же на посиделках в пивных барах, где Василий принимал не последнее участие в коллективном сплетничанье о сексуальных авантюрах общих знакомых. Перед фактом его отсутствия в скученном, тесном и авантажном ландшафте интеллектуального Петербурга — после его ухода этот ландшафт сделался иным, незнакомым, разреженным...

Как, пожалуй, никто другой из современников, Василий был эталонной фигурой ландшафта (я намеренно

ставлю логический акцент на это слово, повторяя его неоднократно). Бродский точно и самокритично съязвил, что его отсутствие большой дыры в петербургском пейзаже не сделает. Действительно, не сделало — Бродский принадлежал к той породе титулованных небожителей, что всегда вылезают, выпячиваются из породивших их ландшафтов, как из смиренных сорочек, поэтому у них все ландшафты подозрительно похожи друг на друга. Василий относился к иной, куда менее эгоцентричной касте ревнителей (говоря более современным языком, шоу-мэйкеров) петербургского ландшафта, его мифологии и лабиринтообразной топики, поэтому та прореха, то зиянье, которое образовалось после его исчезновения из этого ландшафта, едва ли быстро срастётся, едва ли будет залатано какими-нибудь арахнами или изидами. Раскручиваемый Василием (и вокруг него) ландшафт был далеко не однородным, монолитным телом, скорее полиморфным гибридом петербургско-европейской культуры. Для Василия петербургский ландшафт — это и местные закоулки, дворики и крыши, будто татуированные и овеществлённые прозой столь ценимых им Кузмина и Вагинова. Но это и семирамидины виллы наслаждений, заимствованные из Мандиарга, или южноитальянские, пропитанные муссолиниевским цезаризмом, каменоломни Де Кирико (обоих авторов Василий штудировал, переводил и пропагандировал). Подобно Неизвестному поэту или «установившемуся автору», alter ego Вагинова из «Козлиной песни», Василий, зачитывая вслух на людных междусобойчиках цитаты из книжки по-французски или по-английски, беспрестанно занимался «перебежками из одной культуры в другую» (недаром публичное появление Василия в его последний вечер было встречено дружным возгласом: «А, пришёл Неизвестный поэт!»). Кажется, к пробежкам по культурному ландшафту была

приспособлена вся его пластика, особенно походка — двигался он, привставая на цыпочки, словно готовясь спланировать со страшной, неизречённой высоты, будто преодолевая тягу культурной левитации и одновременно подчиняясь ей. Подчинился.

Многие жизненные, любовные и особенно литературные эксперименты Василия были намеренно, продуманно и пунктуально стилизованы под амплуа «проклятого поэта». В период всеобщего культивирования респектабельности и импозантной чёрствости его ошарашивающая, расхристанная «проклятость» даже близким знакомым казалась иногда старомодным трюизмом и эстетизированной причудой. Сейчас понятно, что занимать отвергнутую всеми вакантную нишу «проклятости» (до самого финала) его заставлял не индивидуалистический каприз, а непреодолимая декадансность внутренней речи. Василий обладал смелостью сделать из себя декадента в эпоху, когда декаданс не только третируется модной фешенебельной публикой, но и вообще списывается с культурных счетов как рудимент столетней давности. Но нащупанная Василием жилка декадансного поведения и письма — вовсе не наследие русского угарного декаденса, сводящегося к пощипыванию исподтишка пунцовеющих литературных барышень или употреблению из-под полы дрянного кокаина в дешёвом, бордельного пошиба, ресторанчике. Электризирующий его прозу (особенно книгу «Прогулки») декадансный импульс почерпнут из уроков, преподнесённых в его франкофильскую юность книгами Лафорга, Аполлинера, Бретона, Мандиарга и т. п. — уроками ужаса и благолепия перед отшлифованной, андрогинной машиной письма, перед ее перемальвающей всё и вся работой на износ и на кон. Фатум настоящего декадента, каковым и был Василий, — низвергаться в её жернова, зондируя там разрыв между спиритуальной лёгкостью, невесомостью внутренней речи

и тяжеловесной монотонностью языковых механизмов и агрегатов. Проза Василя — полигонный образец того, как запущенная на полные обороты машина письма съедает саму себя, а заодно и фигуру пишущего. И съела. Не так, как блоковская чушка своего поросенка, а так, как европейский технизированный андроид своего конструктора. То есть целиком. Проза Василя — (авто)прогулки по ландшафту европейской культуры в намеренно испорченной, с отключённой системой тормозов, машине письма.

Я несколько не фаталист, написал Михаил Кузмин, один из путеводных для Василя и не только для него. Но уверен, что все уходы. Нам предписывает. Судьба. Уход Василя также предписан исключительно судьбой, точнее, литературой, раз он уж выбрал её в качестве судьбы, пусть сейчас и не сулящей сиюминутные лавры. Свойственное Василию математически выверенное следование внутренним предписаниям и позволило ему осуществить хармсовское падение в небеса сквозь створки вменённого русским литератором лестничного пролёта им. Гаршина. Осуществить впадение в литературу, опережая жизнь.

Первая публикация: в журнале «На дне» (Санкт-Петербург), октябрь 1999, № 20 (73).

Михаил ЛАПТЕВ (ДЗАЛАЕВ)
(1960 — 1994)

Родился в Москве. Учился на историческом факультете Московского областного педагогического института. Стихи печатались с 1989 года в журналах «Юность», «Новый Мир», «Дружба народов», газете «Гуманитарный фонд». Автор книг «Корни огня» (М.: ЛИА Р. Элинина, 1994), «Тяжёлая слепая птица» (М.: Крымский клуб, 2012; посмертно). В 1992 году вместе с Андреем Поляковым и Игорем Сидом создал московско-крымскую литературную группу «Полуостров». Посмертно стихи печатались в журналах «Арион», «Воздух», в антологиях «Строфы века», «Самиздат века», «Русские стихи 1950–2000».



СТРАШЕН ГОРОД КИТЕЖ

* * *

Я с вами говорю из ада,
там, где не выпьешь на троих.
Вы не забыли глаз моих
и моего больного взгляда?

Отсюда чуть видна Земля
по телевизору цветному.

Здесь не передают рекламу —
здесь начинают всё с нуля, —

с огня, с пещеры, с колеса,
со стула, что собственноручно
сколотит гвардии поручик
тебе в укор за полчаса.

И ещё надо доказать
свои права на первородство,
и отступает благородство,
и ещё надо доказать.

* * *

Муравьиный полк погибал в горах,
где титана смутно глыбился пах.
Муравьиный полк, муравьиный полк,
пол-версты — полёт — автоматный щёлк.
Муравьиный полк загнан, словно волк,
в царство злых камней, в миномётный шёлк.
Полоумный полк расставлял посты,
и вблизи от мин он сажал цветы.
И в палатке каждому муравью
снилась самка с лапками восемью...

* * *

Тяжёлая слепая птица
назад, в язычество летит,
и мир асфальтовый ей снится,
и Гегель, набранный в петит.

Молчанье жирное зевает.
Она летит, в себе храня
густую память каравая
и корни чёрные огня.

Она летит над лесом топким
воспоминания и сна,
летит из черепной коробки
осиротелого пшена.

Она летит из подсознания
в глухой берёзовый восход,
и изморосью расставанья
от крыльев глиняных несёт.

* * *

Страшен был город Китеж,
когда из воды поднялся.
Всё сгнило и почернело,
отдаёт болотную тиной.
К клетям пристали коряги,
утопленник с вздувшейся мордой,
и извиваются щуки
во светлых храмах Господних.
Я опускаю руки: не мне этот город чистить,
не я его и придумал,
не я его и топил.

* * *

Струились женщины, горели зеркала,
и воздух весь заполнен был смычками,
и букву «ять» богиня родила,
тяжёлую и влажную, как камень.

И отбыл я на некую звезду,
с собою взяв, словно в больницу, всё своё.
Христос с моей душой беседовал в саду
и удивлялся угловатости её.

И было небо птицами покрыто,
тревожно улетающими на юг,
и в древний мир, теснившийся вокруг,
Батыев конь впечатывал копыто.

* * *

Мне обрубили руки
и врыли ногами в землю,
щёки пробили гвоздями
и застеклили раны.

И я стою неподвижно,
и я стою так спокойно!
и только дрожу ночами,
пытаясь взлететь к луне.

И кто-то идёт по карнизу,
счастливый и невесомый,
прижимаясь всем телом
дрожащим ко мне, ко мне.

Но стоит взойти солнцу,
я вновь становлюсь одиноким,
и только кровельщик пьяный
лезет по мне, сопя.

* * *

День догорал... Кряхтели пустыри,
брехали псы. Все было ненадёжно.
Как мне писалось в этот странный вечер —
рублей на восемь за ночь нагорело!
Я выключил тогда торшер и бра
и подошел к окну. И увидал
Россию.
И проводы гуляли за окном,
и ночь впадала в Кунцево дождём,
и страшный, страшный, страшный Млечный Путь
предупреждал...

* * *

На чёрта, говорю, эта страстная ярость двуперстыя,
чёрных платов угрюмость, Третий Рим, ледяная пурга?
Мне б залечь на печи, порости лишаями и шерстью,
только без дураков, засапожных ножей — на фига?
Этот вопль... Мне на голову словно обрушилась тонна.
Эта гниль подворотен, ужасающий русский бардак.
Чернокрылая мысль отделяется плавно от тела
и, взлетая, парит над вечернею страшной Москвой.
Я — пришелец с миров, где пространство
восьмёркой закручено.
И когда меня Бог перенёс через холод и тьму,

я очнулся в траве, шебуршавшей, как будто уключины
над осокою озера — и понял тогда, почему.
Стало ясно всё вдруг — и от боли виски заломило,
и сверлом обжигающим мне через череп прошло.
А потом пала мгла. И так мило мне стало на свете,
что с морозной звезды донести тебе правду могу.
Мне легка эта ноша. Но если глагол исступленья
на широкие площади вырвется в треске пальбы,
буду биться я лбом о щербатые эти ступени,
по которым проносят щелястые эти гробы.
А когда успокоится всё, и отделит архангел
всех овец от козлищ, и над городом сникнут дымы,
я спрошу себя: что делал я в этот вечер воскресный?
И отвечу спокойно: я писал. О, я только писал.

* * *

В позвонках усталого Кавказа,
в Грузии — в его спинном мозгу
я усну, как греческая ваза,
согнутый в ужасную дугу.

Не взывай: за что же, мол, боролись,
лучше-ка отколоти слугу.
Напоролись мы на электролиз.
Это больно. Больше не могу.

* * *

А на Пасху выпал снег.
Было всё бело и спело.
И, сырой и угорелый,
город поднял нас на смех.
Город тыкал пальцем в нас,
он дурачился, кривлялся.
Я, когда Христос смеялся,
на Него не поднял глаз.
Я Его не распинал.
Но, подобно фарисею,
благодарен быть не смею,
что Его не продавал.
Шел последний, чёрный снег,
и равнял он всех со всеми.
Писаны об этой теме
томы всех библиотек.
Только ветер, и ничто
больше, был при интересе.
Он кричал: «Христос воскрес!»
и срывал с людей пальто.
И широкая заря
занялась на всю седмицу,
и толпа во храм стремится,
и воскресла вся Земля.
И молился я со всеми,
многогрешный и дурной,
и Христос в высоком шлеме
восставал передо мной.

Людмила ВЯЗМИТИНОВА

СМЫСЛ, ИСТИНА, БОГ

Мне не довелось лично знать Михаила Лаптева, хотя, казалось бы, к тому были все основания: с ним очень тесно общались мои сотоварищи по лито «Сретенский бульвар», которое затем плавно перетекло в «Гуманитарный фонд им. А. С. Пушкина». Время было незабываемое: конец 80-х — начало 90-х XX века, шла смена эпох, начавшийся информационный бум постоянно приносил новые имена, так называемые забытые и бывшие запрещёнными или полузапрещёнными. Откуда-то постоянно появлялись излучающие энтузиазм и уверенность в счастливых переменах очень одарённые люди, писались новые тексты, возникали идеи и проекты.

Крутясь в этом калейдоскопе, я всё говорила себе: вот на этих днях надо съездить, наконец, к Мише Лаптеву, о котором твердят Андрей Урицкий и Игорь Сид, а когда действительно собралась и уже договорилась ехать, пришло известие о его смерти. Так и разминулась я с этим человеком, о чём теперь горько сожалею. Но остались его стихи, которые с тех пор вошли в мою жизнь. Спасибо Андрею Урицкому и Игорю Сиду: Андрей стал хранителем архива Михаила Лаптева и фактически первым «лаптеведом», а Игорь — организатором издания его книг.

Андрей Урицкий рассказывал мне, что Миша Лаптев жил в хрущёвской пятиэтажке, в небольшой двухкомнатной квартире, которую делил с мамой и тремя собаками. Жил бедно и одиноко, полностью сосредоточившись на

© Людмила Вязмитинова, 2016

поэзии, но постоянно приглашал к себе всех желающих на стандартные для того времени литературные посиделки: пили чай, курили и читали свои и чужие стихи. Стихи начал писать с детства, и писал очень много: оставшийся после него архив оказался огромным. Умер он от прободения язвы, что неудивительно при плохом питании, неумеренном курении, постоянном приёме лекарств из-за нервного заболевания и характерном для поэтов обострённом восприятии несовершенства окружающего мира.

Как и большинство его ровесников, творчество которых не вписывалось в официальную советскую литературу, публиковаться Лаптев начал с 1989 года (журналы «Юность», «Новый мир», «Дружба народов», альманах «Поэзия», газета «Гуманитарный фонд» и др.), а в 1994 году вышла его первая книга — «Корни огня» (М.: Издательская квартира Андрея Белашкина, Маленькое издательство). Она открыла собой основанную Русланом Элининым (в этой книге он указан ещё как Руслан Нурудинов) серию «Классики XXI века», и её художественным редактором значится Андрей Урицкий. Презентация этой книги прошла уже после смерти автора в Литературном музее на Петровке 29 марта 1995 года в рамках поэтического вечера члена литгруппы «Полуостров». Эта много лет возглавляемая Игорем Сидом группа была основана Михаилом Лаптевым в 1992 году, и он же является автором её названия.

Михаил Лаптев относится к так называемым «авторам 90-х». Эти авторы заявили о себе на рубеже 80–90-х прошлого века, а их первые книги стали появляться с середины 90-х этого века. Они проделали огромную работу по осмыслению того, что было сделано в русской поэзии, по крайней мере, за XIX и XX века, в ходе чего каждый из них пришел к собственной, очень личностной поэтике. На этом фоне отличительная особенность творчества Лаптева —

серьёзность, временами производящая впечатление излишне тяжёлой, и тем более удивительная в тогдашней атмосфере, казалось бы, вездесущей иронии. А когда ирония всё-таки появляется в его текстах, то в таком мрачном виде, что чуть ли не смыкается все с той же тяжёлой серьёзностью.

Его тексты — визионерские, пронизанные глубокой, на грани переносимости, болью за всё сущее, — по словам Андрея Урицкого, *«населены таинственными монстрами, порождёнными безрадостной действительностью и подсознанием поэта»*. Создаваемые им образы, с одной стороны, зачастую могут быть названы сюрреалистическими, а с другой, в них проглядывают легко узнаваемые реалии видимого всем мира. Будучи, как и его мать, работающая библиотекарем, абсолютно книжным человеком, как и она, тратя последние гроши на книги, а не на еду и предметы самой первой необходимости, Лаптев был крайне чувствителен к идущим в социуме процессам. Его зрение поэта позволяло ему видеть то, что было скрыто от глаз остальных, и проникающая способность этого зрения очень велика.

Урицкий пишет, что Лаптев шёл к своей поэтике через подражание любимым поэтам, список которых открывается Блоком и Мандельштамом, включает в себя Хлебникова и Маяковского, Введенского и Вагинова и длится вплоть до Ерёменко и Бродского. Отмечает Урицкий и буквально влюблённость в «Слово о полку...», равно как и знание истории (Лаптев учился на историческом факультете пединститута). Но в качестве главного он обозначил его способность к удивительно личностному отношению ко всему сущему, базирующуюся на *«трагическом мироощущении и страстном поиске смысла, истины, Бога»*. Сам же Лаптев в разные периоды именовал свои поиски «сюр-акмеизмом», «дискрет-акмеизмом» и тому подобным, причём разобраться, что это значило, было практически невозможно.

Время «90-х» стало достоянием истории, мир изменился, а лучшие из «авторов 90-х» ныне — признанные мастера, выросло и серьёзно заявляет о себе следующее поколение. И понятно, что восприятие творчества Михаила Лаптева меняется. Безусловно, многие его тексты останутся на уровне экспериментаторских поисков времени, что интересно само по себе. Но из общей массы текстов постепенно выделяются как несущие в себе отсвет того, что неподвластно атрибутам времени, так и содержащие, возможно, элементы той эстетики, которая ещё только грядёт.

Денис НОВИКОВ
(1967 — 2004)

Родился и жил в Москве. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Участник группы «Альманах». Несколько лет провёл в Англии и Израиле. Стихи публиковались в журналах «Театральная жизнь», «Огонёк», «Юность», «Арион», «Новый мир», «Знамя». Выпустил четыре книги стихов. Послесловие ко второй книге Новикова, сборнику «Окно в январе» (1995), написал Иосиф Бродский. В последние годы резко порвал с литературным кругом, практически не печатался. Умер в Беэр-Шева (Израиль). Посмертно вышла книга избранных стихотворений «Виза» (М.: «Воймега», 2007).



ПРИЗРАК ВО ПЛОТИ

РОССИЯ

плат узорный до бровей
А. Блок

Ты белые руки сложила крестом,
лицо до бровей под зелёным хрустом,
ни плата тебе, ни косынки —
бейсбольная кепка в посылке.

Износится кепка — пришлют паранджу,
за так, по-соседски. И что я скажу,
как сын, устыдившийся срама:
«Ну вот и приехали, мама».

Мы ехали шагом, мы мчались в боях,
мы ровно полмира держали в зубах,
мы, выше чернил и бумаги,
писали своё на рейхстаге.
Своё — это грех, нищета, кабала.
Но чем ты была и зачем ты была,
яснее, часть мира шестая,
вот эти скрижали листовая.

Последний рассудок первач помрачал.
Ругали, таскали тебя по врачам,
но ты выгрызала торпеду
и снова пила за Победу.
Дозволь же и мне опрокинуть до дна,
теперь не шестая, а просто одна.
А значит, без громкого тоста,
без иста, без веста, без оста.

Присядем на камень, пугая ворон.
Ворон за ворон не считая, урон
державным своим эпатажем
ужо нанесём — и завяжем.

Подумаем лучше о наших делах:
налево — Маммона, направо — Аллах.
Нас кличут почившими в бозе,
и девки хохочут в обозе.
Поедешь налево — умрёшь от огня.
Поедешь направо — утопишь коня.

Туман расстилается прямо.
Поехали по небу, мама.

* * *

Будь со мной до конца,
будь со мною до самого, крайнего.
И уже мертвеца,
всё равно, не бросай меня.

Положи меня спать
под сосной зеленой стилизованной.
Прикажи закопать
в этой только тобой не целованной.

Я кричу — подожди,
я остался без роду, без имени.
Одного не клади,
одного никогда не клади меня.

ОДНОЙ СЕМЬЕ

В Новодевичьем монастыре,
где надгробия витиеваты,
где лежат генералы тире
лейтенанты.
Там, где ищет могилу Хруща
экскурсантов колонна,
вы, давно ничего не ища,
почиваете скромно.
Ваши лавры достались плющу,
деревенской крапиве.
Вы простили, а я не прощу
и в могиле.

Я сведу их с ума, судия,
экскурсанта, туриста.
А Хрущёв будет думать, что я
Монте-Кристо.

ТЫ ПОМНИШЬ КВАРТИРУ...

Ты помнишь квартиру, по-нашему — флэт,
где женщиной стала герла?
Так вот, моя радость, теперь её нет,
она умерла, умерла.

Она отошла к утюгам-челнокам,
как в силу известных причин,
фамильные метры отходят к рукам
ворвавшихся в крепость мужчин.

Ты помнишь квартиру: прожектор луны,
и мы, как в Босфоре, плывём,
и мы уплываем из нашей страны
навек, по-собачьи, вдвоём?

Ещё мы увидим всех турок земли...
Ты помнишь ли ту простоту,
с какой потеряли и вновь навели
к приезду родных чистоту?

Когда-то мы были хозяева тут,
но всё нам казалось не то:
и май не любили за то, что он труд,
и мир уж не помню за что.

* * *

Напрягая усталые фибры,
я спрошу министерство путей:
это правда, что все они гиблы,
как мы только узнали теперь?
Почему нам опять не сказали,
что не ходят туда поезда,
что стоят поезда на вокзале,
вообще не идут никуда.
Отъезжающих и провожатых
застилают дыханья клубы,
вырываясь из тёплых, разжатых,
не смягчивших гранитной трубы.

* * *

Любой из полевых цветов —
не только василёк —
любой предать тебя готов
за жизнь и кошелёк.
Травинка, жёлудь и листок,
и ягода, и гриб
открыли б Западу Восток,
когда б они могли б.

* * *

Поднимется безжалостная ртуть,
забьётся в тесном градуснике жар.
И градусов тех некому стряхнуть.
На месте ртути я бы продолжал.

Стеклянный купол — это не предел.
Больной бессилён, сковано плечо.
На месте ртути я б не охладел,
а стал ковать, покуда горячо.

* * *

Г.И.

Все сложнее, а эхо все *проще*,
проще, будто бы сойка поёт,
отвечает, выводит из рожи
это эхо, а эхо не врёт.
Что нам жизни и смерти чужие?
Не пора ли глаза утереть.
Что — Россия? Мы сами большие.
Нам самим предстоит умереть.

* * *

Я только заполняю паузу.
Не оборачивай лица,
не прекращай внезапно трапезу
для ресторанного певца.
Кого тебе напомнил внешне я —
от сотрапезника таи,
не то верну порядки прежние
и годы вешние твои.

* * *

Так знай, я призрак во плоти,
я в клеточку тетрадь,
ты можешь сквозь меня пройти,
но берегись застрять.

Там много душ ревёт ревмя
и рвётся из огня,
а тоже думали — брехня.
И шли через меня.

И знай, что я не душегуб,
но жатва и страда,
страданья перегонный куб
туда-сюда.

Виктор КУЛЛЭ

МАЛЬЧИШЕСКАЯ ДРУЖБА НЕРАЗМЕННА

(штрихи к портрету Дениса Новикова)

Впочитай уже незапамятном 95-м Денис ткнул мне под нос два листика машинописи: «Глянь, есть тут что-то обо мне?» То было предисловие Бродского к ещё не опубликованной его книге «Окно в январе». Книга выходила в легендарном издательстве «Эрмитаж», у Игоря Ефимова, с предисловием Нобелевского лауреата — о чем еще мог мечтать автор, которому и тридцатника не стукнуло? Деню волновало иное: «Он меня все-таки прочитал?» Т.е. я, как «бродсковед» (об ту пору как раз закончивший работу над диссертацией о И. Б.), должен был вычленил из общих соображений Иосифа Александровича о «поэте как орудии языка» и «частной персоне» какие-то следы прочтения собственно Денисовых стихов. Именно это его волновало в первую очередь — желание быть услышанным.

Я честно нашёл в предисловии искомое, честно указал и на общие места, резонирующие со многими эссе и интервью живого классика. Но виновник торжества всё одно был безмерно рад — его прочитали, его услышали. При последующей совместной читке драгоценного предисловия я радостно зацепился за фразу: «За скобками звучит речь человека не слишком весёлого, но свободного. Свободного прежде всего от надежды на успех и от ощущения значительности своей роли поэта».

© Виктор Куллэ, 2016

Денис ответил характерной ухмылкой: «Ну, тут Акелла промахнулся».

Думаю, осознание собственной значимости, значительности пришло к нему совсем рано. Другое дело, что литературный этикет того литературного содружества, в котором он формировался, не позволял выставлять это знание напоказ, тем паче — им бравировать. Денису этого, собственно, и не требовалось — он и без того являлся едва ли не главной литературной надеждой 80–90-х. Его взмах приветствовал Евтушенко, а первая книжка в «Молодой гвардии» вышла тогда, когда большинство коллег по литературному подполью ни о чём подобном даже не помышляли. Его, совсем ещё начинающего, на равных восприняли, приняли в дружеский круг лучшие из лучших стихотворцев того времени: Гандлевский, Кибилов, Айзенберг. Впоследствии всё это переросло в легендарный театр поэтов «Альманах» и не менее легендарный альманах «Личное дело». И, наконец, за время своих английских вояжей он познакомился с Бродским, и не просто познакомился — имел возможность довольно коротко с ним общаться. Бродский же об ту пору являлся наивысшей инстанцией — как пошутил на одном из вечеров Дима Быков, «за право небрежно вернуть при беседе: “И тут Иосиф мне говорит...” — любой продал бы если не душу, то, как минимум, почку» (цитирую по памяти).

Всего этого, как ни странно, Денису было мало. Он, как всякий пишущий стихи, был простодушно тщеславен, по-детски радовался каким-то внешним приметам успешливости — но главным его желанием было, повторяюсь, одно: стать услышанным. Услышанным и понятным именно здесь и сейчас, хотя это и противоречило изначально принятым на нашем литературном пятачке правилам игры. Помню, в какой-то литкритической статье о Денисе отзывались как о «метрическом плагиаторе» —

и, вдобавок, «пассеисте». Я его, разобиженного, всячески утешал теми соображениями, что «пассеист» можно считать комплиментом, и вообще тебя-то вон всё-таки печатают, о тебе пишут, а все прочие где? — бесполезно. Призвав, наконец, на помощь чувство юмора, наш герой кое-как успокоился, но еще минимум полгода представлялся, расшаркиваясь, окружающим: «Денис Новиков, метрический плагиатор, пассаист».

И это при том, что в быту Деня старательно культивировал «мальчуковые» ценности: кураж, крутизну, бесшабашность, победительность, неуязвимость.

В стихах же он врать не умел, да и не стремился — редчайшая драгоценная черта, сразу же выделявшая его из множества взявшихся за перо. Что греха таить: в наши времена смолоду всяк, начинавший словесные излияния столбиком и в рифму, стремился как-то себя любимого, приукрасить, укрупнить и возвысить, «интересничал» — это было любимое словцо Дениса. Сам он в жизни интересничал самозабвенно, в стихах — практически никогда:

*Двенадцать часов. Место встречи — площадка за клубом.
Пожатия рук и ленивый обмен новостями.
Промокшая тумба отброшена выбитым зубом,
оставленным здесь не курящими «Приму» гостями.
Я с детства боюсь, только страх свой всё меньше скрываю,
и вправду, ну что я могу против местных — приезжий...*

Эти стихи восемнадцатилетнего Новикова имеют посвящение «Т. З.». Для грядущих толкователей расшифрую, что под инициалами скрывается Тимур Запов — он же Тимур Кибиров, значивший для вступавшего в литературу Дениса чрезвычайно много. Позже, сам познакомившись с Тимуром, я научился распознавать во многих литературных суждениях Дениса следы strong opinions Кибирова. Тем

больнее и, подозреваю, катастрофичнее для судьбы Дениса оказался последующий разрыв с тем кругом старших товарищей по цеху, без которых сам он вряд ли смог бы состояться. Впрочем, я забегаю вперёд.

Итак, на дворе конец 80-х. Денис — красивый, двадцатидвухлетний — восходящая литинститутская звезда. В него влюблена большая часть окружающих поэтесс. Он на голову эрудированнее всех нас в области эмигрантской и просто неподцензурной литературы — я, например, будучи на пять лет его старше, со стихами Лосева, Кенжеева, Цветкова и ещё многих замечательных поэтов познакомился впервые именно через Дениса. Главная подкупающая в нём при общении черта — искренность, органичность жеста и высказывания. Другое дело, что и высказывания, и поступки бывали неимоверно резки, порой запредельно жестоки. Будучи профессиональным котом Леопольдом, я, помнится, пытался поначалу сглаживать какие-то его фортели, но, главное, пытался понять: отчего так? То, что за этим не стоит стремления к эпатажу, я понял довольно скоро. В толстокожести Дениса также никак нельзя было заподозрить — он, как всякий подлинный стихотворец, обладал даром влезать в шкуру чужой боли. Позже до меня дошло, что влезал он в эту шкуру отнюдь не с целью сопереживания — чужая боль была попросту необходимой пищей для писания стихов. Как, впрочем, и своя собственная. Годы спустя Деня сказал об этом в одном из лучших своих стихотворений:

*Так знай, я призрак во плоти,
я в клеточку тетрадь,
ты можешь сквозь меня пройти,
но берегись застрять.
Там много душ ревет ревя
и рвётся из огня,*

*а тоже думали — брехня.
И шли через меня.
И знай, что я не душегуб,
но жатва и страда,
страданья перегонный куб
туда-сюда.*

А тогда, в 89-м, в моей 414-й комнате общаги Литинститута у нас, помнится, состоялся разговор по душам. Сначала он отшучивался обиходными цитатами навроде: «Поэт должен быть имморален» и «Чистенькими нас всяк полюбит», — потом, посерьёзнев, подытожил: «Знаешь, старик, вообще-то я уверен, что за стихи все простится».

Тема была закрыта, спорить бесполезно. Оставалось хряпнуть беленькой и, обнявшись, в тысяча первый раз распевать наш суверенный застольный гимн: «Мальчишеская дружба неразменна».

Спустя пару дней после этого разговора Денис предъявил как последний и неопровержимый аргумент стихи, которые я сейчас считаю великими:

*Только слово, которого нет на земле,
и вот эту любовь, и вот ту, и меня,
и зачатых в любви, и живущих во зле
оправдает. Последнее слово. К суду
обращаются частные лица Твои,
по колено в Тобой сотворённом аду
и по горло в Тобой сотворённой любви.*

С таким аргументом, понятно, спорить уже невозможно. Всякое морализаторство выглядело занудным и смехотворным. Годы спустя я понял, что если искать Денису прототип из числа великих предшественников, то им будет

отнюдь не Мандельштам и не Георгий Иванов, которых сам он почитал за образец, — но, скорее, как ни странно это прозвучит, Цветаева. Приведу поразившие меня строки из письма Сергея Эфрона Волошину: *«Марина — человек страстей... Отдаваться с головой своему урагану для неё стало необходимостью, воздухом её жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас — неважно... Почти всегда... всё строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, и через день снова отчаяние. И всё это при зорком, почти холодном уме... Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова».*

Вот он — *«страданья перегонный куб»*, о котором писал Денис. Он находил оправдание своей беспощадности к окружающим в беспощадности к себе самому — со временем это привело к разрыву чисто человеческих отношений едва ли не со всеми дорогими его сердцу литераторами. То есть, прежде всего, с тем кругом общения, которому его стихи были в первую очередь адресованы. И тогда Денис очутился в вакууме. Строго говоря, за что боролся — на то и напоролся. Именно в подобном вакууме создавалось всё наиболее драгоценное в нашей поэзии минувшего века, именно о нём писал Бродский в *«Осеннем крике ястреба»*. Таким же запредельным, ледяным отчаянием веет от *«Самопала»*, последней книги Дениса, и ещё более — от совсем последних стихов, в книгу уже не вошедших:

*Поднимется безжалостная ртуть,
забьётся в тесном градуснике жар.
И градусов тех некому потряхнуть.
На месте ртути я бы продолжал.
Стеклянный купол — это не предел.
Больной бессилён, сковано плечо.*

*На месте ртути я б не охладел,
а стал ковать, куда горячо.*

Эксперимент, который он проделывал над самим собой, был доведён до логического конца в тот момент, когда Денис отказался от стихов. Я к тому времени с ним уже не общался, но мне передавали его слова: *«Стихи никому не нужны, их никто не слышит. Нет больше такого поэта Дениса Новикова, в новом веке я не написал ни строчки».*

Не знаю, правда ли этот жест был сознательным — или просто у Дениса не хватило сил для следующего рывка, не хватило воли пережить естественный период немоты и аккумуляции энергии отчаянья. Теперь это уже не имеет значения. Он в очередной раз предпринял попытку круто изменить жизнь, а получилось — ушёл из жизни.

Теперь, слава Богу, вышла книга, в которой собрано практически всё им написанное («Виза», М.: «Воймега», 2007). Денис занял законное место не только на книжной полке, но и в истории нашей поэзии минувшего века, с которой был связан единой кровеносной системой. Вступить в новое тысячелетие он как поэт отказался — так что давний упрёк в пассивизме, столь когда-то Дениса обидевший, был не столь уж несправедлив. Со временем можно станет отстраниться от воспоминаний и бесстрастно препарировать его стихи — пока у меня не получается. Скажу одно: при всей сложности личных отношений Денис был и остаётся для меня одним из самых искренних и бескомпромиссных поэтов нашего времени. До конца воплотившим жизнь в сказанное слово и исхитрившимся прожить её конгениально собственным стихам — куда там смехотворным на его фоне теоретикам и практикам «новой искренности».

Манук Жажоян, Андрюша Туркин, Денис Новиков — мартиролог моего поколения, ухнувшего в щель ватной

глухоты на переломе двух эпох. На моём экземпляре «Латинского квартала» — сборника, где мы с ним под одной обложкой, — рукой Дениса написано: «*Витя, я ещё не умер*». Для меня он и вправду не умер — скорее с ним произошло нечто подобное тому, что происходит в известных стихах Бродского: уехал в Австралию. Вот и Денис уехал в Израиль. Всё чаще я ловлю себя на том, сколь много его стихов живёт во мне суверенной жизнью. Помогая выживать нам, оставшимся:

*Учись естественности фразы
у леса русского, братан,
пока тиран куёт указы.
Храни тебя твой Мандельштам.
Валы ревучи, грозны тучи,
и люди тоже таковы.
Но нет во всей вселенной круче,
чем царскосельские, братвы.*

Я слышу тебя, Денис. Мальчишеская дружба
неразменна...

Первая публикация: в журнале «Арион», 2007, № 4.

Ольга ПОДЪЁМЩИКОВА
(1961 — 2000)

Родилась в Туле. Окончила филологический факультет Тульского государственного педагогического института им. Л. Н. Толстого. Работала экскурсоводом в Ясной Поляне, журналистом в тульских газетах «Коммунар», «Молодой коммунар», спецкором РИА-Новости, ведущей на телевидении, в пресс-службе губернатора Тульской области, создала и была главным редактором православного журнала «Тульские епархиальные ведомости».



Трагически погибла под Тулой. После гибели друзья издали книгу стихов «...Вернись мне отблеском мгновенным» (Тула, 2001). Посмертно стихи и проза опубликованы в журналах «Новый мир», «Сибирские огни», «Дети Ра», «Зинзивер», «Литература», альманахе «Тула», антологиях «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!..», «Крымские страницы русской поэзии» и др. изданиях.

У РАЯ НА КРАЮ

* * *

Море белыми барашками —
вновь тревога рыбаку.
Я в косыночке ромашковой
поднимаюсь к маяку.

Собираются все девушки
милых ждать у маяка,
ну а я встречаю дедушку —
деда, грека — рыбака.

Море Чёрное — зелёное,
и со склона босиком
детство, рыжее, солёное,
покатилось кувырком

прямо к морю, прямо к бережку,
смотрят девушки с тоской,
как причаливает дедушка —
волк отчаянный морской.

Он ещё не знает старости,
прочны сети, стать вольна,
и кидается от ярости
в ноги дедушке волна.

Как рыбачка, знаю море я,
поимённо — корабли.
И, доплыв до акватории,
добираюсь до земли.

Я от рук отбилась начисто,
на спор бухту переплыв,
по скале отвесной метров ста
забираюсь на обрыв.

Я не знаю слёз, и белым днем
мне невзгоды не страшны,
просто я девчонка с Северной,
что за бухтой, стороны.

Пусть поглядывают девушки,
милых ждут у маяка,
ну а я встречаю дедушку —
деда, грека — рыбака.

1978

ВОЛКОНСКАЯ

Здесь проложен уже санный путь —
не ты первая.
Точно баба какая-нибудь,
мужу верная.

Вороной упряжкой несётся мгла,
вьюга гривою...
В Петербурге с ним, говоришь, была
несчастливою?

Здесь жестка земля, здесь жестока жизнь —
сгинешь ты.
Знать уже судьба, ты смотри держись,
княгинюшка.

Жаль, в твоих санях больше места нет —
мне б в попутчицы.
Слово доброе прокричать вослед
не получится.

Будь ему женой, будь ему сестрой,
будь служанкою...
Назовут дурной, назовут святой,
каторжанкою.

Спит в кроватке сын, ему снишься ты,
светлая.
А вокруг леса, вдоль пути кресты,
вьюга с ветрами,
скрип тележный да вой волков,
стук подков, лязг оков...

Полтора столетия пролетели —
ты во тьме кружишь по метели.

1984

* * *

Огни кораблей и бессонница, запахи моря.
Хромая, спустился закат по спине Аю-Дага
туда, где скитаются души, с забвением споря,
где сказано всё, что не знают перо и бумага.

Огни кораблей — вы глаза моей давней печали.
Души властелины — кому вы мигаете странно?
Вдыхаю, как пёс, этот воздух ночной на причале,
скитаюсь без дома, без пристани и — беспрестанно.

Волна по-собачьи крадется лизнуть тебе руку.
Огни кораблей — будто звёзд умирающих пламя.
И всё, что люблю в этой жизни, — ветра, и разлуку,
и запах прибоя, и тёмную рябь под ногами.

1994

* * *

Заколки из прически выну —
и рухнет золота обвал.
Стихия, чуждая мне, — рынок,
стихия родственная — бал.

Не утруждаясь ношей лишней,
иду — походка всё легка.
Стихия родственная — личность.
Стихия чуждая — толпа.

И, позабыв бывшее горе,
я вглядываюсь в глубь небес.
Стихия, чуждая мне, — город.
Стихия родственная — лес.

Непостоянная, как детство,
на груз веков махну рукой.
Стихия родственная — бегство,
стихия чуждая — покой.

Там, где злодейство, лицедейство
творят привычную им месть,
стихия чуждая — лакейство,
стихия родственная — честь.

И среди смуты и разлада,
как ни суди и ни злословь,
мною правят искренность, и радость,
и предков солнечная кровь.

1995

* * *

А. К.

Не смущайся своей нелюбовью — в ней столько тепла,
будто я птичье лёгкое тело в ладони взяла.
И разлука — как праздник. Светло и безгрешно любя,
к людям, к Богу, к другим — навсегда отпускаю тебя.

Не смущайся своей нелюбовью — я счастлива в ней.
В ней светла тишина, ночь нежна и закаты длинней.
Я дарю тебе этот покой и свободу — до звёзд.
Будет счастлива та, для которой ты ясен и прост.

Не смотри же мне вслед, не смущайся и радость не прячь.
Обожгусь о твой взгляд — как ты холоден, как ты горяч.
Весть благу услышь — что светло и безгрешно любя,
в эту высь, в эту жизнь навсегда отпускаю тебя.

1995, Благовещение

* * *

В Крыму или, может, — в раю (в стране, омываемой ветром),
и песни ночами пою, и в горы взбегаю с рассветом.
К тебе, о возлюбленный мой... — «Песнь песней»
в конвертике тлеет,
я тот виноградник зимой спасаю, храню и лелею.
Тебя, прислонившись к окну, веками,
как Сольвейг, встречаю.
Единственный, только одну жду шхуну ночами к причалу.
Базилик, фонтанов, дворцов горячие камни — я дома!
Я помню коварных юнцов в глухих переулках Содомы.

Любимый, сквозь тяготы дней, сквозь волны,
сквозь вёрсты —
искала.

Южнее, нежнее, странней... И шляпка бросалась на скалы.
Безгрешная нежность молитв. (В плечо твоё тихо уткнулась).
Лавины проигранных битв. Моя запоздалая
юность.

1998

Андрей КОРОВИН

ПОСЛЕДНЯЯ ДЕКАБРИСТКА

Имя Ольги Подъёмщиковой, к сожалению, мало что говорит российским любителям поэзии. Это и понятно. Прожившая очень короткую, но яркую жизнь, она опубликовала при жизни всего 58 стихотворений, причём исключительно в местной прессе. Её книга стихов «...Явись мне отблеском мгновенным» (Тула, 2001), изданная друзьями через год после её трагической гибели тиражом 500 экземпляров, довольно быстро разошлась среди тульских друзей и почитателей Ольги. Единственная её толстожурнальная публикация — в журнале «Ясная Поляна» — состоялась в 2000 году, через месяц после смерти. Такова её литературная судьба. Судьба же человеческая была куда более насыщенной.

В роду у Ольги Подъёмщиковой были дворяне, один дед был хорошо знаком со Львом Толстым, другой работал главным архитектором Тулы. Дом Подъёмщиковых, построенный в 1903 году, был окутан тайнами, семейными легендами и преданиями. Она выросла на рассказах, пахнущих очарованием девятнадцатого и гарью двадцатого веков. Её мир таился в выцветших дореволюционных фотографиях близких и дальних родственников, в книгах с «ерами» и «ятями», в старинных часах, давно остановивших своё время. В пору учёбы на историко-филологическом факультете Тульского пединститута Ольга познакомилась с кумиром тогдашней литературной молодёжи, поэтом Сергеем

© Андрей Коровин, 2016

Белозёровым, который был старше её почти на тринадцать лет, с которым вскоре связала свою судьбу.

Сергей Белозёров был моложе своих литературных товарищей по «свинцовому веку», но советская власть успела и его зацепить своей когтистой лапой. «Надежда русской поэзии», — писала о нём «Литературка», но не печатала. Логичным продолжением тогдашних взаимоотношений власти с неудобными поэтами стало уголовное преследование... По приговору суда Белозёрова сослали на станцию Зима Иркутской губернии. Ольга, которая уже ждала ребёнка, последовала за ним. «Последняя декабристка» — так прозвали её потом. Ссылного Белозёрова не брали на приличную работу — место ссылных было в кочегарке. В Зиме Ольга, совсем ещё молодая женщина, получила крещение уходящим «свинцовым веком». Политические ссылки, алкаши, зеки, бичи... — все краски советской Сибири были у неё перед глазами. Беременная Ольга работала в местной газете, мотаясь по командировкам, чтобы прокормить семью.

Несчастье случилось неожиданно — ребёнок родился тяжелобольным. Диагнозы были самыми разными, но категорически неутешительными: хорошо, если проживёт пару лет. Так в её доме поселилось горе. Девочка, которую назвали Анной, немогла ни ходить, ни говорить, практически никак не реагировала на внешние раздражители. Такой она и оставалась все десять лет своей короткой жизни. В 1987 году, по возвращении из Сибири и после мытарств по врачам, Ольга начала работать в редакции тульской газеты «Молодой коммунар», которой она посвятила свои самые плодотворные годы. В ту пору Ольга Подъёмщикова стояла у истоков тульского отделения общества жертв политических репрессий «Мемориал», тульского Комитета солдатских матерей, помогала создавать новые музеи — «Тульские древности», «Тульский некрополь».

Она была одним из самых ярких и смелых журналистов области, не боялась поднимать запретные темы, открывала двери, прежде наглухо закрытые для журналистов. И стихи её рождались в рабочих блокнотах, на оборотах рукописей статей и почтовых квитанций. В своих статьях она разговаривала со своими земными читателями, с людьми, а в стихах — с Богом и любимыми. 1994 год стал одним из самых тяжёлых в жизни Ольги. 25 марта умерла дочь и почти сразу же — её духовный наставник, доктор богословия отец Ростислав Лозинский. Она подготовила к печати первый из более чем сорока богословских и краеведческих трудов о Ростислава.

Наряду с семейной трагедией и духовным кризисом, начались проблемы в газете, и Ольга была вынуждена пойти консультантом в пресс-службу тульского губернатора. А в следующем году умерла её мать. Это стало для Ольги ещё одним страшным ударом, от которого она так и не смогла оправиться. Она ушла с государственной службы в Тульское епархиальное управление, чтобы возглавить газету «Тульские епархиальные ведомости» и стать пресс-секретарём Тульской епархии. Через два года газета под её руководством стала журналом. Там Ольга как бы обрела новую жизнь, и это стало утешением в её горе. Она не ограничивалась чисто журналистской деятельностью — организовывала Рождественские вечера, каждый из которых был культурным событием в жизни города, участвовала в подготовке к канонизации новых святых угодников и мучеников Русской Православной Церкви, во многих делах и начинаниях Тульской епархии.

Тогда же Ольга начала заниматься «выборными» технологиями. Она участвовала в разработке предвыборных кампаний «генералов политической сцены» — Александра Лебеда, Александра Коржакова, а также местных знаменитостей. Это, видимо, был скорее

спортивный интерес: Ольга любила пробовать себя в чём-то новом. 5 октября 2000 года, по окончании одной такой предвыборной кампании, Ольга Подъёмщикова с двумя коллегами-журналистами поехала на дачу к знакомой. Ночью на даче начался пожар. Когда под утро приехали пожарные, деревянная дача выгорела дотла. Ольгу отпевали в кафедральном соборе Всех Святых г. Тулы, напротив которого она жила. Она похоронена рядом с мамой и неподалёку от своей любимой дочери Анечки. До сих пор ходят упорные слухи о том, что пожар не был случайным. Как у всякого смелого и бескомпромиссного журналиста, у Ольги было много врагов. Но и пророчеств о своей смерти в её стихах предостаточно. В её архиве остались сотни стихов, повести, блистательная публицистика, которые ещё ждут своего издателя.

Статья впервые опубликована на сайте книжного приложения к «Независимой газете» «НГ-Ex libris» — http://www.ng.ru/ng_exlibris/om 03.08.2006 (публикуется с некоторыми изменениями).

Влад СОКОЛОВСКИЙ
(1971 — 2011)

Родился в Ташкенте. В 1992 году окончил факультет прикладной математики и механики Ташкентского государственного университета. Стихи и эссе публиковались в журналах «Звезда Востока» (Узбекистан), «Книголюб» (Казахстан), альманахах «Малый шёлковый путь» и «Ark», книге «Неизвестный известный «Ильхом» (Ташкент, 2003). Посмертная публикация стихов в «Иерусалимском журнале» (№ 40'2011). Переводы поэтов



Израиля в «Антологии ивритской поэзии» (Ташкент, 2003). Участник 1-го, 2-го и 6-го Ташкентского открытого фестиваля поэзии (2001, 2002, 2008). Член объединения «Ташкентская поэтическая школа». Лауреат 6-го Фестиваля молодых литераторов Израиля (2005) в номинации «Проза». В 2002 году переехал в Израиль. Умер в Иерусалиме.

ЧЁРНЫЙ СМЕХ

МИРАЖ

Я — мещанин тринадцатого класса,
Живу на третьей линии песков,
Где корабли пустыни, сдавши кассу,
Швартуются у саксаула снов.
Закат шальной окровянил округу:

© Наследники Влада Соколовского, 2016

Песок, колодец, глинобитный дом.
Лишь едкий дым костра приветом другу
Взлетает вверх в сознании моём.
Под черной тканью скрыв черты лица,
Выходит девушка, чтоб напоить верблюдов.
Темнеет. Диск Луны, и звёзды без конца,
И призрачное звяканье посуды.
Откуда-то кузнечик верещит.
В костре стреляют ветки, и, печален,
По беззаконию вдруг ветер загудит.
Поселок пуст, и даже нереален.
Как будто в мире больше нет жилья.
И нет людей, лишь пустота забвенья.
Планета охладевшая, ничья,
Назад отсчитывает все семь дней творенья.
Светает. Пеплом поросли дрова,
И караван-баши зовет в дорогу.
Уходит за барханы караван.
Вслед машет девушка — пустынный ангел Бога.
С её уходом все затихнет вновь.
Песок по крыши занесёт поселок.
Лишь под песком бушует злая кровь,
Предвидя караван — пути осколок.

* * *

Когда мы станем тихим белым эхом,
И этот мир засыплет чёрным смехом,
И синий кот уснёт в слепой ночи,
Я упаду на жёлтые преданья
На старом окровавленном диване
И в топку памяти подброшу кирпичи.

* * *

Сто пятьдесят страниц стихов мне вдруг прислали.
А не моих. На почитать. Как на вокзале,
Где вёрсты, литры и года в одном флаконе,
И стрелки мчат, и поезда, и стали море

Волнуется на раз и два в цеху литейном,
А на проспекте суета, и новоселье,
И пряный пир полубогов и «новой» швали,
И нету дела мне совсем до этой стали.

Достали мысли о еде и о жилище,
Работы суетной в судьбе серы глазищи,
Достали точки, и счета, и поголовья
Рогато-крупного скота тоска воловья.

И вот ещё: почти пять лет, а всё ни строчки,
Верлибр, вертеп, Верлен, верь мне, святой источник,
И полустанки, и станки, и в вихре пьяном
Кружатся мёртво старики: Союз с Бураном.

Два капитана, а звезда в системе третья,
И год шестой уже идёт тысячелетья.
Но всё никак, а в новостях — лишь горя море.
Сто пятьдесят чужих стихов на мониторе.

Евгений АБДУЛЛАЕВ

КОГДА МЫ СТАНЕМ ТИХИМ БЕЛЫМ ЭХОМ...

Не мной замечено: стихи недавно ушедшего поэта — палимпсест; когда читаешь, начинает проступать второй, провидческий — в отношении своей судьбы — смысл. Особенно если поэт был твоим другом.

*Когда мы станем тихим белым эхом,
И этот мир засыплет чёрным смехом,
И синий кот уснёт в слепой ночи,
Я упаду на жёлтые преданья
На старом окровавленном диване
И в топку памяти подброшу кирпичи.*

Он одним из первых среди нас стал этим тихим белым эхом. «Нас» — ташкентских ребят-очкариков, где-то начала семидесятых рождения, где-то конца восьмидесятых поступления в университет — не уточняю какой, поскольку университет тогда в Ташкенте был только один. Ташкентский. Государственный. Имени. ТашГУ, одним словом. Был одним из учившихся в нём как раз в недолгий период свободы между застоём и отстоем. Ну и бардака — тоже. Потому что — какая же свобода без бардака?

Но пока не буду подбрасывать в топку памяти кирпичи. Ещё не остыла боль, а писать воспоминания нужно, когда всё осядет, когда промоются все детали. Пока — только о Владе как о поэте.

Впервые столкнулся с его стихами курсе на третьем. Достал из почтового ящика конверт; даже не помню, что значилось как обратный адрес. Вскрыл. Конверт был набит стихами. Эпиграф был из Гребенщикова: *«Не целовался я с тобой ни разу,/ мой омерзительный безногий друг»*. Дальше шли такого же рода стихи — весёлый талантливый стёб. Путём умозаключений вывел, что к делу причастна девушка, с которой тогда дружил, — незадолго до того она как раз уточняла мой домашний адрес. Во время её допроса и всплыли фамилии — Каплан и Соколовский. Студенты ПММ — факультета прикладной математики и механики. Главный акын — Соколовский. Тогда же видел его где-то мельком — стройный, носатый, ироничный.

Конверт со стихами не сохранился. Влада — позже, когда сдружились, — не спрашивал об этой проделке. Да и сам он писал уже другие стихи. О тех, прежних стихах можно судить лишь по текстам вроде «Астрономической лирической»:

*Принципы стихосложения оставляют следы на бумаге.
Но не видеть мне звёзд озарения, как увидел их Тихо Браге.
«Тихо, браги, — скажу, — мне налейте за Джордано Бруно,
что мазан елеем,
Потому что костры уже вьются и над Джорджией,
и над Брунеем».*

*Уже где-то сопит соперник, разводя втихаря спиртыгу,
Потому что он, как Коперник, ощущает к напиткам тягу.
Ну а мы споём по-английски нашу старую добрую «Аббу»,
И увижу тебя я так близко, как не виделся Сириус Хабблу...*

Потом были две-три случайные встречи в транспорте, разговоры об общих знакомых, о Диме Каплане. О стихах — а оба в это время писали, но втуне, не публикуясь, — ни слова. Вообще, говорить в 90-е о своих литературных занятиях

было как-то даже дурным тоном. Нужно было выживать, работать, «чего-то делать». Литература к разряду этого «чего-то» не относилась. Эти годы заставляли нас быть не тем, чем мы должны были быть. Это закаляло, но это же и убивало. Нет яда сильнее внутреннего яда нерождённых стихов.

В начале 2001-го пришло письмо от Вадима Муратханова: он, Санджар Янышев и я делали второй, но, по сути — первый «взрослый» альманах «Малый шёлковый путь». Делали своеобразно — Санджар из Москвы, Вадим из Ташкента, я тогда из Июкогамы. Вадим ведал ташкентской частью, отыскивал всё, что осталось в Ташкенте талантливого и стихотворческого. Он мне и прислал тексты Влада, заметив, что «вы, кажется, знакомы».

Тогда, во втором выпуске «Малого шёлкового пути», и состоялся, если не ошибаюсь, дебют Влада. «Султану Текишу» из «Каракалпакского цикла». «Когда едет Кришна».

И небольшой стих про «город в горах»:

*Там зарю на рассвете петух пропоёт
Там черешню клевать будет майна
И жужукнет как муха большой вертолёт
К горизонту взлетев вертикально.*

По работе Влад много ездил по Узбекистану, словно открывая его для себя. В ту пору, в начале «нулевых», и была написана большая и, на мой взгляд, лучшая часть его стихов. Ироничная игра с цитатами и аллюзиями отходила на второй план, проступала «почва и судьба».

В те же годы я стал получать от него замечательные «травелоги» — очерки о его разнообразных путешествиях. Легкие, сжатые, ироничные — это был уже другой Влад, обещавший в ближайшем будущем Соколовского-прозаика. Приходили и его переводы с иврита: из Леи Аялон, Савьон Либрехт, Аарона Мегеда...

К моменту моего возвращения в Ташкент в 2003-м Влад уже перебрался в Иерусалим. Как оказалось, окончательно. Семья, учёба, работа — всё успевал, всё получалось, жаль, что только стихов становилось меньше.

Перечитываю его письма. Письма человека, заваленного, слегка придавленного работой. *«Прости, пожалуйста, у меня были жуткие две недели. Я в середине месяца был в Москве пять дней, отбирал народ на свою программу, замёрз, неделю не был на работе, там всё накопилось, теперь началась самая активная фаза — визы/билеты/программа/стипендии — во всех странах СНГ всё по-разному, для Хена писал левак с обзором ситуации в Средней Азии, надо было на этой неделе сдавать, а тут ещё малой простыл, зуб у него лезет — недосып хронический — в результате дома думал, что успею ответить тебе на работе, а на работе ничего не успевал и надеялся ответить дома, а дома даже к компу не подойти. Так что вот».*

В другом письме: *«У нас работа заела всё — я же должен выполнять в одиночку и организационные, и идеологические функции, а ещё вести у них один курс, который тоже надо готовить, а ещё в среду у меня зачем-то доклад на конференции в университете Бар-Илан о Чехове и Шолом-Алейхеме, а к докторату я уже пару месяцев как ничего не читаю, просто книжку не открываю, а малой круглосуточно висит виснем на Инке, и поэтому она едва успевает готовить, а вся уборка и покупка на мне, а ещё когда я прихожу домой, то малой сразу вешается на меня, чтоб Инка успела хоть чуть-чуть пожить своей жизнью, а пт-сб я просто валяюсь трупиком и смотрю тупо скачанную киношку, ибо ни на что не способен, а тут ещё отгремел Инкин 30-ник со всеми гостями и прочими сопутствующими, а ещё весна и хандра, плюс понимание, что меня за такое раздолбайство турнут из доктората, и правильно сделают, а ко всему было бы неплохо ещё добавить уроки вождения, к которым я страшно*

боюсь приступать, а время не ждёт, так что весело. Это я не жалуясь, это я факты перечисляю. А так всё хорошо — солнышко, цветёт всё, временами заезжают друзья и вывозят нас то туда, то сюда, а малой растёт, и у него уже 3 зуба, и он пробует делать 2–3 шага, но садится на попу, а когда он улыбается — это такой кайф. В общем, жизнь».

«Сто пятьдесят чужих стихов на мониторе...» — так звучала последняя строка стихотворения, которое Влад прочёл на последнем, шестом Ташкентском фестивале поэзии в октябре 2009-го, в свой последний ташкентский приезд. Прочёл с лёгкой грустью — хотя Влад, казалось, вообще не умел грустить, не его это был жанр. Ну, лёгкая национальная печалинка во взгляде, а так — удивительно светлое, деятельное отношение к жизни, ко всему...

Ну вот, я опять срываюсь на воспоминания, хотя обещал о стихах.

Стихов стало меньше — но это было естественно; наступало — и у него, и у нас всех — время, когда «лета к суровой прозе клонят». Он стал больше выступать как прозаик — не менее интересный, чем поэт, и, возможно, обещающий большего. Впрочем, нужно всё собрать. Всё, что осталось. Собрать, прочесть, по возможности — издать.

Как писала Лидия Гинзбург: «Смерть неизмеримо повышает долю историчности в нашем переживании человеческой судьбы. Человек, которого мы плохо видим оттого, что стоим с ним рядом, вдруг, в некоторый неуследимо короткий момент, резко отодвигается и занимает место среди исторических, ретроспективно обозримых явлений: как все отдалённые предметы, он, в отличие от близких, виден уже не по частям, а сразу в системе».

Завершаю этой цитатой, поскольку сам найти слова для завершения не могу. Ещё не отболело.

Алексей СОМОВ
(1976 — 2013)

Родился и жил в городе Саранул. Окончил Саранульский политехнический университет. Работал художником-оформителем в кинотеатре, охранником, преподавателем информатики, инженером по маркетингу, дизайнером наружной рекламы, верстальщиком, выпускающим редактором газеты, редактором отдела прозы портала «Сетевая Словесность». Публиковался в журналах и альманахах «Дети Ра», «Воздух», «Крещатик», «Урал» и др., сборниках «Укус и крокодилы: 38 лучших рассказов 2006 года» и «Беглецы и чародеи: 39 лучших рассказов 2007 года» (составитель — Макс Фрай). Один из лауреатов национальной литературной премии «Золотое Перо Руси-2007» в номинации «Очерк»; занял третье место в номинации «Поэзия» на международном литературном фестивале «Русский Stil — 2008» в Штутгарте (Германия). Стихи входили в короткий список конкурса «Согласование времен-2010», в длинный список первой Григорьевской премии, короткий список Международного литературного Волошинского конкурса. Скончался 13 августа 2013 года от сердечного приступа у себя дома.



ТЮРЬМА СИДИТ В ПОЭТЕ

* * *

я хочу от русского языка
ровно того же самого

© Наследники Алексея Сомова, 2016

чего хочет пластун от добытого языка
связанного дрожащего ссаного

замерзает не долетев до земли плевков
а я ж тебя паскуда всю ночь на себе волок

электрической плетью по зрачкам — говори
все как есть выкладывай или умри
все пароли явочки имена
а потом ля голышом на морозец на

посадить бы тебя на лёд очком
чтобы яйца звенели валдайским колокольчиком
чтобы ведьминой лапой маячила у лица
партизанская виселица ламцадрицаца

чтоб саднила подставленная щека
чтоб ожгло до последнего позвонка

а потом глядеть не щурясь на дымный закат
оставляя ошмётки мёртвого языка
на полозьях саночек что везут
через всю деревню на скорый нестрашный суд

* * *

Кому — бесстыдная весна,
кому-то песенка шальная,
Кому-то весточка из сна:
Я умерла, а ты как знаешь.
И только ветер простонал
да закачались деревья,
как забухавший Пастернак
в обнимку с Анною Андревной.

Ты кончилась, а я живу,
зачем живу — и сам не знаю,
а все как будто наяву,
и снова песенка дурная

поёт, поёт, звенит, звенит,
бесстыдно перепутав даты,
а в небе радуга стоит,
а в горле — мёртвый команданте.

Однажды, ядерной весной,
мы все вернёмся, как очнёмся,
в горячий город, свой — не свой,
и мы начнём, и мы начнёмся.
Скребут совки, картавит лёд,
шипят авто, плюются шины,
а в небе радио поёт
про то, что все мы где-то живы.

* * *

убийца и убитый спят в обнимку
тому двенадцать, а другому десять
(их маленькие бесы тоже спят)
их сны как праздничные фотоснимки
где горизонт с собой играет в прятки
а перспектива убегает вспять

и кажется, что это всё неправда
дрянная шутка, опечатка в тексте
что им ещё чудесно повезёт
и не поднимет камень брат на брата
а бесы сладко спят

как только в детстве
сопя в противотакт и сдвинув пятки

и наглухо завален горизонт

* * *

Под височной кожей голубой,
словно паучок в аптечной склянке,
в каждом мальчишке томится ангел.
Отпустите ангела домой.

Отпустите ангела домой,
напоите горьким сонным зельем,
после — закопайте глубже в землю,
только чтобы в небо головой.

Словно в клетке, лёгкой и простой,
сделанной из лепестков шалфея,
в каждой девочке скучает фея,
запертая ласковой рукой.

Ласковой отеческой рукой
отоприте золотую дверцу,
вырвите из слабой грудки сердце.
Съешьте сердце. И придёт покой.

* * *

А. Х.

поэт сидит в тюрьме тюрьма сидит в поэте
он по уши в дерьме он хуже всех на свете
он вроде бы убил а может быть ограбил
ах до чего любил играть он против правил

и лето и зима проходят мимо кассы
а в нём самом тюрьма и неизбывный карцер
и не помрёшь во сне и заднего не врубишь
над шконкой на стене портрет татьяны друбич

за эту чепуху
за девочку за эту
прости как на духу все косяки поэту

за то что как живой он говорил по-русски
ты отпусти его морозу на поруки
изъяны и пороки нам дуракам прости
оббитые пороги расстрельные статьи
хоть чуточку скости чудовищные сроки
тяжёлые стишки
надуманные строки

* * *

От мглы, налипшей на зубах,
от злобы, что довлеет дневи,
храни, Господь весёлый Бах,
в заботах о насущном небе.
Даруй нам, Господи, любовь

без слов кривых и знаков тайных —
корзину рыбы, пять хлебов,
и в марте гололёд и тальник,
цветочный яд и дикий мёд,
Восток и Север, Юг и Запад,
поскольку этот город мёртв
и дом покинутый не заперт.
Поскольку не сыскать границ
шагам разымчивым и спорым
в ночи — и всё же оглянись:
ведь этот шов ещё не вспорот!
Сыграй, прошу Тебя, сыграй
на самых чистых и щемящих
в малиновый павлиний рай,
в сквозной, набитый ветром ящик...
Ведь нет позорней немоты —
не умалишь её, не спрячешь —
и это слишком знаешь Ты,
и плачешь, Господи — Ты плачешь?

★ ★ ★

Вот такая это небыль, вот такая это блажь.
Улетает шарик в небо — тише, маленький, не плачь.
Он резиново-атласный над тобой и надо мной —
синий-синий, прямо красный, небывалый, надувной.

От любви и от простуды, обрывая провода,
ты лети скорей отсюда, никуда и навсегда,
выше рюмочных и чайных и кромешных мелочей,
обстоятельств чрезвычайных и свидетелей случайных —
Бог признает, Бог признает, Бог признает, кто и чей.

Если веруешь, так веруй, улетаю, улетаю.
В стратосферу, в стратосферу, прямо в космос, прямо в рай.
Вот такая это небыль, вот такая это блажь.
Улетает мальчик в небо. Улетаешь, так не плачь.

Над снегами, над песками, над *чудесною страной* —
ты лети, я отпускаю, воздуш шарик надувной.
Выше голубей и чаек, мусоров и попрошаек,
новостроек обветшалых, сонных взглядов из-за штор —
ты лети, воздушный шарик,
Бог поймает, если что.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ СЫНУ

Ты плачешь. Ты совсем не хочешь спать.
Разбрасываешь руки и пеленки.
И мгла — надорвана. И ночь — на спад.
Какая-то кошмарная поломка
случилась во Вселенной. Некий сбой.
Земля кряхтит и валится с орбиты.
И ты захлёбываешься собой
от маленькой взаимправдашной обиды
на день, на ночь, на сон, на то, что нет
его, на нас, хлопочущих без толка...
А в изголовье — приглушённый свет
и с Рождества не убранная ёлка.
Давай, бесчинствуй, надрывайся, вой,
реви как сумасшедшая белуга!
Ты голос подал — значит, ты живой
и сделал шаг из замкнутого круга.
Потом усни — чтоб, словно за дверьми,
под веками на цыпочках прокрасться
в базарный день,
в галдящий пёстрый мир,
прекрасный — трижды проклятый — прекрасный.

* * *

Илье

Смерть пахнет как сирень, замешенная с мёдом,
а глиняная плоть рассыпчата, ломка.
Ко мне пришёл пацан, пришёл себе и смотрит
сквозь полумаску Человека-паука.

Он курит в кулачок, с оглядкой, как злостный
прогульщик и бандит — он курит, бог ты мой!
Сквозь зубы сплёвывает длинно, будто взрослый
и говорит: бери сирень, пошли домой.

Мой мальчик повзрослел на смерть, четыре года
и невернадцать дней, я всё забыл давно.
Теперь он на других широтах и долготах
живёт вниз головой, как супермен в кино.

И словно бы не я слепил тебя из праха.
И словно это я четыре года мёртв.
И зачерствелый хлеб, и молодая брага,
и волосы воды, и пот, и дикий мёд —

всё пахнет об одном, легко, тревожно, гнило,
и день в прогале штор некстати рассинел.
Хоть это не забыть: июнь, сухая глина
и смертная сирень.

* * *

...и вдруг прольётся, как из чаши,
непоправимо белый свет,
сухой и звонкий, чуть горчащий —
и живы все, и смерти нет.
И пласт подтаявшего снега,
под тяжестью своей осев
и выдохнув, сорвётся с неба —
и страха нет, и рядом все.
И тут же встрепенётся зыбко
и дрогнет крыльями в пыльце
новорождённая улыбка
на запрокинутом лице
цветка. Ну что ж, и ты не бойся,
иди в полуденной росе
туда, где смерть почил в бозе
и живы — все.

* * *

гроза двора, чумазый купидон
нетерпеливо укрощая трех-
колесный экипажик, упадёт
и хнычет, и глаза руками трёт
он знать еще не знает, что —

старик, доисторический урод
жуёт пирамидон запавшим ртом
его глаза обёрнуты в картон
его душа скопление папиллом
он больше не боится, что —
небожья тварь прозваньем аполлон

из воздуха высасывает мёд
и не умеет петь, а все поёт
неслышно, и летает напролом
повсюду, как безбашенный пилот
она плевать хотела, что —

за все, что не оставить на потом
за средиземный снег и зимний гром
за ласточек, что брызнут из-под стрех
за белый свет и вот за них за всех
мы никуда отсюда не умрём
.....
мы никогда до смерти не умрём

Александр КОРАМЫСЛОВ

НИЧЕГО, КРОМЕ СВЕТА

САлексеем Сомовым мы познакомились 5 июля 2001-го в Воткинске, на крылечке городского Музея истории и культуры, где я тогда работал и куда он приехал для нашего совместного выступления с двумя моими новыми друзьями — ижевскими поэтами Сергеем Даниловым и Даниилом Клеоповым. На этой встрече, названной мной «Макушки лета», он, среди других, прочёл одно из лучших своих ранних стихотворений:

*...Знаешь, вечное бремя забот и сует
брать с собою в дорогу — плохая примета.
Только радость и свет, только радость — и свет.
Только радость и свет — ничего, кроме света.*

*Что ж ты губы кусаешь и хмуришь чело,
и опять обречённо взыскуешь ответа
в этом мире, где вечного нет ничего,
в этом мире, где нет ничего, кроме света...*

Общение продолжили у нас дома, где Алексей с молодой женой, художницей и поэтом Зиной Сарсадских, остались до следующего вечера. Он уже тогда не был «белым и пушистым», это сразу чувствовалось — но мы, естественно, нашли много общего и, конечно, подружились.

Вскоре, 2 августа, мы с супругой приехали с «ответным визитом» к ним в Сарапул, где я и Сомов вместе с тем же

© Александр Корамыслов, 2016

Д. Клеоповым читали стихи в «креативно продвинутой» галерее «О'берег». Много позже он напишет в одном из рассказов: «я ненавижу читать свои стихи вслух». Однако читал при мне неоднократно, и на публику, и в узком дружеском кругу — по-моему, хорошо.

Тогда же Алексей показывал мне свои первые опыты в прозе, отпечатанные на старой пишущей машинке. Это были два суровых по содержанию небольших рассказа о чеченской войне (опубликованными их не видел). После он делился со мной, что в прозе пытается проговаривать то, что «не допускает» в стихи — злое, тёмное и т.п., мучающее его и ищущее выхода. Стихи же того периода были преимущественно драматичны, но — в общем, без излишних надрыва, эпатажа и т.п. А его так и не опубликованная книга, готовившаяся в то время к печати в ижевском издательстве «Удмуртия», должна была носить характерное (без постмодернистских изысков и происков) название «Заутреня». К слову, к поэтическому становлению Сомова был причастен его старший друг, замечательный сарапульский поэт-«традиционалист» Владимир Фролов, с которым тот общался с ранней юности.

Осенью того же 2001-го года в Ижевске образовался Союз литераторов Удмуртии — неформальное объединение, куда вошли и мы с Сомовым — и поводов для встреч стало больше, уже на нейтральной территории. Помогали общению электронная почта, иногда — телефонная связь (ещё не сотовая). Постепенно осваиваясь в Интернете, в 2002-м я открыл для себя один из первых и лучших литературных сайтов со строгой и внимательной редактурой — «Сетевая Словесность» — и сразу стал с ним сотрудничать, призывая к этому же и своих пишущих друзей, собирая их тексты и отсылая главному редактору и веб-мастеру проекта Георгию Жердеву. Первым из Удмуртии после меня здесь оказался именно Сомов,

ставший с тех пор постоянным автором портала, сначала при моём посредничестве, а потом и самостоятельно (на его персональной странице (<http://www.netslova.ru/somov>) собран основной корпус текстов, за исключением самых ранних и написанных после января 2011-го).

В том же 2002-м у Алексея и Зины родился сын Илья, семейных забот стало больше, так что виделись мы редко. Но метко. И время от времени посвящали друг другу стихи.

Будучи активным сторонником новой поэтической формы — танкеток, появившихся весной 2003 года — я пытался привлечь к занятиям ею и Сомова, поначалу безуспешно. Однако через несколько лет, уже добровольно и глубоко погрузившись в Интернет, он стал одним из постоянных и «плодовитых» авторов в этом жанре, а его тексты были и остаются одними из лучших в проекте «Две строки / шесть слогов» (<http://26.netslova.ru>). Лично я, например, особенно часто вспоминаю:

*гул хром
крив и горбат*

и

могила говорит

*а теперь
горбатый*

Алексей, между тем, «набирал обороты» и в короткой прозе, постепенно становившейся всё интереснее — и вместе с тем всё «инферальнее». Его стихи стали востребованы ещё и в мире поп-музыки: так, известный композитор и продюсер группы «Корни» Игорь Матвиенко в 2007 году написал для неё популярную в то время песню «Ей везёт» — на слова АС...

Примечательный факт: наш Союз литераторов Удмуртии объединил — творчески и лично — троих Анатольевичей: Алексея Анатольевича Сомова, Дениса Анатольевича Бесогонова и меня. Увы, теперь на поверхности земли остался лишь один. Первым добровольно (хотя я склонен считать, что *зловольно*) покинул этот мир талантливый и многое успевший сделать в поэзии Бесогонов (а сколько не успевший!) — в сентябре 2003-го, едва отметив своё тридцатилетие... Его гибель нанесла по нашему кругу удар, без преувеличения, непоправимый — и очень болезненный. Алексей, считавший Дениса не просто другом, но братом, написал тогда трагическое эссе «Блаженство присутствия» и несколько пронзительных стихотворений его памяти. В том числе это, отсылающее к стихотворению ДБ «Падение в бездну по расчёту»:

*постучатся войдут и встанут рядом
встанут рядом будто навек застынут
озираются ищут чего-то взглядом
а в глаза не смотрят боязно или стыдно
а потом всю ночь поют негромкую песню
и уходят прочь по дорожке ковровой пыльной
и идут к дверям чтоб упасть за порогом в бездну
и в дверях говорят позвони мне на мой могильный*

Вообще, Сомов писал о смерти много и часто — и в стихах, и в прозе. С детства не вполне здоровый, перенёсший несколько тяжёлых операций, потерявший в ранней юности мать, в молодости — отца и нескольких друзей, он эту тему знал хорошо. Увы, она его — тоже. В холодном июне 2007-го пришла страшная весть: погиб единственный ребёнок Алексея и Зины — пятилетний Илья...

Похоронив сына, родители расстались, Алексей стал жить один (как он выражался, не в Сарапуле — а в

придуманном им «Тугарине»). После этой трагедии — разумеется, сильно изменившей его внутренний мир — стало меняться и творчество Сомова. Стихи становились всё резче и жёстче, «инфернальность» стала прорываться и в них, текст за текстом отвоёвывая всё большее пространство.

Что касается бытового поведения Сомова, то лично я и прежде замечал его эпизодическую агрессивную неадекватность в общении с людьми (и виртуальном, и реальном), в том числе с незнакомыми. При нечастых наших встречах в Воткинске (он сам приезжал повидаться...) это иногда, к сожалению, доводилось наблюдать воочию. Меня самого порой просто физически «потряхивало» в его наружно вполне мирном присутствии — такую энергетику в определённые моменты он излучал. Алкоголизм? Да, и он тоже. Теперь говорят, что в этом повинна его серьёзная болезнь, от алкоголизма прогрессирующая — но сам Алексей до поры всячески отвергал подозрения о его возможных недугах...

Некоторые авторитетные издания охотно печатали новые тексты АС, иногда даже объединяя нас под одной обложкой (допустим, журнал поэзии «Воздух» в № 4, 2011, в рубрике «Откуда повеяло. Русская поэтическая регионалистика» представил современную поэзию Удмуртии только двумя нашими с Сомовым подборками). А затем на «Новой литературной карте России» появилась его персональная страничка (<http://www.litkarta.ru/russia/izhevsk/persons/somov-a>), вторая и пока последняя из открытых для авторов, живущих в нашем родниково-нефтяном крае...

Потом доходили смутные слухи о его нездоровье, трудном лечении — и это было огорчительно. Я видел, как в новых условиях, созданных им самим, день за днём сужается круг людей, прежде не понарошку любивших и уважавших

Алексея, — а теперь в лучшем случае разделивших для себя Сомова-поэта и Сомова-человека. И не менее грустно было наблюдать, как расширяется влияние «мрачной бездны» в его стихах...

Буквально «загнав» себя, жарким днём 13 августа 2013 года тридцатисемилетний Алексей Сомов скончался от сердечного приступа в своей практически не посещаемой никем квартире, где и пролежал ненайденным ещё почти две недели...

Очень обидно. Для всех нас. И в особенности — для Удмуртии, где поэты (равно и прозаики) подобного уровня — большая редкость. Слава Богу, остались его стихи и другие тексты — собственно, единственное, после утраты прочих отличий, остающееся от разноязыких акынов и трубадуров.

*в этом мире, где вечного нет ничего,
в этом мире, где нет ничего, кроме света...*

*Полный вариант эссе опубликован в журнале «Новая реальность»
(№ 74, 2016).*

Андрей ТИМЧЕНОВ
(1967 — 2007)

Родился в посёлке Бохан Иркутской области, после школы учился в Иркутском театральном училище; работал санитаром, плотником, дворником. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Сибирские огни», «День и ночь» и др., альманахах «Иркутское время» и «Зелёная лампа» (издания Иркутского отделения Союза российских писателей). Автор книг «Игры в домино с Чингисханом» (2001) и «Пустынное место» (2004). Умер в Иркутске. Выпуск альманаха «Иркутское время» (2007, 256 стр.) был посвящён памяти трёх иркутских поэтов, один из которых — Тимченков, и содержал подборку его стихотворений.



С ЗЕРКАЛА НА НЕБОСВОД

ЧЕЛОВЕК-ВЕТЕР

Дождь ходит в облаке над землёй
Вслед за вечерней зарёй.

Землю, как перышко, воздух несёт,
Когда месяц звезду пасёт.

За мной горе луковое слезу
Везёт на худом возу.

© Наследники Андрея Тимченкова, 2016

Значит, пора рукава сучить,
Душу ввысь волочить.

Человек-ветер идёт напролом
На струге своём дождевом.

Над ним месяц, что без кореньев живёт,
Краюху черной ночи жуёт.

Он без крыльев летает
И без рук океан шатает.

Человек-ветер — непрошенный гость —
Вбитый в голову гвоздь.

Ты теперь не сумеешь спать,
Ты его будешь ждать.

Облик, который подарила мать,
Надвое разнимать.

По зеркалу трещина пролегла
И на тебя перешла.

Одна половина живёт в тебе,
Другая блуждает вне...

Это, говорят,
 облако-гроб
Протягивает лестницы дождевые
Мертвецам,
 Которым за воздушным океаном раздают сны золотые.

А ты таскай своих зайцев в глазах,
Дрожи осиновым листом на углу скуки,

Но помни,
 Что ветер — человек азартный
И у него длинные руки.

Что он такой же, как ты,
С тою же трещиной, по лицу проложенной,
И такие же сквозняки
Ходят под его кожей.

За мной горе луковое слезу волочит,
Синий рукав сучит.

От меня отделившись, живёт в стекле
В зеркале на стене.

Тот, второй, на меня похож,
Только его не возьмёшь.

Он, когда я иду ко сну,
Возвращает меня всему.

А когда в конце моя смерть придёт,
Он меня не найдёт.

Он будет в своём зазеркалье блуждать,
Имя моё вспоминать.

И лишь, когда трещина перейдёт
С зеркала на небосвод,

Он перестанет быть только вторым,
Он станет дыханьем моим.

И все забудут, каким я был,
Когда по земле ходил.

Моё отраженье меня заслонит,
Сердце мое победит.

И никто не вспомнит, что был я живым.
Первым, а не вторым!

И ветер ходил в моей голове,
А не в зеркале по земле.

А когда дверь, Мария, откроешь
В меня мёртвого,
Там увидишь: под чёрных дум камнем
Твой золотой горит волос.
Человек-ветер не трогал его руками!

Он бы не посмел,
Хотя пророс через трещину моего тела.

Он знает,
Где смерть,
А где — нечего ему делать!

Но туда,
Мария,
Где Марченко — могильщик от сельсовета
За бутылку закопает любого,
Туда ни за что на свете
Не приводит Второго!

* * *

Птице бы, ласточке бы на свободу...
Дух от ветра, глаза от солнца,
помыслы от облак Божиих народу
дать, но кровь от Чёрного моря в горле

сквозь раны тянет к сырой земле,
кости сковывает ознобом...

Птица в голове моей, как в тюрьме
бьётся, мучает мою голову.

* * *

Штормит.

Невозможно стоять.

За канат горизонта

схватиться руками.

Зима на износе.

Февраль.

Во рту папироса...

Подкуривать, брат, нет резона.

Кренит на углу Партизанской

фонарь, и корабль

машины куда-то несёт...

Разбиваясь о волны

лицо устаёт таскать на себе два пробела

в истории жизни,

которые только и помнят,

что зовутся глазами...

А тут — то и дело

кончается жизнь.

Начинается жизнь —

беспробудно

в угаре иллюзий...

За угол зайти,

прикрывая

зажжённую спичку...

Я знаю, душа, тебе трудно...

В моём океане болтает.
Перекур...
 Передышка...
 В моём океане болтает...
В моём океане болтает.
 Душа, тебе трудно,
и нужно усилые сказать,
 что и это бывает,
что и это пройдёт,
 как простуда.
Здравствуй, город-корабль...
 В паруса моих траченных лёгких
задувает чахоточный кашель...
 Ещё передышка...
Постоять,
 посмотреть
 на весь мир необъятно огромный
и маленький слишком...

СНЕГУРОЧКА

От неба до земли
вбит осиновый кол месяца.
Гудит пространство торосами льдин,
крошевом светится.
Тесно Байкалу лежать во льдах,
рвёт на себе тряпки.
Грохот и скрежет — во всех мирах:
даже Богу ушей не спрятать.
И улыбается древний Бог,
смотря на дитя неразумное.
«Угомонись, — говорит, — оглохну.
Зачем тебе Бог полоумный?»

Горы — сторожевыми псами вокруг.
А за горами — степь.
Солнце с месяцем сделают круг —
и снова стоят у стен
мира, которому ветер-сын —
днём паруса крепить
и Байкалу трепать усы,
снег бороды пушить.

* * *

Понедельник работал при церкви плотником:
сплетал из дерева мироздание.
Мучил постами плоть свою,
и томилась в любви звезда его.
А потом напивался
и в море шёл —
рыбой руки порадовать,
и говаривал, что хоть он крещён,
но он — сын рыбака, и пора понять...

И так — по кругу и под стакан.
Глаза ли тоскливыми делаются,
иль над полыньями стоит туман:
сам по себе светится?
Иль кто-то в море ходит чужой —
в тумане грохочет люто?
Вместо сердца — сплошной пожёг,
да вместо души — смута.

* * *

Старуха, что торгует рыбой
у Байкальского тракта,
каждый день приходила
с матерью Понедельника покалякать...

Говорит-говорит,
да на Понедельника поглядит...

«А ты, — говорит, — Понедельник, чего сидишь?
Иди, там красавица-девка ждёт.
А то, слышишь, Байкал ворчит,
слышишь, как ломается лёд?»...

* * *

Там, куда уходишь, — всегда весна.
Но тебя там — не будет,
ты меня прости
за то, что я огненного куста
корни в тебя пустил.

* * *

Я была облаком на руках Человека-ветра.
Человек-небо взял меня быть его плачем,
потому что, Понедельник, любовь — это смерть моя.
Раз я умерла — любила тебя, значит.

* * *

Лодочка...

Лодочка...

Куда ты плывёшь без гребца-рыбака?

.....

Это — ночь длинная.

.....

Это — шумит на всю ночь Байкал.

На всю великую тишину —

ни одной чайки не отыскать.

Только рыбы скользят по дну,

да они не умеют кричать...

Старуха что-то шепчет у огонька.

У старухи — перекошенное лицо.

На этом лице два паука

никак не найдут концов,

ткнут паутину на весь Байкал,

чтоб не пролить ненароком глаза.

У старухи весёлый оскал.

Она ничего не вернёт назад.

Падай на колени,

у Господа проси!

Господи, дай мне студёной воды,

на всю долгую жажду воды испить,

на всю безответную смерть впереди!

Снегурочка!

Я тебя долго искал!

Ко мне вышел анатом с льдинкой в руке.

.....

«Это — её сердце», — сказал.

.....

Мне теперь — глаз не отвести смотреть.

.....

Какие-то люди вокруг поют,
на их лицах странный отражён свет...

.....

Я им ни за что не скажу,
что тебя больше на земле нет...

Виталий НАУМЕНКО

ДА НЕТ ТАКОГО РЯДА

В Андрее — классического вида бомже, который неизвестно где жил, что пил, трудно было распознать поэта, да ещё и поэта древнегреческого образца — бродячего философа со своими неразрывными сложностью и простоватостью. Поэта-игрока со смертью. А получили мы, что особенно обидно, поэта просмотренного. При том, что он любил внимание и при любой возможности выходил из своих бомжарских катакомб.

Наверное, главная его характеристика — одиночество. Тотальное, противостоящее мельтешению жизни, которое никак не совпадало с его внутренним ритмом, где картины разворачивались медленно и степенно, как у любого эпика. Он требовал вчитывания, а получал его только от нескольких друзей, знающих ему цену.

Конечно, с этим было больно смириться, тем более что из мальчика он превращался в мужа и его поэтический статус никак не совпадал с фактическим (а он уже тянул на заседателя-мэтра, хоть и красноречием не блистал и чужими стихами мало интересовался). Внешне он никогда своей особости и взрослости не показывал, но внутренне его это возмущало. Не то чтобы он надевал на себя маску непризнанного гения — он для этого был слишком умным человеком — это были его отношения с самим с собой: почему не читают, не признают. И когда в Иркутске вышли первые две книжки (одну редактировал Анатолий Кобенков, я — вторую) он очевидно воспрял духом. Но на

© Виталий Науменко, 2016

этом всё и закончилось, посмертного признания тоже так и не случилось.

Возник Андрей Тимченев (Тимченко) неизвестно откуда — якобы из посёлка Тыреть Иркутской области, где местные бандиты отобрали у него дом, хотя, вернее всего, он его просто пропил, жил в Чечне (но это очень тёмная и смутная страница его биографии). Однажды он выступал в Москве в Литинституте на курсе у Юрия Левитанского. Студенты чуть ли не выгнали его и оскорбляли, и только Левитанский сказал: *«Вот как, ребята, надо писать стихи»*. Далее — совсем что-то невообразимое: он вступает в банду, две отсидки. Самый колоритный случай: просыпается Тимченев утром на квартире, а все его 9 (!) подельников мертвы, только одного его в живых оставили. Такая странная байка из жизни пиратов.

Нельзя сказать, что он совсем не читал — просто книг у него не было. Он сидел на улице Маркса в Иркутске и продавал те, что были. Печатался в местной культовой газете «Советская молодёжь» — всегда бородатый и почему-то в чёрной шляпе. Не скажу, что эти не такие уж частые публикации вызывали фурор.

Работал всегда по утрам, когда просыпался часа в четыре, потом к шести/семи больше писать не мог. Так что пьяным не писал, над строчками не корпел и — ещё — никогда ничего не переделывал.

Его отношения с Анатолием Кобенковым и мной как двумя редакторами его первых книжек делились ровно наполовину: Кобенкова он страшно боялся, меня — страшно ненавидел. Кобенков книжку, собственно, и не составлял: он объединил три поэмы, а я работал с Тимченевым над строчками. Все поправки он отвергал. Во время работы читал различные мантры и нервно ходил туда-сюда по кабинету Дома литераторов (как я понимаю, только чтобы меня не убить), но стоило появиться

Кобенкову, Тимченев убегал или прятался, со всем соглашался, и все правки мгновенно вносились.

Я самонадеянно полагаю, что «моя» (вторая тимченевская) книжка «Пустынное место» (Иркутск, 2004) была гораздо лучше первой, и вот почему. Тимченев как типичный поэт-отшельник не позволял никому вторгаться в его сочинения. А я не просто вторгся, а даже частью их переписал. Для Андрея это была страшная моральная травма — до такой степени, что он отрицал очевидные вещи, в том числе грамматику русского языка. Он никогда не работал с редактурой, а все его опубликованные стихи рассеяны по случайным интернет-изданиям и газетам. Это тоже одно из его свойств — он был как дикорастущая трава, которая сама не знает, откуда растёт.

Кроме того, благодаря этой книжке я стал намного лучше понимать Андрея. В жизни он мог врать напрапалу, провоцировать и молоть ерунду. Настоящий он только в стихах.

*Утреннее сердце моё,
ты восходишь, как затяжки желанной кольца...
Шествует «чифир» анализом сновидений.
Смысла не остаётся!*

*В микрорайоне похмельных пятиэтажек
день заунывен или вернее — протяжен.
Себя обозначить смыслом существованья
и не пытайся даже.*

Как я понимаю, сегодня собрать стихи Тимченова в более-менее устойчивого вида книжку не представляется возможным. И это в некотором смысле катастрофа. Потому что кто его знает, дождёмся ли мы первого филолога-

тимченоволюб, готового рыскать по газетам допотопной давности. Я в это почти не верю, при том, что мы оставляем за порогом не мир даже, а целую Вселенную — со своими (порой дикими) законами, но организованную и населённую.

Андрей не любил людей — ничего хорошего они ему не сделали, но так же точно (или жёстче) он судил и себя. Он словно бы отгораживался своей поэтической волей, которую вернее всего определить как космологическую, визионерскую, от той грязи, безнадёжности и тоски, откуда выскрёбывал для стихов по дню, по часу. Он сам прекрасно осознавал, что жизнь его скоро закончится, поэтому и проживал её где-то между явью и воображением, которое было убедительней стократ. И, если хотите, стихи его именно об этом — о неприятии *такой* реальности, но парадоксально написанные безо всяких иллюзий относительно её осязаемости и осязаемости своих фантомов.

Преодолеть живущую в нем фаталистичность было невозможно, да и он сам не особо этого хотел, понимая, что уже не в силах вписаться в «нормальную» в расхожих понятиях «мещанскую» жизнь. Он не производил впечатления человека, который вот-вот покончит с собой, но и человеком, который собирается жить вечно, он казался в ещё меньшей степени. Тимченоев — трудный поэт, со своей системой координат, но трудный с позиции академической или авангардистской, не совпадающий с ними, и прочитать его только предстоит — но ни с той точки зрения, ни с этой.

А это почти неразрешимая проблема для филологов: «Он *никуда не вписывается*». Как будто специально. И как писать о нём диссертации? В какой ряд его ставить? Да нет такого ряда.

Андрей ТУРКИН
(1962 — 1997)

Родился в Москве. В 1982–1985 годах учился в МГУ им. Ломоносова на отделении русской филологии, но был отчислен за хулиганство. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Работал санитаром, рабочим, продавцом газет, инкассатором, консультантом по современному советскому искусству, расписывал и реставрировал церкви. Трудовая книжка беспрецедентна по огромному количеству записей. Был артистом оригинального жанра, выступал со своими стихами в компании с художниками и поэтами-концептуалистами на неофициальных площадках Москвы. Основные прижизненные публикации: альманах «Латинский квартал» (1990), книга «Общее дело» (1990). Погиб в 1997 году. В 2002 году посмертно вышла книга стихов и прозы «Точка сингулярности (О природе физических тел)».



МОЙ КРЕСТ ВЛЮБЛЁННЫЙ

* * *

Посмотришь на небо — там звезды одне.
Мне солнце на небе напомнят оне,

Кому-то напомнят оне, может быть,
С разорванной ниткой жемчужную нить,

Кому-нибудь срез дорогой колбасы,
Песочные кто-нибудь вспомнит часы,

И даже стакан представляется мне,
Но взглянешь на небо — там звезды одне!

ИЗ АНТОЛОГИИ

I.

— Дедушка, старенький наш,
Расскажи, как жилось при царе вам?
— Плохо, детишки, жилось,
Что вам ещё и сказать?

II.

Взглянешь на небо порой,
Кажется — сколько там звездок!
А обернёшься вокруг —
Всё это бред и обман!

КОРЖИК

Она ломала коржик,
А коржик не ломался.
Тогда столовый ножик
Ей на глаза попался.
Она схватила ножик,
Поставила на коржик,
На ножик надавила —
И коржик разломила.

* * *

Она стыдливо прошептала,
Губами шевеля едва,
Здесь очень много, дай мне мало,
Здесь целых три, а надо два!
Возьми все три, сказал я строго,
Придвинув их концом ноги,
Я дал тебе не слишком много,
Один себе прибереги!

* * *

Купил я Ленина карманного,
И, как читал его, читал,
Из парня злобного и странного
Простым и добрым парнем стал.

Из параноика презренного
Я тихим стал, что мышь твоя,
Когда куплю его толстенного,
Каким-то парнем стану я?

* * *

О, как мне дорог центр города,
Где Долгорукого рука
Как будто ищет Маркса бороду,
Но не найдет её, пока
За ним следят глаза Дзержинского,
Дома пронзая, как врага.
И тщетно ищет исполинского
Коня послать его нога!

ГЕРОЙСКОЕ

Ты спрашиваешь: этой крови
Что есть причина?
Подойди!
Я проглотил звезду героя,
Чтобы иметь ее в груди.

Геройство есть предел отваги.
Отвага-смелость есть в груди.
Я обагрю кровавой влагой
Сие поприще.
Отойди!

Соединись же сердце с мозгом,
Как съединяются порой
Девичьи ягоды и розги.
Я умираю, как герой!

ТАКАЯ ЛЮБОВЬ

Сегодня так ночью прозрачно,
Как только однажды в году.
И встреча с любимой назначена,
Но я ни за что не пойду!

Она ведь с обрыва не бросится
И нож не возьмется точить,
Но вежливо в гости попросится,
Чтоб чашкой по лбу получить!

А я не любитель чаёвничать!
Мне любо, как звёзды горят,

Которые в полдень и полночью
Со мной о любви говорят!

* * *

Искать и находить ей рот,
И долго целовать искомое.
Не шевельнется мой Эрот,
обезоруженный истомою.

И целовать ей просто так,
Избегнув страстного движения,
Бежав ответа. Только в знак
Стыда, любви и уважения.

* * *

Юлию Гуголеву

Моя тоска была остра,
Как языки костра.
Китайской казнью прорастал
Меня животный страх.
И, познавая сердцем боль,
Я головой поник.
И падала сухая моль
Ко мне за воротник.
А птицы чирк по небу, чирк!
Как будто спички.
И, как горит метеорит,
Сгорали птички.

А птицы вжик по небу, вжик!
Как будто пули.
Когда нам дали эту жизнь,
Нас обманули.

* * *

Нас давно уж нет на свете.
Видишь, рядышком кресты?
Мы с тобой могилы эти.
Слева — я, а справа — ты.

На скамеечке зелёной
Наши дети пьют кагор.
И мой крест, мой крест влюблённый
Тень кладет на твой бугор.

К твоему кресту стремится,
В перекрестьях наши лица
Временами лишь похожи,
Только в летний день погожий.

Борис СТУЧЕБРЮКОВ

БОДРИТ — ЭТО МИНЕРАЛ

Наше знакомство состоялось, поскольку мы с Андреем оба были вовлечены в полуподпольную, но бурлящую культурную жизнь столицы второй половины 80-х. Никогда бы я не попал в клуб фабрики «Дукат» на поэтический вечер, организованный клубом «Поэзия», не будучи постоянным участником однодневных выставок московского клуба скульпторов, организуемых его ведущими Борисом Орловым и Дмитрием Санычем Приговым. Программа включала не только чтение стихов со сцены, но и выставку художников в фойе, и даже выступление музыкального коллектива.

Там я впервые увидел и услышал Андрея. Нельзя сказать, что современной поэзией я совсем не интересовался. Какие-то имена были на слуху, но «строчки с кровью» не попадались. Андрей ошеломил всех. Он читал наизусть «Коржик», «Наковаленку», «Песнь о кукурузнике», может, что-то ещё. Артистизм, с которым он вбивал в голову вроде бы немудрящие словосочетания, был значительной частью представления. Рыдали все, когда *«коржик не ломался»*, но завершалось восьмистишие повальной эйфорией, когда она *«коржик разломила»*.

Через месяц-другой меня пригласили в галерею «На Каширке», где в начале 1987 года проходила выставка «Народные традиции в самодеятельном и профессиональном искусстве», для участия в традиционной культпрограмме. Там морозным вечером мы и

познакомились с Андреем. Он пришёл в восторг от моей работы, а я очень хорошо понимал, кто он такой. Знакомство переросло в дружбу и сотворчество. Мне в то время не давала покоя мысль, что наиболее адекватным отражением стремительных перемен должен быть неструктурируемый шум, издаваемый чем-то, не имеющим никакого отношения к музыкальным инструментам. Я выбрал консервные банки и смастерил «консерварфу» и «консервафон». То, что на Сахалине, где я родился, мне «медведь на ухо наступил», меня совершенно не волновало. Я собирался производить не музыку, а шум.

Смущала художественная незавершённость затеи. Я предложил Андрею устроить «симультанную» акцию, в которой чтение стихов, подчёркиваю, не сопровождается шумовым фоном, а является как бы откликом на шумовой фрагмент. Местом первого эксперимента был выбран выставочный зал «На Малой Грузинской» где я был одним из участников коллективной весенней выставки «Объект-1».

Туркин пришёл со своим другом Юликом Гуголевым. Мы приступили к делу, выбрав в качестве сцены свободный от экспонатов проходной закуток. Дело было днём, народу было немного, но некоторые останавливались, привлечённые происходящим. Я шумел, поэты скандировали, а публика сомневалась — то ли милицию вызывать, то ли скорую из дурдома. Обжитой за два десятилетия зал художников-графиков как-то не очень нас принял. Мы были довольны, хотя мысль о милиции или, не дай бог, КГБ меня посещала всякий раз, когда читал Юлик. С Туркиным бы нам больше дурдома ничего не грозило.

Эксперимент мы посчитали удачным, однако настоящий успех пришел через год с небольшим. За год до того мне попала в руки книжонка некоего Митяева.

Это были очень назидательные вирши, повествующие о вселенской доброте и нечеловеческих достоинствах нашего народа и его авангарда. Я подумал: если зачитать какую-либо из наиболее одиозных притч, дать Андрею возможность откликнуться своим произведением, а затем пустить моё шумовое интермеццо, получится что-то вроде электрического разряда между двумя полюсами смыслов.

Возможность выступить обеспечила Саша Корнева, пригласив нас в качестве участников культпрограммы XVIII «молодёжки»¹ в московском Манеже. Выставка была грандиозной по размеру. Экспозиционное пространство завершилось огромной сценой, где мы и разместились. К этому времени спектр моих звучащих объектов значительно расширился, что позволило увеличить время представления почти до часа. Публики было много, она быстро «врубилась» и начала сопровождать каждый фрагмент овацией. Учитывая, что всё происходящее было полной импровизацией, мы достойно отработали наш номер и были вознаграждены адекватной реакцией зрителей.

Ни о каком сценическом профессионализме и речи быть не могло, но ещё несколько раз в разных форматах мы давали представления. Самым успешным было шоу на выставке группы «Арт-Бля». Комментировал происходящее Коля Дмитриев. Андрей выступал соло и в дуэте под названием «Квас заказан» с Юликом. Они декламировали и даже пели под рояль, с которым управлялся Юлик. Я, понятно, шумел. Публика ржала, что и было нашей наградой.

После смерти Андрея я практически засушил эту ветвь своего искусства по понятной причине. Андрей говорил, что бодрит — это минерал. Творчество его высокой огранки — бодрит.

¹ Молодёжка — выставка молодых художников (*прим. автора*).

Александр ДЖИКИЯ

ЙЕЕ!..

В начале лета 1989 года, часов в 10 вечера, мы ехали втроём (Андрей, моя первая жена Нина Керцелли и я) со станции «Проспект Вернадского» в центр, в практически пустом вагоне. Когда мы подъезжали к «Спортивной», мы услышали рёв толпы, а потом и увидели её. Вся платформа была забита возвращавшимися с концерта металлистами. Металлисты, в состоянии крайнего возбуждения, все в чёрном, рванули в вагон, заполнили его до отказа, зависли над нами, долго не давали дверям закрыться, а когда поезд, наконец, тронулся, кто-то закричал диким металлическим голосом: «АйСи-ДиСи!», и весь вагон хором ответил: «ЙЕЕЕ!». И далее по списку: «Металлика!» — «ЙЕЕЕ!», «Лед Цеппелин!» — «ЙЕЕЕ!»...

Туркин, который сидел тихо в клетчатой рубашечке с короткими рукавами и с офицерской планшеткой на верёвочке через плечо, вдруг встал, расправил плечи, поднял руку с двумя пальцами вверх и звонким голосом произнёс: «Майя Кристаллинская, Йе!». В вагоне стало слышно, как кричат в соседних и стучат колёса. Туркин, оглядевшись по сторонам, громко заявил: «Эдита Пьеха, ЙЕ!». Все металлисты повернули свои головы в нашу сторону. «Валентина Толкунова, Йе!» «ЙЕЕЕ!», — закричали металлисты. «Лев Лещенко!» — «ЙЕЕЕ!», «Иосиф КОБЗОН!» — «ЙЕЕЕ!». Поезд остановился на «Парке Культуры», двери открылись, металлисты подняли Туркина

© Александр Джикия, 2016

в воздух и вынесли на платформу. Вагон опустел, двери закрылись, поезд поехал, и было видно, как Туркина на руках несут на выход. Через пару дней он объявился после долгого и продолжительного веселья с металлистами.

Может быть, кто-то из участников этого события прочтёт это воспоминание и сможет что-то добавить к моему рассказу?

Роман ТЯГУНОВ
(1962 — 2000)

Родился и жил в Свердловске (Екатеринбурге). Окончил мехмат Уральского государственного университета. Печатался в журналах «Несовременные записки», «Урал», «Золотой век». Участник «Антологии современной уральской поэзии» (Челябинск, 1996). Погиб при невыясненных обстоятельствах. Постертно вышли книги «Стихи» (Издание Уральского университета, Екатеринбург, 2001); «Библиотека имени меня» (ИД «Автограф», Екатеринбург, 2011), «Роман Тягунов» (Издательство Марины Волковой, серия «ГУЛ», 2014).



ОСКОЛОК НА ДВОИХ

* * *

Мы пришли, как письма с фронта:
Долгожданны и страшны.
Нас читали так подробно,
Что не вспомнить не должны.
Фотокарточка в конверте
Прямо с линии огня —
Это всё, что есть на свете
У тебя и у меня.
Получая письма с фронта,

© Наследники Романа Тягунова, 2016

Вы запомнить их должны:
Нас читали так подробно,
Что мы все пришли с войны.

* * *

Мне в детстве крикнули: «Смотри! —
Над Волгой иволга горит!»

С тех пор я ненавижу слово,
Растёкшееся по длине,
По вертикали, по спине
Того, кто выпятил при мне
Трёхмерную первооснову.

Но человек не виноват,
Употребляя все слова,
Которые пришли к нему
И, выйдя через задний ум,
Образовали атмосферу,

Включающую птичий крик,
Новорождённый, суеверный...
Я выключаю их — и дверью
Прихлопываю свой язык.
С тех пор я ненавижу слово.

* * *

В библиотеке имени меня
Несовершенство прогибает доски.
Кариатиды города Свердловска
Свободным членом делают наброски

На злобу дня: по улицам Свердловска
Гомер ведёт Троянского коня
В библиотеку имени меня.

В библиотеку имени меня
Записывают только сумасшедших.
Они горды своим несовершенством:
Читая снизу вверх и против шерсти,
Жгут мои книги, греясь у огня
Библиотеки имени меня.

Библиотека имени Тебя
Стоит внутри моей библиотеки.
Здесь выступают правильные греки:
Круги, квадраты, алефы, омеги
Внутри себя вычерчивают греки
И за руки ведут своих ребят
В библиотеку имени Тебя...

Внутри коня горят библиотеки!

* * *

Господи, Господи, Господи,
Где же Твоя Доброта?
Гости мы или не гости мы?
Кто нам откроет Врата?

Господи, Господи, Господи,
Кто мы, куда мы идём?
Кутаясь в белые простыни,
Стол и постель не найдём.

Горе мне, звёздная оспа мне —
Скатерть моя нечиста...
Господи, Господи, Господи,
Где же Твоя Пустота?

* * *

Виноградники Господа Бога
И в конце, и в начале Пути.
И в конце, и в начале Дорога
К Виноградарю может прийти.

Путь-дорога от Слова до Слова
Избежит телеграфной сети:
В сердце Плотника — кровь Рыболова.
И в конце, и в начале Пути.

* * *

Уснувший вечным сном
Уверен, что проснётся,
Когда его коснётся
Наш разговор о нём.
Из года в год все краше
Воспоминанья наши.

* * *

Ты снишься мне каждую ночь,
сбываясь и не забываясь.
Водой после сна умываясь,
я с ней совпадаю точь-в-точь.
Я днём совпадаю с рекой,
которую ты переходишь.
Когда ты в ней сон свой находишь,
то с берега машешь рукой.
Я сон свой забыть не могу:
ты мчишься по звёздному кругу.
Когда мы приснимся друг другу?
Проснись на моём берегу.

* * *

У всех зеркал твоё лицо
и помыслы твои.
Но я нашёл в конце концов
осколок на двоих.
Он врезан в каменную дверь
бревенчатой избы.
Пустяк, частица — но теперь
его нельзя разбить.
Со всех сторон он взят в кольцо
железного скопца —
жестокий век, в конце концов,
жестокое сердца.
Кто глас, кто обруч обронил
на полпути к себе —
век подобрал и схоронил
в бревенчатой избе.

У всех зеркал тяжёлый хлеб —
у этого вдвойне.
Кто отразился — тот ослеп,
но на стекле оставил след
родимой стороне.
Что белый хлеб, что чёрный хлеб, —
всё на одно лицо.
Соединение судеб
не вяжется с кольцом.
В конце концов, жестокий век —
начало всех начал...
Я дверь взорвал, — их стало две,
взорвал вторую, третья дверь...
В окошко постучать.

* * *

Стихи, что письма с того света:
Кто распечатает конверт,
Поймёт, что значит для поэта
Надежда получить ответ.

Руслан КОМАДЕЙ

ИНТЕРВАЛЫ РОМАНА ТЯГУНОВА

Вы слышали голос Тягунова? Он похож на молодой лёд хрустящий. Этот лёд, пожалуй, сам удивлён своему хрусту — почти на краю формы. Голос переходит в текст.

Тексты Тягунова и не пытаются застыть: *«Перевожу себя на русский./ С другого берега реки./ Ко мне протягивают руки./ Но я не протяну руки»*. Зачем застывать, если определённая может локализовать чудо, лишит его неприкаянности... Эта неприкаянность — есть подверженность слова-чуда постоянным манипуляциям, трансформациям окружающего и внутреннего. И процесс превращения важен не меньше, чем то, что превращается: вода-лёд-газ-снег-шуга какая-нибудь...

Но превращения упорядочены, у них есть логика развития. Тексты Тягунова — не хаотики, они целостны. Внутри текстов происходит движение-брожение, но малейшие отклонения частиц не разрушают целое, а увеличивают количество реальных и возможных измерений текста: *«Случаен зритель Тягунов./ Случайна вытяжка из снов./ Случайность как закономерность/ Определяется вне слов»*.

Тягунов заворожён логикой, системой: *«Логика есть царство неожиданности. Мыслить логически — значит непрерывно удивляться. Мы полюбили музыку доказательства»* (Осип Мандельштам). Отсюда у Тягунова в текстах поэтические наследники математики: палиндромы, анаграммы, комбинации... Но это — устройство текстов.

© Руслан Комадей, 2016

А снаружи — читатель. Как ему воспринимать текст, который разворачивается быстрее его понимания... Читатель сбив с толку сменой ракурса, затемнениями смысла и вспысками узнаваний, обнаружениями в предыдущих словах или фразеях связей с несколькими ключами для одной двери. Отсюда исходит основное, на мой взгляд, свойство тягуновских текстов — невероятная скорость. Поэтому читатель заторможен, он всё время рискует оказаться в дураках. *«Кто перебрал все знаки п,/ Тот опускает запятую./ До точки. Где она кипит./ И до и после — жизнь вкрутую!»*

Читатель важен для тягуновских текстов. Он играет с ним, но не оскорбляет его, даёт возможность догнать уезжающий смысл.

Думаю, исходя из предыдущего, что поэзия Тягунова омывается двумя кровями-океанами: слева-справа-снизу-вверх: математикой и рекламой. Математика — как строгое чудо логики, как путь приближения к решению, как наслаждение этим решением, как удовольствие от наличия неизвестных. Реклама — как манипуляция узнаванием, как желание того, чтобы потребители-читатели всегда были чуточку более обмануты, нежели сам рекламщик-поэт. *«Стихи рекламируют пищу/ Для сердца, ума и души:/ Мы — нищие Духом, мы ищем/ Те средства, что всем хороши».*

«Рома считал, что поэзия — сама по себе реклама. Реклама слова. Он вытягивал смысл из слова, а не приспособлял слова к техническому заданию рекламодателя» (Олег Дозморов).

Впрочем, и любовь к математике, и «пристрастие» к рекламе-пиару проявлены в тягуновской биографии, к которой я постараюсь не обращаться. Важнее определить некоторые свойства «поэтического организма» Тягунова. Вероятно, Р.Т. отличался от многих тем, что слова для

него равны словам. Они — часть текста, а потом уже, если кому-то повезёт, они смогут влиться в окружающий мир. Тягунова-поэта проблемы передачи «мировой туманной боли» волновали, как я думаю, меньше, нежели проблемы передачи крови-энергии от слова к слову. И если бы Тягунов мыслил больше предметами-явлениями окружающей жизни, он вряд ли смог бы добиться таких головокружительных скоростей превращения.

Это видно, например, и из того, что становится подподосновой текстов: и факты биографии, и имена друзей-знакомых, и совпадения слов (омонимы, созвучия), взаимоотношения слов с числами, взаимоотношения слов одного языка со словами другого: *«(Я поясню: семь бед — один ответ.)/ “Я” после “Ю” не тянет. Слово “тэн”/ В английском означает десять “нет”./ “Э” перед нами. Между нами “N”».*

Техника-механика тягуновских текстов зачастую безупречна. Но безупречность эта проистекает, я полагаю, из доверия к слову. Из неполного знания: чем слово обернётся для другого слова? — своим звучанием, семантикой, катастрофой... Тексты Тягунова успевают сказать своё «всё». И уже упомянутые мной выше математика и реклама только помогают и не отменяют доверия к слову как таковому.

Вероятно, у Тягунова не только слова формируют поэта, что можно было бы предположить за головокружительной скоростью, но и то, что Тягунов успевает формировать слова, признаваться, отчаиваться, блокировать агрессию, запросто говорить о себе. Он слушает стихи, и они слушают его. *«Пришла пора составить список добрых дел./ Читаю вслух забытую страницу:/ Бывал в столицах, знал, чего хотел.../ Когда не знал — хотел уединиться,/ Сродниться с тем, кто по небу летел».*

И поэтому требуется осторожность, когда мы пытаемся сопоставить биографию и творчество поэта.

Ну и что, что Тягунов умер в 38. От этого его биография больше отразилась в его текстах? — Так просто удобней воспринимать. При этом я имею в виду удобство как разновидность безответственности.

Тягунов столько раз в текстах обращался к словам смерти, к словам о воскрешении, что, очевидно, ему было важнее добиться полной обратимости этих «бессмертных» явлений или слов. Поэтому я надеюсь, что тексты Тягунова не дадут шансов однозначностям.

Роман ФАЙЗУЛИН
(1986 — 2016)

Родился в Стерлитамаке (Башкирия). Публиковался в журналах «Нева», «Крещатик», «Сибирские Огни», «Новая Швейцария», «Бельские просторы», «Другие люди», «Вокзал», «Артишум», «Альманах 21 век», «Флорида» (США) и др., на порталах «Мегалит», «На середине мира». Стихи входили в лонг-лист премий «ЛитературРентген» (2007), «Дебют» (2009, большая проза; 2010, малая проза), Григорьевской премии (2013). Лауреат фестиваля «Молодой литератор-2009» (Нижний Новгород), финалист премии «Нонконформизм». Участник Форумов молодых писателей России.



ДАЛЕКО ОТ ВСЕГО

ПО ЧЕРЕПАМ...

По черепам едет моя повозка.
Я лежу в ней, укрытый старым овечьим тулупом.
Лихорадит меня
вот уже третье десятилетие.
Давно сошедший с ума и переступивший грани
— я продолжаю извращаться.
Нет мне прощения. Я подлец.
Клеветник, перегретый когда-то
райским Солнцем.

И асфальт внутри меня
холодный и потрескавшийся,
серой стеной стоит
безжизненно.
Это уже не увядание
и даже не прощание
с самым главным.
А просто завершение
банальное, как предательство.
Привычное, как жестокость
или смерть.
А дальше уход
в небытие
наконец-то.

БЕЗДНА

Марии Малиновской

*Опоздавший рыцарь на пустой дороге
Он будет помнить тебя
Как белую птицу
На белом
Единороге
Веня Д'ркин*

Радость моя непомерная,
где же ты?
Сердце моё потрескалось от мороза.
Разум с рождения не был светлым.
Внутри разрывающий и поедающий меня огонь.
Я стою у пропасти и кричу в пустоту.
Ужасающая моя бездна
противопоказана тебе.

Но у меня появилась иллюзия,
а вернее уверенность,
что Ты единственный человек в мире,
кто может
спасти меня.
Но ты не станешь этого делать,
потому что
ни тебе, ни мне это не нужно.
Потому что все мы навсегда отдельны.
И обречены. И каждый будет
вечно скитаться в своей внутренней пустыне.
Я же в своей
давно задохнулся и умер.

Мне не нужно спасения.
Всё идёт по сценарию.
И в конце герой умирает мучительно и тяжело.
Может быть, так он сможет
искупить хотя бы небольшую часть
своей вины?

Покаяние моё прими,
как высшую покорность,
как единственный свет мой,
как абсолютное преклонение.
Как бледное эхо того,
что когда-то было Мной.

Вот пройдёт всё.
Останутся строки.
Лучшие из них были Тебе.
Потому что ты лучшее, что я встречал Здесь.

Заклинаю тебя:
никому из «них» никогда не верь.

Но более всего
не верь мне,
ибо я
самое ужасное
из всего возможного,
а ты — яркий Свет,
который
я Люблю.

«ГОРЕМ ПАДУТ САДЫ»

я никуда не пойду
я прогуляюсь лесом
выброшу в лужу звезду
ей у меня слишком тесно

ей у меня темно
я ей плохой хозяин
мразь на моё зерно
пасть свою разевает

«горем падут сады»
ты мне всегда говорила

я отдаю плоды
мною возвращённого мира

лживый господь покалечен
умер цветок без влаги

руки свои на плечи
ты не клади мне ангел

ДАЛЕКО ОТ ВСЕГО

Падая двадцать восемь лет
в бездонную пропасть
начинаешь понимать
что всё закончено

Мимолётный взгляд
пронзивший кожу
Свет сравнимый со смертью
или
рождением или
правильней будет сказать
открытием в себе
чего-то
что не передать никакими стихами
Даже молчание здесь бессильно

Ты уникальна
ещё и потому
что я об этом пишу
(Тут я признаюсь
что и себя считал
всегда
избранным)

Иногда мы приходим куда-то
лишь для того
чтобы побыстрее оттуда уйти
Это я о чём-то отстранённом и повседневном
Надоевшим до ужаса и рвоты
И этот непрерывно крутящийся порнофильм
во мне и за пределами меня
никогда не закончится
И я не проснусь рядом с тобой

поняв что вся моя прожитая жизнь
была просто страшным сном
а реальность вот она
рядом с тобой
и она прекрасна

Я иду по раскалённой бетонной поверхности
моя дорога простирается далеко от всего
но закончиться она может
в любой момент

ЖИЗНЬ (ПОХОРОНЫ МИРА)

все проходит и ты пройдёшь
как тревога как свет как ясность
но за все мои крики и ложь
позволь мне ненадолго остаться

ты прости за слепую слезу
и за подлые алые брызги

я на похороны мира ползу
разрываемый собственной жизнью

МАЛЕНЬКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР

мне снился маленький бультерьер
и я его очень боялся
пустыня попойка и сквер
и жизнь сквозь невымытые пальцы

и снег что похож на тюрьму
в которой все люди ослепли

ведущий их компас ко дну
и голубь оставленный в клетке

и был разговор обо всём
но мало кто знал что ответить
и ночью и утром и днём
ломались кленовые ветки

КАК МНОГО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ГИБНЕТ ПТИЦ

М. М.

Встань куда-нибудь,
где время будет двигаться медленно.
И мы будем говорить с тобой целую вечность.
Пока я не умру, я буду слушать твой голос.
И мне плевать, что кто-то скажет: иллюзия.
И мне плевать, что кто-то вообще что-то скажет.
Я пришедший сюда,
для того чтобы
сделать то,
что мне не под силу.

Вот совсем недавно, вчера, не спас маленького воронёнка.
А наутро нашёл его мёртвым — кошки растерзали.
Значит, не всех нужно спасать.
И поэтому я
вижу в каждом, кого люблю,
уже умершего,
и скорблю по нему ещё живому,
как скорбел бы при его гибели.

Общество
людей: дяденек с похотливыми сальными лицами, тётенек
с дряблыми глазами. Просто сероликими особями —
как гормон для роста похоти, пошлости или безвкусицы,
что, по сути,
одно и то же.

Как много в последнее время гибнет птиц.

Вот уже много лет
на чёрной гранитной плите
я высекаю буквы
своего имени,
но в прощальном и пафосном стишке
нет ничего
о нравственных законах,
которые
я нарушил.

СТРАННАЯ ЭЙФОРΙΑ

М. М.

Странная эйфория
после разговора с тобой
по прошествии нескольких часов
переходит в привычное состояние
осознания обречённости.

Эти охапки глаз.
Эти кучи людей,
считающих, что опять...
Снова, снова и снова...

Какой смешной траур
маленького мессии,
не вытягивающего свой крест...

Как будто дешёвый актёр
поёт на углу
провинциального переулка
невнятную песнь
из кусков разложившейся плоти

и чистейших пёрышек ангелов,
взывая к Так необходимым,
но недосыгаемым
звёздам.

ПОЗАДИ

я живу просто
для того чтобы
увидеть что будет дальше

один мой друг уже 6 лет
в инвалидной коляске
он прыгнул с пятого этажа
когда от него ушла вторая жена
глупая затея
пятый этаж — умереть шансов мало

иногда он звонит мне
или я сам захожу к нему
мы пьём
или пьёт только он а я в завязке
он рассказывает мне о своей прожитой жизни
когда он ещё
не был калекой
а я в ответ рассказываю ему
о своей прожитой жизни
о времени
когда я ещё был живым
потому что у меня якобы
была Ты

пустота дымится на кухне
время тикает незаметно
так мы и сидим
два инвалида
оставившие жизнь позади

Владимир КОРКУНОВ

СОЛОМИНКА ИЗ СЛОВ

...И всё-таки Роман Файзуллин ушёл неожиданно. Хотя нельзя сказать, что совсем внезапно: братская, даже кровная, связь с алкоголем, наркотики, депрессии... Он боролся — с миром, в котором разлагались идеалы, и внутренними демонами, принесёнными извне. Он хотел жить. Но... в предсмертной записке намекнул про бессмертие и — взлетел на нехитрую высоту, ограниченную потолком комнаты.

...Мы познакомились с Ромой несколько лет назад — в соцсетях; как часто бывает — на фоне общей среды. И общались поначалу о стихах и публикациях, общих друзьях и девчонках, мужестве и мужественности...

Когда его фразы инфицировала беспросветная бездна, забравшая в итоге? И кто перерезал проводку, ведущую к внутреннему свету Ромы? Трудно сказать. Одно точно: он был силен в своей слабости; она и была его силой, и потому, когда тьма выдирала из жизни молекулы чистой и наивной сущности Ромы, — он шёл к ней навстречу, раскрыв объятия. Зачастую отвергал помощь друзей — принимать было бы демонстрацией слабости, а мог ли он позволить себе такую роскошь? На попытки увещевания отвечал, что не видел выхода: «Работы не найти нормальной. За человеческую зарплату, а не за еду в нашей дыре». Впрочем, это была лишь одна из причин.

Рома конфликтовал с жизнью: такая, какая есть, его не устраивала, а как спастись, он, может, и знал, но всякий раз наткнулся на равнодушную действительность. К этому

примыкала творческая не востребованность, особенно в последние годы. На каждую публикацию приходились десятки отказов — в журналы «первого ряда» он, по сути, так и не попал. Отчасти это объяснимо — на текстах Ромы отражался образ жизни. И то, что попадало в длинные списки премий «Дебют», «ЛитературРентген» и финал «Нонконформизма» — соседствовало с выброшенными в пространство и не нашедшими верного места на бумаге строками.

Бессмертие, о котором говорил Рома, — отчаянно-горького свойства. Подозреваю, что сейчас редакторы, отказывающие *Роме живому* в публикациях, отправлявшие письма в спам или по-воровски скрывавшие тексты, бросятся публиковать *Рому умершего*. Чего тут больше — горечи или чувства вины?

...Последние разы он начинал общение словами «чѐ как сам?»; писал, что «трагедия вообще смешна» и был несносен, как, наверное, каждый, кто находится на краю и пытается зацепиться за соломинку — пусть даже из слов. Вот только как было разглядеть эту борьбу, желание жить, смешанное с демонстративным стремлением к смерти? Он вырезал из себя то чисто-наивное, трогательное и детское, что угадывалось между его фразами. Даже — рыцарское, а он готов был защищать честь любой дамы, как и полагается мужчине. В нём не угасали непосредственность и верность идеалу; его любовь граничила с отречением, цинизм — с саморазрушением, а юмор — отдавал обречённостью. А ещё он носил в кармане заточку, чтобы при случае отбиться от шпаны, когда ночью выбирался за «добавкой». Он бахвалился желанием умереть, но любил жизнь. Что в этот раз пошло не так?

Он писал про отца-алкоголика и людей-ангелов; запросто записывал в гении — в его идеальном мире каждый гениален, а чёрно-грязная жизнь лишь оттеняла

их полёт. Писал об увлечениях девушками (всерьёз или для бравады?); потом, что-де вскоре женится на N, и тут же — обречённо — добавлял: красавица и чудовище не могут быть вместе. Почему всё это так горько теперь перечитывать?

Рома строчил сообщения сотням адресатов, был влюбчив и раним, а ту, что навещала в последние месяцы, называл «бывшей», ведь телесность не могла заменить истаявших чувств. Развеивались мороки («У меня была иллюзия, в которую я поверил слишком сильно... Я нарисовал её сложнее, чем она есть») и возникали вновь.

Он любил образы, жил ими, в какой-то мере, сам был образом и — тут и впрямь — был сложнее, чем казался.

За последний месяц Рома потерял почти пятнадцать килограммов, называл окружающих плодами своего творчества, а 30-летие — 26 февраля — встретил словами: «В этот день я попал в ад. 30 лет безумия, рвоты, скотства, нечеловеческого омерзения и безысходности. 30 лет непонятно чего. И не понятно Зачем. Одно радуется, что основная часть пройдена. И скоро все это глупое бл***тво закончится».

Так получилось, что внутренний дом Ромы — вот она, фатальная ошибка или насмешка жизни, — оказался внешним и ранимо-незащищённым. И не умер, он, конечно, — погиб, не отыскав в означенный час ответа на главный вопрос: «Зачем?».

Последним сообщением от него, в четверг, 7 апреля (Ромы не стало в ночь с 9 на 10 апреля), были слова: «Я завтра в наркушку». Нет, он не сдавался — хотел бороться и жить. И потому таким нелепым, жутким и странным кажется его уход.

Анастасия ХАРИТОНОВА
(1966 — 2003)

Родилась в Москве, в школьные годы дважды побеждала на конкурсе юных поэтов Москвы. В 1990 году с отличием окончила Литературный институт им. А. М. Горького. В 1992 году стала золотым лауреатом Международного поэтического фестиваля «Poeta-92» в Италии (Салерно). Делала переводы с немецкого, английского, латыни, итальянского, польского, французского и чешского языков. Сделанный ею перевод с польского философских стихов Папы Римского Иоанна Павла II подарил понтифику во время своего второго визита в Ватикан в феврале 1998 года президент РФ Борис Ельцин.



Автор поэтических книг «Чаша» (1991), «Светильник» (1992), «Моя печаль» (1993), «Горькие часы» (1994), «Шествие дезертиров» (1994), «Пустые пьедесталы» (1996), «Межвременье» (1999), «Неуслышанная молитва» (2000) и др. Иллюстратор собственных книг. Трагически погибла в 2003 году.

ВСЕГО ЛИШЬ СОН О ЧЕЛОВЕКЕ...

* * *

Какая свежесть! Что за тишь!..
Под ливнем я брожу босая,
А струи теплятся, свисая
С берёз и озарённых крыш.

© Наследники Анастасии Харитоновой, 2016

Тончайшей золотой ресницей
В тумане блещет солнца край.
Гори, любовь, и обмирай,
Бери — и воздавай сторицей.
Благодари за красоту,
За чудо вспыхнувшего лета...
Но дух, откинув полог света,
Глядит с улыбкой в пустоту.

* * *

Мне красота твоя была как смерть,
Когда морозы жгучие трещали,
А мир уменьшился от стужи и печали.
Что делать мне теперь? Молю, ответь.
Уходишь ли — уйду я за тобою,
Возможно — жить, возможно — умирать.
Тому ль гадать, тому ли выбирать,
Кому страданье сделалось судьбою?
Вселенная меняется шутя,
Преображаются холмы, долины, реки.
А я — всего лишь сон о человеке,
Беспомощное взрослое дитя.
В огромных каменных корзинах мирозданья
Луна и звёзды переезда ждут.
А ты — моя любовь сейчас и тут,
Мое неисполнимое желанье.

* * *

Мы расставаться не хотели,
Мы были в комнате одни.

В зелёных сумерках метели
Мерцали зыбкие огни.
Томимый нежностью большою,
Её скрываешь, как вину.
И вдруг почувствуешь душою
Печальной жизни глубину.
И надо только научиться
Бестрепетно в неё смотреть.
Бог весть, что с нами приключится,
А не простившись разлучится —
Как не проснувшись умереть.

* * *

О, как мне всматриваться сладко
В лицо склоненное твоё!
Ты — не любовь. Ты — лишь догадка
Что есть иное бытие.
Оно горит в душе безвестной,
Пространство надвое деля.
Так у свечи глазок небесный
Лучится возле фитиля.
Качая длинными тенями,
Мы дышим друг на друга сном.
И вьётся бабочка меж нами,
и гибнет в пламени двойном.

* * *

Пора в постель, а всё ещё светло
В саду прозрачном, тихом, запустелом,
И размывает сонное тепло
Границу между воздухом и телом.

Как хорошо, что я теперь одна
И слышу первых листьев лёгкий шёпот.
Как хорошо, что, выболев до дна,
Душа с годами превратится в опыт.

* * *

Придёшь и спросишь: «Как твои дела?»
А я тебе отвечу: «Ночь светла.
Вино в кувшине, книга в изголовье,
И яблоня у дома расцвела».
Душа, тобой болевшая три года,
Не мучится, не плачет. Умерла.
Свои стихи, внушённые разлукой,
Сегодня в очаге сожгу дотла.
В них столько страсти вложено и жара —
Пускай мне возвратят хоть часть тепла.
Пускай в руках рассыплются золою,
Пока толпа, глумясь, их не прочла.
Среди глупцов не должно быть поэтом:
Бесславые — стыд, а слава — кабала.
А мудрый — по одной строке узнает,
Чем для меня земная жизнь была.

ТРЕДИАКОВСКИЙ В НЕМЕЦКОМ ТРАКТИРЕ

Вот он идёт к немецкому трактиру.
Ему в лицо — дыханье крупных звёзд.
Немолод он, и скоро на погост,
А всё, как в детстве, неизвестен миру.
Хотя, возможно, для певца трактир

В какой-то миг и означает — мир.
Вино вином, а опыт — это опыт.
Хозяйка загрустила у окна.
В гранёной кружке плавает луна.
Он копит тишину и рифмы копит.
И каждая из них в стихи годна,
И ни одна давно уж не нужна.
О молодость! Голодные скитанья,
Священное сиротство среди людей,
Когда любая тайна мирозданья
Как будто шепчет: «Царствуй и владей!»
Теперь он сед, и не осталось тайн...
— Не, liebe Wirtin, noch ein bisschen Wein!¹

* * *

В тазу — клубника. В крынке — молоко.
А у меня сегодня — день рожденья.
И радует смешное заблужденье,
Что до черты последней далеко.
Куда там далеко, когда она
Сама уже мне под ноги ложится.
Забыты книги, пресен вкус вина,
И хочется лишь, если ночь без сна,
Пуховыми подушками разжиться.
Всё я томлюсь, всё плачу не о том.
А время незаметно утекает.
Закат горит в окне полуслепом,
И ласточка беспечная мелькает,
Лучи крылом срезая, как серпом.

¹ Эй, милая трактирщица, ещё немного вина! (*нем.*).

* * *

В глухой воде застыл паром.
На лунный диск летела птица.
Ночь, словно скифская гробница,
Горела тяжким серебром.
Не трудно петь и прорицать.
Легко дышать чужими снами.
Но скоро будут и над нами
Курганы времени мерцать.
Мы в мире бога не нашли.
А значит, некому помочь нам,
Когда в убранстве полуночном
Мы поплывём за край земли.

Олег ФИЛИПЕНКО

СВЯЩЕННОЕ СИРОТСТВО СРЕДЬ ЛЮДЕЙ

Когда я вспоминаю Анастасию Харитонову, для меня просто — Настю (хотя мы всегда с ней были на «вы» друг к другу), взгляд мой становится более глубоким, я касаюсь чего-то сокровенного. Я до сих пор легко могу вспомнить её голос в телефонной трубке: «Здравствуйте, Олег». Она почти всегда произносила это с интонацией грусти и робости, как если бы не знала, как отнесётся человек к её звонку, будет ли рад, не мешает ли она своим звонком, не навязчива ли? Я сам испытываю схожие беспокойства, когда не вижу глаз собеседника, а слышу в трубке только голос. Но у нее это было заметно в интонации.

Познакомился я с Анастасией Романовной в 1995 году, в поэтической студии Кирилла Ковальджи, что находилась в старинном особняке на Большой Никитской. Признаюсь: все стихи, читаемые там молодыми авторами, казались мне чудовищными. Харитонова была чуть старше присутствующих, но вела себя очень скромно, замкнуто. Она была тиха. Тиха — это очень точное определение. Кажется, она как-то читала свои стихи, но на слух я плохо воспринимаю поэзию, мне мешает авторский голос, интонация — как правило, всё видится не тем, чем является на самом деле. И вот Кирилл Ковальджи позвал всех студийцев в Дом литератора в Малый зал на творческий вечер Анастасии. Я пришёл. Немного опоздал, кажется. Настя уже что-то читала (вполне возможно, что я именно в этот момент впервые услышал её стихи), но мне мешал

© Олег Филипенко, 2016

воспринимать содержание, как я уже сказал, её голос. Надо сказать, она читала робко, фонетически не совсем чётко. Кирилл Владимирович, сидевший рядом, дал мне в руки только что вышедшую книгу поэтессы. Называлась она «Шествие дезертиров». Первое стихотворение, попавшееся мне, взволновало меня. Оно было прекрасным:

*Долго живя на земле,
Об одном лишь тайно мечтаю:
Чтобы иметь мне домик,
Овечку и редкие книги.
Чтоб на работу дня,
На его благие страданья
Криком будил по заре
Меня петух беотийский.*

Кажется, я запомнил его сразу. Я стал читать её сборник дальше, и был всё более взволнован. Поэзия, делающая глаза влажными от выступивших слёз, невозможная вещь в девяностых годах прошлого века (не знаю, как сейчас обстоят дела). Тогда была в фаворе пустая поэтическая трескотня, пустота — но не та, которая была, скажем, в Бродском, то есть на месте Духа образовавшаяся, а пустота, подобная жестяному звуку при сотрясании тонкого листа железа, выдаваемого за природную стихию — гром. А тут читаешь вдруг вещи, подобные стихотворению «Трехдиаковский в немецком трактире».

Конечно, после окончания вечера я тут же подошёл к автору и выразил свой восторг. Я захотел с ней дружить. Насколько я помню, уже этим вечером я сидел в гостях в её квартире, где кроме Насти жили её мама с отцом и маленькая дочь. Так началась наша дружба. Продлилась она ровно восемь лет, до трагической гибели Анастасии. Я приходил к ней в гости раз в неделю-две. Обычно покупал

что-нибудь к чаю, который нам готовила её мама. Сидели мы почти всегда в маленькой комнате Насти, она за своим письменным столом, я — напротив, на диване. Две стены её комнаты, как раз у письменного стола, были увешаны иконами, их было так много, как если б это была коллекция.

Как ни странно, своих стихов мы друг другу практически не читали при встрече. Зато обсуждали разных русских, в основном поэтов, от Кантемира до наших дней. У Насти интересная была манера общения. Глаза её почти всегда были прикрыты, смотрела она не на собеседника, а куда-то вбок, так что вы почти всегда видели её профиль, и лишь изредка, в какой-то момент, она поворачивала голову и бросала на вас молниеносный взгляд, и тогда я видел её чудесные глаза, содержащие в себе знание об изнанке жизни, но покрытые поверх этого знания новым томлением жизни, как бы дымкой. Её глаза не блестели, а именно были покрыты лёгкой поволокой. Кстати, не в первый раз мной проверено, что по глазам поэта можно понять, какие стихи он пишет. *«Какой-то лёгкой поволокой/ Укутан яблоневый сад...»* Это её строки. Для меня это метафора её глаз.

Анастасия Харитоновна считала своим учителем Афанасия Фета. Однажды, ещё в ранней юности, она лежала в больнице и открыла томик Фета. И ей вдруг совершенно ясно стало, как писать собственные стихи, каков её собственный внутренний мир и голос. Этот момент в жизни каждого настоящего поэта обязательно наступает. Поэтому Фет стоял всегда отдельно в ряду других её любимых авторов. Любила она Мандельштама, недолюбливала Пастернака и считала его славу преувеличенной. Вообще мы много говорили о Серебряном веке, о 19-м веке и редко о современных поэтах. Разве что о Бродском, которого она любила, но выше него ставила Арсения Тарковского. Я не соглашался с ней, но у неё был свой внутренний мир, который я уважал.

В Анастасии была тайна, как в каждом настоящем поэте. Перед суровой обыденностью, текущей жизнью, она была незащищена. И хотя в юности она даже получала какие-то гранты и призы за свои стихи, но я её застал в тот момент жизни, когда её талант оказался никому не нужен. В поэзии были дельцы, а тут чистый поэтический голос, глубокое дыхание. Иногда наш разговор заходил в тупик из-за разных взглядов на то или иное, и тогда могло наступить молчание. Мы просто сидели напротив друг друга и молчали. Весьма тягостная пауза наступала тогда. Потом старались преодолеть отчуждение и начинали какой-нибудь разговор, чтобы вновь сблизиться. Случалось, что наша встреча могла начаться с молчания. В такие мгновения я казался себе пустым и бессодержательным, не знаю, что испытывала Настя. Я думаю, знаменитая мхатовская пауза отдыхает в сравнении с нашими паузами, которые иногда возникали.

Порой, очень редко, мы выбирались с ней вдвоём в город. Заходили посидеть в кафе или шли в книжный на Новом Арбате. Она подавала всем нищим без исключения. Однажды мы ехали в гости к поэту Максиму Лаврентьеву, и в метро и подземных переходах Настя по обыкновению подавала всем нищим, так что наше путешествие превратилось в какой-то ритуал. Мне кажется, это было каким-то принципом в ней — подавать всем.

Мне сложно вспоминать о гибели Анастасии, потому что накануне разговаривал с ней, она мне позвонила и пригласила в гости, я сказал, что постараюсь, но, может быть, не смогу, так как у меня были дела. Вечером я созвонился с Максимом Лаврентьевым, который уже год как тоже был знаком с ней, и узнал, что Настя тоже пригласила его в гости, и он собирается быть у неё. Это успокоило мою совесть, так что я решил посвятить день делам и не ходить к Насте. Но так случилось, что ни я, ни Максим больше её не увидели. На следующий день,

15-го ноября 2003 года, мне позвонил Максим Лаврентьев и трагическим, ломающимся голосом сообщил, что с нашим общим другом произошло несчастье... Настя ещё была жива, она умерла 1 декабря, спустя две недели после падения из окна своей квартиры, находящейся на четвёртом этаже...

Кажется, я не сказал о ней ничего толкового. Что-то главное всегда ускользает...

Евгений ХОРВАТ
(1961 — 1993)

Родился в Москве. В 1976 году переехал в Кишинёв. Посещал кишинёвскую литературную студию «Орбита», публиковался в газете «Молодежь Молдавии». В 1978 году поступил на факультет журналистики Кишинёвского университета, но ушёл, не окончив первого курса. В 1981 году эмигрировал в Германию. Учился в Гамбургском университете, на факультете славянской филологии. Выпустив в 1986 году коллективный



сборник «Смерть Хорвата», посвящённый символической «смерти русского поэта Хорвата», прекратил писать стихи. В 1989 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Философия общего дела Н. Фёдорова». Работал переводчиком при МВД под Бонном и корреспондентом радиостанции Немецкая волна (Кёльн), редактором и автором издательства Overseas Publications Interchange Ltd. (Лондон) и газеты «Русская мысль» (Париж). С 1985 года занялся живописью, концепт-артом, под псевдонимом Мэйк Ап принимал участие в выставках в Германии. В 1988 году осуществил попытку превращения жизни в тотальный перформанс, а в 1992 году написал роман «Ready-Map» на немецком языке. Совершил самоубийство в 1993 году накануне открытия своей первой большой инсталляции «Перекоп Европы». В СССР стихи печатались в журнале «Кодры» (Кишинёв) и альманахе «Истоки» (Москва), в эмиграции — в журналах «Континент» и «Стрелец», газете «Русская мысль», антологии «У Голубой лагуны». В 1985 году основал издательство «ХОР&ТМА», в котором были изданы поэтические книги «По чернотопу. Ранние

© Наследники Евгения Хорвата, 2016

стихотворения» — (Гамбург, 1985), «Здесь я поэт» (Гамбург, 1985), «Хорей Бега» (Гамбург, 1985), «Святыи чаду В. и М» (Гамбург, 1985), «Смерть Хорвата» (Гамбург, 1986), «Раскатанный слепок лица: Стихи, проза, письма» (М.: Культурный слой [Издатель В. И. Орлов], 2005).

ТАЙНООБРАЗУЮЩЕЕ ПЛЕЧО

* * *

Я отвернусь, как латинское R,
к стенке пустой. Не ищи идеала
в жизни. Ты сам для кого-то пример,
так завернувшись в своё одеяло,
как завернулся. А, впрочем, к чему
здесь обращенье? К кому обращаться —
уж не к себе ли? И вправду, ему
нечего кем-то ещё обольщаться.

Утром лежи, никуда не беги.
Даже на шум головной перестрелки.
Ибо не знаешь, с которой ноги
встать и в какой оказаться тарелке
каждое утро. Так переверни
белые ночи с их тьмою заглазной, —
что обнаружится? Чёрные дни.
Будь же в реальности, с речью согласной.

Ляг на прекрасный, как женщина, пол,
глянь в потолок, где готовы приняться
злаки о будущем. Главный глагол —
«быть», чтоб они продолжали меняться.

1980

* * *

...Как вспомнишь дни морозов вязких
их вражеский наскок,
и колкость варежек варяжских
и вязаных носков,
— и весь, составленный из белых
осколков и кусков,
на счастье выпавших тарелок
из рук, калейдоскоп!

И в рифму, в рифму шлём Европу,
и греческих календ
не ждем, когда по черностопу,
чтоб снегу до колен,
перебираемся мы прямо в
середину бытия!
— и можно мне там двести граммов,
любимая моя?

1982

ДВОИЦА

I.

В наших широтах
зимы пушисты,
весны дощаты.
Ходят в сиротах,
гибнут фашисты,
нет им пощады.

В этих пространствах
вязнут французы,

будто в болоте,
Об иностранцах
местные музы
плачут в полёте, —

уж заработав
вечную грыжу
с радикулитом
от перелётов
с крыши на крышу
к новым пиитам.

II.

В широтах наших
пушисты зимы,
дощаты вёсны.
От снов монарших
хохлы, грузины
грустны, нервозны.

Печальны чукчи,
усталы коми,
расстройство в курдах,
и жалки кучки
якутов, кои
ютятся в юртах.

Двуглавый, с Югом
наш Север в ступке
смешав, распался.
А то б друг с другом,
что две голубки,
поцеловался.

Март 1982

* * *

— Над деревьями вейся,
падай с неба наклонно, отвесно,
ощущение веса
отнимай у бегущего в лес, но
не лишай равновесья
на трамплине, а кончатся горы —
узкий въезд в редколесье
приоткрой, раздвигаясь, как шторы,
— дую с веста и оста,
наложи на ланиты румяна, —
то, что чем-то зовётся,
но само о себе безымянно, —
бей в зрачки мне на трассе,
растворись в леденеющей лимфе,
— в наши дни на Парнасе
попросторнее, чем на Олимпе!

1982

ПОДДЕРЖИ МОЮ ГОЛОВУ

со страстями и печальями, —
чтоб привыкнула к говору
Херувимов с Началами,
Серафимов с Престолами
над моими плечами,
надо всеми просторами,
над денми и ночами.

Пусть язык мой не вывалится,
прикасавшийся к небу,
пусть и звук мой не выльется
на любую паневу,

но — в море парящее,
куда — коль допето —
умирать не пора ещё
было певшему это.

1983

СУББОТНЕЕ

Немного спать хотелось, но теперь прошло,
коснулся рукоделия — помогло.
Как руку сжал — пять чувств затворил,
дыханием моление сотворил
и хорошо-то стало! Воспарил.

Ты наклонись, Пречистая, — я шепну.
Так спутано пространство в земном клубке,
что Ты и покрываешь в одной строке
и на груди вмещаешься в образке —
того, кому из черепа в вышину
открылося отверстие в потолке.

12.5.84

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Трудно очи долу, а сердце горе.
Небо и поныне соблазняет глаза.
Крепко надо верить, чтобы в тёмном нутре
выпала из сукровицы Божья роса.

Наше троеперстье живёт в кулаке.
Им же знаменуемся и строчки строча,

всасывая в детстве облака в молоко,
тайнообразующе крыло из плеча.

Смертный, что родится во плоти и крови —
яко до рождения уже причащён —
в страхе принимающе Святыни Твои
будет в них по смерти воплощён, помещён.

13.5.84

ТРОИЧНЫ

I.

Там, где я крестился, где молчал, говорил
локонами ладана волокна ловил,
спину распрямляючи душёю кривил —

ныне отверзаешь милосердия дверь
ту, куда и вёл меня Твой горний тропарь
— то-то отбиривший у груди без свинца

выдохи да вдохи и единым теперь
духом испускаемый словарь — на букварь
всё-то распадается, что кровь на тельца.

II.

Вот и повторяю предыдущее: кровь.
Ибо отзовется подползающим: крот —
громче и точнее, чем зеркальным: любовь.

Зрение минуя моё пенье глядит
в светлое Успение и новый индикт
в коем не останется ни вдов, ни сирот.

Дух уже испущен, но остался душок.
Даже с перепоею написался стишок.
Освежи дыхание, земной порошок!

III.

... вот уж из-под тела уплыла глубина
вот и разбежалась от боков ширина
вот и отлетела от самой головы

бывшая с рожденья и над ней вышина!
Это завещание народам Земли
Прожита и мною миллионная часть.

... сменные обличья — насекомые, львы —
слышу, приближаются и в душу стучась
алчут себе жизни; но ещё не вошли.

Август 1984

ЧАСТУШКА НАДГРОБНАЯ

Я полбанки раздавил,
мирозданье раздвоил,
я родил Аполлиона,
а назвал Эммануил!

Я алхимию развёл,
метафизику завёл,
и призвал я Аполлона,
а явился Гавриил!

...Но закончен мой полёт.
Я в земле моей полёт.
Над моею головою
мотылек теперь поёт.

Червячок меня грызёт,
голубок меня клюёт.
Херувимской хоровою
человек меня спасёт.

Январь 1984

Борис КЛЕТИНИЧ

ТЕАТР ДЛЯ ЕДИНСТВЕННОГО НАСЛЕДНИКА

Владимир Орлов выпустил книгу Евгения Хорвата «Раскатанный слепок лица» (М.: Культурный слой, 2005). Это первое академическое его издание. Будет ли оно замечено? Есть два фактора «против»: тираж 1000. Но это полбеды, можно допечатать. Серьезнее другое: Хорват способен нарушить конвенцию, исказить «кто есть кто» в нашей поэзии. Потому что стихи, которые он писал в 1983–84, были, на мой взгляд, Ангельского Чина. Нездешние, небывалые. А после он уже не писал стихов. Я близко знал Женю Хорвата в 1976–78 годах, в пору школы, в Кишинёве. Потом я уехал в Москву, он — в Петрозаводск. В январе 1981 он ночевал у меня в общежитии ВГИКа на улице Бориса Галушкина. Это были две его последние ночи на территории СССР перед отъездом в Германию. И ещё это была последняя наша встреча.

Я не собирался писать воспоминания о Хорвате, потому что он действует у меня в романе. Но, во-первых, роман пока не окончен¹.

Во-вторых, выход Жениной книги.

В третьих... «неясное чувство вины» (когда бы это чувство не было столь ясным).

Женя был восприимчив как душа и мозг в чистом виде. В 1976-м, помимо Пастернака, он декламировал

¹ Теперь уже окончен: «Волга», № 1, 2016 (прим. автора).

ещё и «Багровый и белый отброшен и скомкан» молодого Маяковского, и «Окно выходит в белые деревья» Евтушенко, и открыт был для всякого нового увлечения. Мертвящие чары Бродского ещё не коснулись его. Так он влюбился в книжку «День такой-то» Юрия Левитанского, которую я... украл с книжного лотка Филармонии в антракте симфонического концерта. А Женька выпросил её почитать в обмен на прижизненный, салфетно-крохкий сборничек Игоря Северянина из домашней библиотеки (тоже почитать). И когда я вновь хочу вызвать и услышать 15-летний голос Хорвата, то вспоминаю: *«Семимиллионный город не станет меньше, если один человек из него уедет».*

В стихах, как и в дружбах, он был всезаборчив, пылок. С ним водились не только мальчики-девочки с поэтическими наклонностями, но и «кенты» — опасные авторитеты подросткового мира. В 10-м классе с него «сняли» новенькую японскую куртку, дали в глаз.

Персональную, один на один, дружбу нашу инициировал, конечно, он. Кто-то в школьном коридоре познакомил нас, и — не сходя с места — он пригласил меня на день рождения. Он диктовал мне адрес, дрожа от увлечённости, заглядывая в глаза. Отчего-то ему до жути загорелось дружить со мной.

В прихожей Вероника Николаевна, мама, встретила меня фразой: *«Борис, не разувайтесь, у нас нет культуры вымытых полов!».*

Я по сей день обдумываю эту фразу.

За столом говорили о... Шютце. Я происходил из музыкального дома, но Шютц... это забирало почти так же высоко, как культ, а точнее, отсутствие культа вымытых полов.

Мы вышли на балкон, и Женя стал читать стихи. Выспренно. Воспарённо.

В домашнем кругу он был манерный, хрупкий. Чтение меняло его. Оно вызывало бы неловкость, не будь за ним золотого запаса хорватовского магнетизма.

Детские Женькины стихи (он их сжѐг вскоре) были кукольные, совершенные. Как если бы могущественный король держал театр для единственного наследника: золото, серебро, старинное оружие... — всё только настоящее.

В редакцию «Молодёжь Молдавии» меня привѐл, разумеется, Женья. Еще он привѐл меня в молодежное литобъединение «Орбита». Еще — надоумил участвовать в научно-творческих конференциях старшеклассников, в секции поэзии. Благодаря Жене я попал в «актив». Как следствие, позвонили из Госкино. Позвали участвовать в конкурсе во ВГИК. Республика располагала «целевыми» местами и должна была разыграть их среди «актива». Женю позвали первым — как лидера. Он ухитрился неверно их понять. Ему показалось, что его зовут на «экономический». Тогда как звали на сценарный. Со смехом он сошѐл с дистанции. Я поступил.

Через год Женька исправил оплошность. Аккуратно «отобрался» на предварительном конкурсе. Получил вызов на экзамены. Приехал в Москву, остановился у меня. Мы как раз переехали в новое общежитие. Лифт ещё не пустили. Женька помогал носить диваны на 11 этаж.

Я уже сдал летнюю сессию за 1-й курс и мог бы уехать. В Москве меня держало Женькино поступление. Мне казалось, я ему полезен. Курс набирала Кира Парамонова. Она мне симпатизировала. Я с ней говорил о Женьке. Первые три экзамена были т.н. «творческие»: этюд, рецензия на просмотренный кинофильм, собеседование с Мастером. Женька не готовился. Он водил меня по гостям. Мы навещали его друзей «докишинѐвского» периода. Выпили много бутылок «Арбатского».

За этюд и рецензию он получил «четыре» и «четыре», что было хорошо. Единственный конкурент его от Молдавии получил «три» и «четыре». Парамонова поставила Жене «пять» на собеседование. Это означало, что она его берѐт.

На этой ноте я уехал. Женька оставался в моей общежитской комнате, на диване, который мы с ним затащили на 11-й этаж. От него требовалось не провалить четыре общеобразовательных экзамена. Первый — сочинение. В 10 классе мы разделили с ним 1-е место на городской олимпиаде по литературе. Поэтому волноваться было нечего. Лишь надо было соблюсти единственную предосторожность: не писать «свободную тему». Считалось, что свободную — режут априори.

В Кишинёве я пробыл день. Родители с друзьями отправились в Прибалтику на трёх машинах. Через Карпаты, Белоруссию. Из Тракая я позвонил Веронике Николаевне в Кишинёв (1-25-06) — узнать, как Женька сдаёт. Трубку поднял... Женька.

Он писал на свободную тему...

И тут я поведаю об одном из самых беспощадно-отвратительных отсветов моей положительной личности. Испытав нефальшивую горечь от Женькиного непоступления, я в то же время уколот был тайным удовольствием. Мне нравилось жить в ореоле студента ВГИКа. Особенно, когда приезжал в Кишинёв на каникулы. Мне нравилось быть одним-единственным в своём роде...

Но я люблю его, скучаю по нему.

Зимой десятого класса, помню, условились, что всю ночь будем читать друг другу стихи по телефону.

Загодя запрятав телефон под одеяло, я дождался, пока в доме уснут, и набрал 1-25-06. Женька уж наготове был. С часик мы бубнили стихи под одеялами. Потом уснули одновременно. Я полупросыпался ночью. Бормотал в трубку (на разборчивую речь меня уж не хватало).

И по сей день слышу ответное бормотание на том конце провода.

Эссе Бориса Клетинича «О Евгении Хорвате и его книге “Раскатанный слепок лица”» опубликовано на сайте <https://sites.google.com/site/ilerml/kletinich1> (печатается в сокращении).

Евгений ШЕШОЛИН (1955 — 1990)

Родился в Краславе (Латвия). До 1972 года жил в Резекне. Окончив Псковский педагогический институт, работал учителем в сельских школах Псковской области. Самостоятельно изучал язык фарси и составил сборник избранных переводов великих персидских поэтов. Печатался в псковских газетах, был одним из видных авторов псковского андерграунда 1980-х. Активно участвовал как автор и соредатор в самиздатском альманахе «Майя» (первый номер издан в США).



Трагически погиб 28 апреля 1990 года в Даугавпилсе. В 1993 году в журнале «Русская провинция» появилась статья Валентина Курбатова о поэзии Евгения Шешолина. В 1999-м друзья поэта издали в Пскове сборник Шешолина «Измарагд со дна Великой». Второй сборник «Солнце невечное» вышел в 2005 году в латышском городе Резекне. В том же году Даугавпилский университет издал сборник статей и воспоминаний «Евгений Шешолин: судьба и творчество».

КУЛЬТУРНЫЙ ТАЙНЫЙ СЛОЙ

* * *

Маленьким, хрупким, рассыпчатым тело
стало казаться моей голове;
может быть, солнце декабрьское село,
может быть, гном заблудился в Москве.

© Наследники Евгения Шешолина, 2016

Может быть, бродит в снегу по колени
по бездорожью слепой лилипут,
может быть, слишком крутые ступени
в это холодное небо ведут.

Снег Бробдингнега, о, снег Бробдингнега!
Что-то я вынес и что-то сберёг:
горстку горячего, синего снега,
связку промёрзших коляных дорог.

Тает головкою спичечной вера,
и закатилось колечко в траве...
Сон Гулливера, сон Гулливера:
звёзды растаяли на голове!

* * *

Мы ничего не понимаем,
но мы предчувствуем во сне...
Проснуться бы зелёным маем
зелёной шишкой на сосне

в глухом лесу. Иль безымянным
притоком северной реки, —
бежать навстречу по медвяным
полям: травы, ручейки.

Проснуться соловьём на стройке
заброшенной, — в своих кустах,
со вкусом солнечной настойки,
со сладким зудом на устах.

Вон там берёза, — что за слово?! —
стоит, как будто человек,

не помня века золотого,
под дождичком слепым, в четверг.

И нежный августовский вечер
с далёким звоном в голове,
и растворяется кузнечик
в захолаонувшей траве.

И осень налетит Мамаем,
и всё расскажет о весне...
Мы ничего не понимаем,
но мы предчувствуем во сне.

* * *

Молодой забываясь травой,
всё прошло, и не знаю цены;
словно с гуся холодной водой,
словно рушатся хрупкие сны.

А подумаешь, вспомнишь: всерьёз
ударяет по пальцам мороз,
и ты должен узнать городок
на скрещеньи ветров и дорог.

Что там делают люди? Как знать!
Но не всем же глазеть и скакать!
И дано десять блочных домов,
облик чей так практично суров.

Мне запомнился жёлтый вокзал,
как театр замедленных сцен,
и мучительно плавать глазам
вдоль безродных, неверящих стен.

Да ещё паровозный гудок
потерялся, — кричи-не кричи, —
на одной из осенних дорог
где-то в северной серой ночи.

ПО СТАРЫМ УЛИЦАМ

I.

Классических поэм сюжеты неизбытны,
на старых площадях печалиться легко,
но где-то я иду оббитым лабиринтом,
вдоль выщербленных стен неровным плитняком.

Растёт на крыше куст, летит басок скандальный,
вся улица вперёд на много лет видна,
и под один мотив, — простой, сентиментальный, —
проходит чья-то жизнь улыбкой из окна.

Вот здесь он, — помните? — тогда остановился,
и закружился сладкий солнечный сюжет...
Решился подойти... Напротив он родился,
и умер через дом, спустя немного лет.

Летучей мышью змей дрожит над домом робко,
проходу просто нет от жирных голубей,
и мальчик-декадент у стен родной коробки
пустил цветную стаю мыльных пузырей.

Ирония груба, все истины банальны.
И в поле выходить, и жить любить могли.
Быть может, лишь один мотив сентиментальный
останется кружить по тупикам земли...

II.

А за чердачным пыльным маленьким оконцем
сквозь много передряг, обычно по ночам,
итожились века, и утром било солнце
сквозь пятна на стекле по высохшим щекам.

Мы плыли по подземным голубым каналам
сквозь синий полумрак вдоль берегов, где рос
густой ворсистый мох; вокруг белели скалы;
пульсировал во сне тревожный, нежный мозг.

Мы выбирали жизнь, как выбирают шапку,
и как зверей себя насмешливо пасли;
как щупает паук поверхность тонкой лапкой,
двоились в глубь души, — пугались и росли.

И как всегда, в конце входил кочевник рослый, —
покорный до конца, здоровый и прямой...
Лишь кажется, что жить необычайно просто,
а под тобой растёт культурный тайный слой.

Я тело пронесу любимым переулком
отверженных жрецов, я сделаю лицо
обычным, я пройду спокойно мимо гулко
шагающих в строю румяных мертвецов,

я к другу, я метнусь, — меня могли заметить, —
к окошку, через двор, на жёлтый тайный свет...
Метнется кошкою навстречу чёрный ветер,
неровный нервный дождь зализывает след.

ТОВАРНЫЙ

Вот на ночи настоялась открытка:
пригород, лето средних широт...
(Синий кружочек, красная нитка;
синий кружочек в тумане зашит.)

Вижу, как быстро растёшь ты, великий,
только с вопросом «куда?» — не лады...
Я ли не знаю твоей земляники —
крупной, кровавой и горькой, как дым?!

Я ли забуду волнующий запах?..
Бей, колесо, в две басовых струны!
Гей, балалайка в мозолистых лапах
странной и страшной родной страны!

Сходятся, сходятся, сходятся рельсы,
острая точка скользит впереди...
Ты уж тогда поточнее прицелься!..
Сходятся рельсы в холодной груди.

Проклята шаткая шутка такая,
штуками проклята кем-то за так,
катятся кости, строка затекает,
и подтекает заката плакат.

Катится время, и горка поката;
сбыта товарка, товар заголён...
Волк вам тамбовский товарищ, ребята,
имя которому — век, легион!

Корень мой вырван, несётся мой табор,
в сердце моём продолжается ось;

я зацеплюсь за подножку, и тамбур —
брат всестороннему ветру насквозь!

Ты не загадка, но я разгадаю!
Зря ли мои непокорны вихры?!
Я пролетаю лесами Валдая
просекой в небо с высокой горы.

НОЧНЫЕ ОБЛАКА

С чем я сравню? — Таких ночей немного! —
Как замерли ночные облака!..
Какая привела меня дорога,
так и напишет чуткая рука:

давно мои надежды нелюдимы,
и ни письма, ни дорогих гостей;
мне кажется, нагнало за день льдины
с холодных, безответных областей.

И вот меня туман уже окутал,
и новые сомненья поползли...
Мне вспомнился огромный светлый купол
весь в трещинах от центра до земли.

А где-то за холодной снежной пылью
дорога далека и глубока...
И в воздухе крутом, расправив крылья,
парят, не выдыхая, облака.

* * *

врачу Г.

...День вытащился, как заноза.
Когда соседи все уснули,
я пью воспоминаний дозу,
как разноцветные пилюли.

...Не всё рассчитано на небе:
ошибок много очень грубых!
Где Ваш большой янтарный гребень?
Где платье длинное в раструбах?

Вам бы пошёл средневековый
высокий скандинавский замок;
в камина отблесках багровых —
портреты предков в строгих рамах.

Но властность всё же просочилась;
природу никуда не спрячет
природа, — столько Вам на милость
душ, словно нанялись батрачить!

Когда в привычной Вашей власти
замызганные чьи-то судьбы,
брести кому-то сквозь ненастье
в груди и думать: «Хоть уснуть бы!

Я отлетаю вместе с годом...
Он кончится в храпящей спальней...
Ну, протащусь сквозь непогоду,
и всё равно исход — летальный».

Год сыплет жёлтыми листьями
в растерянности перед бездной,
и ветер ветками листает
историю его болезни.

* * *

Цветы такие же, — пониже
нагнись; а в детстве были ближе;
и те же муравьи снуют,
и точен запах позабытый,
и по настурции умытой
жуки из памяти бегут.

И вовсе ты не изменился,
и ничему не научился,
и раньше, чем родился, знал:
вон та травинка воплощенья
ждала столетья, как прощенья.
А вот и жук с неё упал.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕНИНГРАДЕ

Тот тёмный дом, нетронутый войной,
я вижу, как за рамою двойной.

И медный конь, так благородно ржавый,
и объясненья первые с державой.

И цветники парадных забытые,
и ангелы взмывают недобитые.

И синей паутинкой рвётся след
моих болгарских сладких сигарет.

Наталья ЧЕРНЫХ

ТАТУИРОВКА РЕК

Каждый год подряд проходят Шешолинские чтения, и на каждом открывается новая страница-полстраницы Шешолинской летописи. Да, летописи — иначе не назвать огромный, на редкость стройный и при этом причудливо-разнообразный словесный корпус. Лирическая летопись, огромная лирическая летопись, и полагаю, что повторения слов тут ритмически необходимы, для введения в «северо-западный» ритм стихов: неторопливый, раздумчивый. А как же Средняя Азия, являющаяся то во снах, то наяву, с её полдневным сном и вечерней ленью? Северо-западный человек шёл на юго-восток, и однажды ритмы совпали. Уроженец тенистых речных стран, Шешолин стал знатоком и переводчиком поэзии зноя и пустыни. Дервиши в тихом изумлении читали его переводы своих стихов. Пусть это мгновенная, молниеносная картинка, фотовспышка. В поэзии визионера так и должно быть. *«Лишь кажется, что жить необычайно просто,/ а под тобой растёт культурный тайный слой».*

Поэзия Евгения Шешолина — поэзия странника. Летопись путешественника. Сочетание непривычное: переходить от места к месту и описывать, что видишь, как если бы описывал одно место. Летопись предполагает смену дней и постоянство места. Дневник путешествия предполагает смену дней и смену места. В поэзии Шешолина место, которое он видит день за днём, — всё равно другое. И в то же время, какое бы место ни

© Наталья Черных, 2016

описывал ЕШ, он описывает одно-единственное — внутри себя. Обетованную страну. Он видел сонм изменений, как сонм цветных мотыльков, кружащихся над тропинкой в заветную страну — *«до века знакомый век»*. Стихи как духовная практика? Возможно, так и было. Тихая, может быть, не заметная сразу, но яркая и мощная работа. В поте пишущий, пашущий. Но на стихах ЕШ лежит роса — как свидетельство вдохновенного труда — *«горстка небесной росы светляков»*. Летопись путешественника — новое, что принёс Шешолин в русскую поэзию.

Поэтическое наследие Евгения Шешолина — более 1000 стихотворений. Составить избранное сложновато. Но есть книга *«Измарагд со дна великой»* — небольшая, изумительно красивая, лиричная и мудрая. Её можно назвать зеркалом поэзии Евгения Шешолина. *«Я ль на свете...»* В этой книге царственность поэзии отображена каждым стихотворением. Но у красавицы-гордячки оказался нрав смиренной падчерицы. Поэт, созданный учителем, наделён судьбой нищего скитальца. Не новость в поэзии, но этот трюизм каждый раз болезненно невыносим: так смотреть на растоптанную бабочку или на убитую птицу. Если бы не стихи, если бы не великолепные стихи. Представим, что вдруг как бы само собою составилось идеальное избранное стихотворений. Что бы мы увидели в нём? Очень трудно объяснить. Потому что придется опуститься к уровню *«каждый увидит то, что способен увидеть»*. Но это не совсем так. Поэзия Шешолина — поэзия властная, точная, строгая, не допускающая многозначности. Но при этом опережающая современность по искусству синтеза, по чувству *«всево-всём»*.

Итак, посмотрим глазом ординарного редактора провинциального журнала. Увидим мастерские опыты стиха. Нота бене: при жизни у ЕШ было очень мало

публикаций, хотя его стихи вполне удовлетворяли требованиям журналов (на первый взгляд). Он очень переживал, что не печатают. Не мог понять, где не сходятся концы с концами, и в то же время — знал это. Противоречия нет. Есть такое знание, которого лучше бы не было. Полагаю, спинным мозгом чувствовал, что стихи его меланхоличны, причудливы, тонки для журналов. И неловко было это признавать — словно признаться в отсутствии мастерства. Ну что я, стихотворение написать не могу? За пределами его стихов начиналась область тупой и плоской справедливости. Любая скотина могла сказать поэту: недостаточно страдал, надо как Маяковский или Есенин (позднее — Бродский). На личность перейти — омерзительно, а по сути, ответить нечего.

В стихосложении ЕШ умел почти всё. Сонет, четверостишие, формы среднеазиатской поэзии, средневековой европейской поэзии... Но читатель выделит сразу длинные, напевные двустихия — газели. Поэт особенно любил их, слышал их звучание как шум реки и умел передать. Предположим, что «идеальное избранное» открыл человек, любящий стихи задушевные, простые. И он найдёт прекрасного собеседника! Поэт вполне разделяет и грусть, и тягу одиночества, и пресловутую гейневскую *«зубную боль в сердце»*. Лирика ЕШ пронзительная, строгая, беспощадная. В ней есть нечто от дворовой песни. Но какие глубина и изящество! *«Проходит чья-то жизнь улыбкой из окна»*. Одним из даров ЕШ был — возвращать словесной мелодии потерянную чистоту. Поэзия омывает землю, освобождает её от тяжести гнета и насилий. Пусть это обречённая на гибель надежда, поэт знает своё дело. «Татуировка рек» на огромном теле страны стараниями поэта перестаёт быть знаком проклятия, становится сакральным знаком.

В целом о лирике ЕШ можно сказать так: она географична. Поэт рассматривает страну как тело

любимого человека. В его географизмах присутствует эрос, мощный эрос, метающий то стрелы острейшего вожделения, то стрелы гнева, то накрывающий сетью покоя. И наоборот, когда пишет о человеке, поднимает его до местности — возникает географический портрет! В первом случае местность приподнята ярким чистым эросом сама над собою, и в ней начинают проступать черты земли обетованной. Во втором — черты местности, узнанные в человеке (в его лице и теле), вновь приобретают черты местности, и эта местность — та же земля обетованная.

Годы, в которые ЕШ написал свои лучшие стихи, были тоскливыми, глухими, но в них была болезненная подлинность. Есть мнение, что многие поэты, писавшие в 80-е, умерли потому, что не хотели жить в новом, чужом и опасном времени. Опасном более чем смерть. Как среднестиховая метафора это хорошо. Но для ЕШ недостаточно объёмно и глубоко. Есть мудрость в том, что он не перешёл рубежа. Однако образ поэта — цельный, чистый, упрямый — будто обломан с одного краю. Последние годы и обстоятельства гибели вполне подошли бы романтическому поэту (а романтизма ЕШ не занимать было). Но оказавшееся универсальным клише романтика отрицает поэта-вожатого, поэта-вестника, поэта-ангела. Непривязанность ЕШ к какой-либо определённой группе поэтов, к стилю, к течению — от романтизма. Чувство своего пути, своего ландшафта. Но созидательное начало (романтикам чуждое) было столь же сильно. ЕШ мечтал об альманахе, и появилась «Майя». Классическая поэзия Средней Азии нашла в нём не только знатока и почитателя, но и одного из своих поэтов. Это поэт-самоцвет, поэт-измарагд, явление необычное, яркое, которое еще долго предстоит осмыслять. А пока лучше прочитать его прекрасную балладу о Нецауалькойотле, царе маяя, пророчески увидевшем свою кончину как кончину цивилизации.

Руслан ЭЛИНИН (НУРУДИНОВ)
(1963 — 2001)

Родился в городе Гвардейске Калининградской области в семье военного. В 1980–1984 годах учился в Ленинградской военной академии им. Можайского по специальности инженер-механик, позже — в МАИ и Заочном политехническом институте, в 1990-е — в Литературном институте. В 1987 году посещал собрания лито «Сретенский бульвар» и с 1989 работал в хозрасчётном Творческом центре — негосударственных общественных организациях, призванных охватить неформальное творческое пространство СССР. Принимал участие в создании Союза гуманитариев СССР и Всесоюзного гуманитарного фонда. Начал собирать Библиотеку неизданных рукописей, ставшую крупной коллекцией неподцензурной литературы. Продолжением собирания библиотеки стала деятельность созданного им Литературно-издательского агентства Руслана Элинина. Начиная с 1990 года, регулярно организовывал литературные вечера, в 1993 году вместе с Еленой Пахомовой основал литературный клуб «Классики XXI века» в Московской государственной библиотеке им. А.П. Чехова. Стихи впервые были опубликованы в 1988 году в самиздатском журнале «Морская черепаха», а начиная с 1990 года, появлялись в газете «Гуманитарный фонд», альманахе «Черновик», журналах «Арион», «Новое литературное обозрение» и др. Вышло пять книг стихотворений. Стихи включены в антологию «Самиздат века». В мае 1996 года получил тяжёлую травму головы, после которой уже не приходил в сознание. Умер 25 декабря 2001 года.



© Наследники Руслана Элинина, 2016

ДОРОГА БЕЗ ГРАНИЦ

* * *

Годами ждѣшь
минуты
Текут минутами года

* * *

Б. К. и памяти Лотреамона

Перешагнув ещё один порог
я вышел
и под листьями промок
растений неизвестной мне породы
в неведомое время дня и года
и оглянулся
Каменный порог
лежал на всякой из моих дорог
Лишь впереди дорога без границ
из стоптанных словесных половиц

* * *

памяти Вен. Ерофеева

И вот — собираюсь я в гости
и весь истерзался
какие взять тексты
и галстук какой повязать
Вдруг заходит сосед с поллитровкой «Агдама»

и начинает бубнить что нечаянно мол
потерял мою книжку Батая
да черт с ней отвечаю ему
и вдруг понимаю
что без галстука лучше
а текст лучше взять
тот

* * *

посвящается Е. П.

Доброта — это когда чьё-то фото
Можно поставить на стол

Или когда синице
Нравится окраска груди

Доброта — это когда впереди
Не только улицы, но и лица.

* * *

Песня о невыросших крыльях.
Песня о чистоте грязи.
Песня о смерти смертей.
Сонет о возлияниях обильных.
Жизнь, поместившаяся в рассказе.
Залетевший в метро воробей.

* * *

Песочные часы горизонтально
в них умерла минута
разорвавшись
на прошлое и всё переживём

* * *

Как мелеет река лишаясь таинственных рыбин
как сливается утро и день растворя прохладный туман
как взрослеет ребёнок и ранее дальние дали измеряет
в минутах ходьбы
как уходит полжизни о чём поминаешь за чаем
как стихает озноб непохожий на трепет травы
как мелеет река лишаясь таинственных рыбин
так песчинки секунд намывают безлюдные пляжи разлук

* * *

Ничто не меняется
постоянство метаморфоз
через час я усну и проснусь на рассвете
напоминающем кровавые бинты
сорванные с израненной памяти
пережить этот рассвет — поражение
которое я терплю ежеутренне
и может быть единственно поэтому
остаюсь живым

Людмила ВЯЗМИТИНОВА

ПРИРОЖДЁННЫЙ ЛИДЕР

На единственном вечере памяти поэта Руслана Элинина (1963 — 2001) в марте 2009 года он был назван также «одним из первых культуртрегеров постсоветской России». Однако мало кто сегодня представляет, какого уровня первопроходцем он был.

Он вошёл в литературную жизнь в 1987 году, став членом только что образовавшегося московского лито «Сретенский бульвар» — ещё как Руслан Нурудинов, работник одного из НИИ, пишущий стихи «под Есенина» и даже внешне на него немного похожий: невысокий, улыбчивый, внешне мягкий, обаятельный, окружённый друзьями, постоянно чем-то увлекающийся и умеющий увлекать других.

Шёл год начала перестройки, ещё в СССР. И, сообразно открывающимся возможностям, руководитель «Сретенского бульвара» Леонид Жуков создал хозрасчётный «Творческий центр», а на его базе — «Всесоюзный гуманитарный фонд им. А.С.Пушкина», со штаб-квартирой в гостинице «Юность», находившейся рядом с его домом. А на базе Центра — Всесоюзный гуманитарный фонд им. А.С.Пушкина, располагавшийся сперва в одном, а потом в другом подвале неподалёку от «Кропоткинской». Эти организации сыграли уникальную роль в становлении литературной жизни на постсоветском пространстве, и одним из самых активных их участников был Руслан Нурудинов. Однако ещё в период обитания всей компании

в гостинице «Юность» он снял рядом с м. «Спортивная» однокомнатную квартиру, в которую перевёз стремительно разрастающуюся груду папок, вскоре обретшую название «Библиотека неизданных рукописей». Если следовать историческому факту, она берёт начало от тумбочки, принесённой лично Жуковым в подвал «Сретенского бульвара» — для рукописей, поступающих в лито. Ключ от неё переходил из рук в руки, пока не попал в надёжные — к Руслану. И, стоя среди полок, заполненных неприемлемыми для советской печати творениями, названными им «Библиотека неизданных рукописей», объявил о создании «Литературно-издательского агентства (ЛИА) Р. Элинина».

В агентстве круглые сутки толпились жаждавшие общения люди, многие из которых ещё недавно принадлежали к андеграунду, полуандеграунду и просто возникали из небытия. И по мере расширения круга знакомств и появления новых возможностей у Элинина возникали всё новые идеи, тут же обраставшие энтузиастами, жизнь которых бесповоротно менялась, стоило им начать иметь дело с директором новоявленного агентства. Это был редкий тип прирождённого лидера. Он никому ничего не навязывал. Невероятно тонко и точно ощущая вызов времени, он заражал других своей возможностью действовать исходя не из логики текущих событий, а как бы работая «на опережение», и генерировал даже не идеи, а пространство их реализации, которое само притягивало всё необходимое, в том числе людей, срывая их с привычных орбит бытования.

Так, весной 1989 года, ещё до отмены цензуры и государственной монополии на издательскую деятельность, для агентства вдруг обнаружилась возможность работать в качестве промежуточного звена между авторами и издательством «Прометей» при МГПИ им. В.И. Ленина, начавшем издавать книги «за счёт средств автора». И одна

из первых выпущенных агентством книг — составленный Дмитрием Александровичем Приговым сборник «Понедельник: семь поэтов самиздата» (Гандлевский, Пригов, Айзенберг, Сухотин, Санчук, Кибиров и Рубинштейн; это была первая публикация на родине известных сегодня авторов, сопровождаемая обширным предисловием Айзенберга). Вскоре книги начали выходить в зарегистрированном агентством издательстве, и одна из них — сборник пьес «Язык и действие», представивший неординарных авторов во главе с Владимиром Сорокиным. Занятно, что эти книги выпускались как «номера» «Альманаха ЛИА Р. Элинина» — в силу условий, существовавших в то время для частных издательств.

Вслед за тем Элинин создал литературно-художественный центр, объединивший книгоиздание и проведение музыкально-литературных вечеров и выставок, организовал семинары, совмещавшие теорию и практику литературы, и заговорил о необходимости организации региональных фестивалей, в которых участвовали бы гости из столицы, что в то время воспринималось как чистая фантастика. А в 1993 году им был создан «Фонд поддержки некоммерческих издательских программ», занимающийся в том числе салонной, выставочной и информационно-архивной деятельностью. И под эгидой Фонда совместно с Библиотекой им. Чехова был открыт положивший начало новой эпохе литературной жизни салон «Классики XXI века», история которого формально началась творческим вечером Генриха Сапгира 25 мая 1994 года.

Способность ощущать вызов времени у Элинина базировалась на свойственном лирическим поэтам тонком восприятии мира. Но очевидно, что работала и обратная связь, формирующая развитие его личной поэтики. В «Сретенский бульвар» он принёс стихи, не слишком

выделяющиеся из множества других. Но, быстро освоив свободный стих, он пошёл в сторону разновидности минимализма, названного Татьяной Михайловской в их совместной с Элининым книге (Руслан Элинин, Татьяна Михайловская. Эпиграфы. То есть. М., 1998) *«осколочной техникой»*, цель которой, фактически, — убрать из текста то, что мешает ему достичь искомой вариативности и глубины. Вслед за тем он явно двинулся в сторону метареализма, и можно только сожалеть, что это движение было прервано безвременной трагической смертью.

Бурные 90-е стали прошлым, но стихи и начинания Руслана Элинина продолжают жить. И разговор о нём мне хочется закончить цитатой из написанного к вечеру его памяти текста Андрея Урицкого: «Ощущая глубинное недовольство собой, вызванное разладом между поэзией и рутинной регулярного труда, он иногда исчезал, не думая о последствиях, а потом внезапно появлялся, и вот теперь он ушёл навсегда, а мне все время кажется, что вот-вот раздастся звонок, и на пороге появится Руслан, слегка поддатый, с бутылкой портвейна в портфеле, а может, трезвый и серьёзный, но обязательно — накануне нового начинания».

Первоначальный вариант статьи опубликован в журнале «Арион», № 2 за 2014 год.

Сведения об авторах статей

Виктор Куллэ (р. 1962) — поэт, литературный критик. Родился в г. Кирово-Чепецк. Кандидат филологических наук, защитил первую в России диссертацию по поэзии Иосифа Бродского (1996), комментировал его Собрание сочинений. Автор книг стихов «Палимпсест» (2001) и «Всё всерьёз» (2011), многих публикаций в периодике. Член Российского ПЕН-центра. Лауреат премий журнала «Новый мир» (2006), итальянской премии «Lerici Pea — Mosca» (2009), премии им. А.М. Зверева журнала «Иностранная литература» (2013). Автор сценариев к документальным фильмам о М.В. Ломоносове, А.С. Грибоедове, М.И. Цветаевой, В.С. Варшавском. Составитель сборника «Латинский квартал» (1991), антологий «Филологическая школа» (2006), «Лучшие стихи 2013 года» (2015). Живёт в Москве.

Юрий Беликов (р. 1958) — поэт, литературный критик. Родился в г. Чусовой (Пермская область). Окончил филфак Пермского государственного университета. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат литературных премий — им. П.П. Бажова, им. А.Л. Решетова и им. А. Дельвига. Лидер движения «Дикороссы». Живёт в Перми.

Зоя Барзах (р. 1978) — филолог, поэт, переводчик. Родилась в Ленинграде. В течение многих лет, начиная с 1988 г., посещала литературное объединение В.А. Лейкина. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет. Изучала новогреческий язык и культуру Греции. Стихи публиковались в сетевом журнале «Вавилон» и др. Живёт в Израиле.

Марина Кудимова (р. 1953) — поэт, переводчик, публицист. Родилась в г. Тамбов, в 1973 г. окончила Тамбовский государственный педагогический институт.

Печатается с 1969-го года. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Урал», «Нева», «Дружба народов», «Урал» и др. Работала редактором отдела литературы в «Литературной газете», была критиком программы «Вечерние стихи» (сайт газеты «Вечерняя Москва»). Автор нескольких книг стихов. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Переделкино.

Патрик Валох (р. 1994) — поэт. Живёт в г. Зальцбург (Австрия), учится на факультете филологии и исторической германистики. На протяжении нескольких лет составляет антологию рано ушедших из жизни поэтов разных эпох, российских и зарубежных.

Александр Лаврин (р. 1958) — писатель, драматург. Родился в городе Советская Гавань Хабаровского края. Работал корреспондентом газеты «Советский цирк», сотрудником журнала «Юность». В 1991 г. принят в Союз писателей СССР (рекомендации Арсения Тарковского и Игоря Шкляревского). В 1994–1996 гг. — главный редактор издательского дома «Красная площадь», 1996–2007 гг. — главный редактор журнала WHERE Moscow, журналов «Аэрофлот» и «АиФ Секретарь». В 2008–2015 гг. — главный редактор спецпроектов Издательского дома «СК ПРЕСС». Президент Российского добровольного общества воздержания от смерти — Партии бессмертных, президент Ассоциации ресторано-гастрономических обозревателей Москвы. Лауреат ряда российских и международных премий, в том числе им. Джузеппе Джусты (Италия, 2010). Автор книг «Поднимается ветер, или зимние любовники. Стихи» (1991), «1001 смерть» (1991), «Хроники Харона. Энциклопедия смерти (1993, 1995, 2009, 2014), «Люди, звери и ангелы» (1992), «Словарь убийц» (1997), «Тарковские: отец и сын в зеркале судьбы» в соавторстве с Паолой Педиконе (2008), «Знаменитые убийцы и жертвы. От Каина до Чикагило» (2011), «По ту сторону Леты» (2015) и др.

Борис Равдин (р. 1942) — литературовед, историк культуры. В 1991–2006 годах — редактор отдела, соредактор журнала «Даугава» (Рига); автор статей, книг, соредактор и составитель ряда сборников по истории русской эмиграции и др. темам.

Олег Демидов (р. 1989) — поэт, прозаик, публицист, литературовед. Родился в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. Составитель собрания сочинений Анатолия Мариенгофа (М.: 2013). Подготовил к изданию биографию Мариенгофа. Автор книги стихов «Белендрясы» (СПб, 2013). Живёт в Химках.

Данила Давыдов (р. 1977) — поэт, прозаик, литературный критик, кандидат филологических наук, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук. Родился в Москве. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Специалист по наивной и примитивной поэзии. Автор множества рецензий и статей в журналах «Новый мир», «Арион», «Новое литературное обозрение», «Воздух» и др. Автор нескольких книг стихов и прозы, книги критических статей «Контексты и мифы». Лауреат литературных премий «Дебют», «ЛитературРентген», «Московский наблюдатель».

Стас Нестерюк (р. 1967) — поэт. Родился в Новороссийске. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Несколько лет вёл занятия в клубе практической психологии. Автор сборника рассказов «Примета» (2013). Пишет также фантастику, сказки, философские притчи. Публиковался в журнале «Странник», на сайтах «Арт-Бухта», член редколлегии газеты «ЛиТерра» (Саранск). Живёт в Саранске.

Галина Седых (р. 1944) — литературовед, профессор Литературного института им. А. М. Горького, доцент кафедры литературного мастерства, руководитель семинара поэзии. Окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, аспирантуру Литературного института им. А. М. Горького. В 1989–1991 гг. работала на Кубе как специалист-литератор, преподавала русскую классическую и современную литературу в Гаванском университете, в Университете им. Оскара Лусеро Мойя (г. Ольгин), в филиале Института русского языка им. А. С. Пушкина и т. д. Автор ряда статей по узкоспециальным и общим литературным вопросам, опубликованных в журналах «Филологические науки», «Вопросы литературы», «Русская

речь», «Литературная учёба», «Новый мир», «Горизонт», «Sud/Est», а также в испаноязычных периодических изданиях, альманахах, сборниках статей. Составитель, комментатор и публикатор избранных изданий А. Ахматовой, Б. Пастернака, С. Есенина (на исп. яз.), М. Цветаевой, И. Шкляревского и молодых современных поэтов.

Илья Ненко (р. 1985) — поэт, журналист. Родился в г. Каменск-Уральский Свердловской области. Окончил Уральский государственный университет. Стихи публиковались в различных альманахах и коллективных сборниках, в журнале «Гвидеон», на сайте «Полутона». Автор книги стихов «Нарушение ритма сердца» (Издательство Уральского университета, Екатеринбург, 2011). Участник Всероссийского (2008) и Международного (2011) совещаний молодых писателей в Свердловской области, 13-го Международного форума молодых писателей в Липках. Живёт в Екатеринбурге.

Елена Ластовина (р. 1983) — поэт, филолог. Защитила магистерскую диссертацию по теме «Образы времени и пространства в русской поэзии 1980–2000-х (на примере творчества Л. Шевченко и Б. Рыжего)». Автор книг стихов «Береста» (2008), «Дочь художника» (2008), «Млечная музыка» (2013); публикаций в альманахах «Отчий край», «Раритет», «Академия поэзии». Лауреат литературной премии им. Маргариты Агашиной.

Лола Звонарёва (р. 1957) — литературовед, историк, искусствовед, главный редактор альманаха «Литературные знакомства». Читала лекции по проблемам современной отечественной и эмигрантской литературы в Государственном университете культуры (Москва), в Варшавском университете (Варшава), Калифорнийском университете (г. Дейвис, США), Шуменском университете им. епископа Константина Преславского (Болгария), Венском университете (Австрия), Эрджиевском университете (г. Кайсери, Турция). С 2008 года — ведущая литературной гостиной в культурном центре «Булгаковский дом». Секретарь Союза писателей Москвы. Автор девяти книг и более трёхсот статей по вопросам ис-

тории культуры, изобразительного искусства, литературы, социальной педагогики.

Анна Сидякина (р. 1972) — филолог, литературный и кинокритик, культуртрегер. Доцент кафедры журналистики Пермского государственного национального исследовательского университета, программный директор «Пермской Сinemатеки». Закончила филфак Пермского государственного университета (1992), аспирантуру Уральского государственного университета им. А.М. Горького (2001), кандидат филологических наук. Автор нескольких десятков научных и литературно-критических публикаций. Автор-составитель книги «Маргиналы. Уральский андеграунд: живые лица погибшей литературы» (Челябинск, 2004). Лауреат российской литературной премии «Малый Букер» (2000) в составе фонда «Юртин», финалист российской премии им. А. Белого (2006).

Павел Басинский (р. 1961) — литературный критик, прозаик. Учился на отделении иностранных языков Саратовского университета, окончил Литературный институт им. А.М. Горького (1986; семинар критики В. А. Сурганова) и аспирантуру при нём, защитил кандидатскую диссертацию по теме «Горький и Ницше». Работает в Литинституте (1986–1995, с 2010). С 1981 года печатается как критик в «Литературной газете» и во многих толстых и интернет-журналах. Составил сборники произведений Максима Горького, Леонида Андреева, Осипа Мандельштама, Михаила Кузмина; антологии «Деревенская проза»: В 2 тт. (М.: Слово, 2000), «Русская проза 1950–1980 гг. »: В 3 тт. (М.: Слово, 2000), «Проза второй половины XX века»: В 3 тт. (М.: Слово, 2001), «Русская лирика XIX века» (М.: Эксмо-Пресс, 2009). Лауреат премии «Антибукер» в номинации «Луч света», Национальной литературной премии «Большая книга» (за книгу «Лев Толстой: бегство из рая») и премии Правительства РФ в области культуры (за книгу «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды»). В настоящее время работает литературным обозревателем «Российской газеты».

Андрей Добрынин (р. 1957) — поэт, прозаик, переводчик. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева (МСХА), а также аспирантуру МСХА по специальности «политическая экономия», защитил диссертацию, семь лет преподавал по специальности. В 1988 году познакомился с поэтом Вадимом Степанцовым и вошёл в Орден куртуазных маньеристов. Получил звание Великого Приора. После раскола Ордена создал Общество куртуазных маньеристов. Опубликовал более четырнадцати книг, семь романов, две книги переводов (Окро Окрояна — с армянского, Детлева фон Лилиенкрона — с немецкого), а также множество стихотворных и прозаических произведений в периодике.

Лиля Панн (р. 1945) — литературный критик. Родилась в Москве. Окончила Московский электротехнический институт связи, работала инженером радиосвязи, программистом. Эмигрировала в США в 1976 г. В годы российской перестройки занялась литературной журналистикой и критикой. Живёт в Нью-Йорке. Статьи печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Звезда», «Октябрь», «Арион», «Литература» и др. Автор книги «Нескучный сад. Поэты, прозаики» (USA: «Hermitage Publishers», 1998).

Дарья Лебедева (р. 1980) — поэт, прозаик, детский писатель. Родилась в Москве. Окончила исторический факультет Московского городского педагогического университета, Литературный институт им. А.М.Горького (семинар детской литературы). Стихи и рассказы публиковались в журналах «Москва», «Литературная учёба», «Дети Ра», «Урал», в сборнике «Плохие кошки» (АСТ, 2012, составитель Марта Кетро), альманахе «Литеры» («Воймега», 2012). Вела рубрику обзоров переводной литературы в журнале «Литература», работала в газете «Книжное обозрение». Участница Международного литературного Волошинского конкурса (2011; шорт-лист номинации журнала «Октябрь»).

Геннадий Каневский (р. 1965) — поэт, эссеист. Родился и живёт в Москве. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Участвовал в сетевых

литературных объединениях «Рука Москвы» и «Пиитер». Публиковался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Воздух», «Новый берег» (Копенгаген), «Волга — XXI век» (Саратов), «Таллин», в альманахе «Абзац» (Москва-Тверь) и др. Автор шести поэтических книг. Лауреат Петербургского поэтического конкурса «Заблудившийся трамвай» (2005) и премии «Московский наблюдатель» (2013), победитель турнира Большого слэма 2007 года (в паре с Анной Русс).

Дмитрий Голышко-Вольфсон (р. 1969) — поэт. Окончил Российский государственный педагогический университет им. Герцена (факультет русского языка и литературы), кандидат искусствоведения, научный сотрудник Российского института истории искусств (Санкт-Петербург). Автор многих критических и научных статей по современному искусству и литературе в «Художественном журнале», журналах «Новое литературное обозрение», «Новая русская книга», «Сеанс» и др. Куратор сетевого проекта «Литературная промзона». Автор книг стихов «Номо scribens» (1994), «Директория» (2001), «Бетонные голубки» (2003).

Людмила Вязмитинова (р. 1950) — литературный критик, поэт. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (семинар художественной критики Владимира Гусева), член Союза писателей Москвы и Союза московских литераторов. Выпустила книги стихов «Пространство роста» (1992) и «Монета» (1997). В 2001 году стала лауреатом II Филаретовского конкурса религиозной поэзии. Публиковала критические статьи в журналах «Новое литературное обозрение», «Знамя», «Новый мир», «Дружба народов», «Крещатик», «Урал», интернет-журналах «Топос» и «Литература», газете «НГ» (приложение «НГ-Ex Libris») и др. На основе цикла выступлений на «Радио России» выпустила сборник эссе о современной литературе «Tempus deliberandi. Время для размышлений» (1998, в соавторстве с А. Цукановым). Живёт в Москве.

Андрей Коровин (р. 1971) — поэт, литературный критик, культуртрегер. Родился в Туле. Окончил Юридический институт МВД РФ, Высшие литературные курсы при

Литературном институте им. А.М.Горького. Автор семи поэтических книг. Стихи публикуются в журналах «Арион», «Дружба народов», «Новый мир», «Октябрь», «Сибирские огни», «Урал», в литературной периодике Украины, Германии, Дании, Финляндии, США, вошли в современные поэтические антологии. Организатор и куратор Международного научно-творческого симпозиума «Волошинский сентябрь» (Коктебель), Литературного салона Андрея Коровина в Музее-театре «Булгаковский Дом» (Москва) и других проектов.

Евгений Абдуллаев (р. 1971) — поэт, прозаик, литературный критик. Публикует стихи и прозу под псевдонимом Сухбат Афлатуни. Родился в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Стихи и проза публиковались в литературных журналах России, Узбекистана, Кореи, США и др. Автор нескольких книг стихов и прозы, многочисленных публикаций в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Арион», «Литература» и др. Член редакционного совета журнала «Дружба народов». Лауреат премий журнала «Октябрь» (2004, 2006), «Русской премии» (2005, 2012), поощрительной премии «Триумф» (2006).

Александр Корамыслов (р. 1969) — поэт. Родился и живёт в Воткинске, много лет работал в городском Музее истории и культуры, организатор литературных вечеров в музее. Лауреат конкурсов в области культурной журналистики проекта «Культурная столица Поволжья» (2004, 2005). Публиковал стихи, танкетки, однослова в журналах «Арион», «Воздух», «Волга», «Урал», «Дети Ра», «Соло», «Футурум АРТ», «День и ночь», «Крещатик», альманахах «Дирижабль» (Нижний Новгород), «Молодой Гений» (Костомукша), «Перелом ангела», «Тритон» (Москва), «Черновик» (Нью-Джерси), газетах «Гуманитарный Фонд», «Русский курьер», «НГ-Exlibris», «Культура» и др. Первая книга вышла в 2014 году.

Виталий Науменко (р. 1977) — поэт, прозаик, переводчик, критик, драматург. Родился в г. Железногорск-Илимский Иркутской области. Окончил филологический факультет Иркутского государственного университета. Проза и

эссеистика публиковались в журналах «Арион», «Дружба народов», «Новая юность», «Новый мир», «Сибирские огни», «Октябрь», «Интерпоэзия» и др. Автор пяти поэтических книг. Лауреат премии Виктора Астафьева (Красноярск), журнала «Интерпоэзия» (за лучшее стихотворение года), победитель Волошинского конкурса (за поэму «Радищев»). Основатель (с Анатолием Кобенковым) альманахов «Иркутское время» и «Зелёная лампа», Фестиваля поэзии на Байкале, литературной премии имени Сергея Иоффе. Живёт в Москве.

Борис Стучебрюков (р. 1950) — архитектор, художник. Родился в г. Южно-Сахалинск. В 1967–1971 гг. учился в Московской государственной академии тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова (МИТХТ), также учился в Южно-Сахалинском педагогическом университете, Томском университете (факультет прикладной математики). В 1980 г. окончил архитектурный факультет Государственного университета по землеустройству (бывший МИИЗ). С 1985 г. — член Союза Архитекторов СССР (теперь Союз Московских Архитекторов), с 1994 г. член Московского союза художников. По его проектам построены многие жилые и общественные здания, реализованы градостроительные решения в Москве и Московской области.

Руслан Комадей (р. 1990) — поэт, культуртрегер. Родился на Камчатке, вырос в Челябинске и Нижнем Тагиле. Воспитанник литературной студии «Мирь» (руководитель Евгений Туренко). Закончил филологический факультет Уральского федерального университета. Публиковался в журналах «Воздух», «Гвидеон», «Волга», «Новая Юность», «Вещь», «Урал», «Транзит-Урал», альманахе «Предчувствие света» (Нижний Тагил, 2007), альманахе «Голос» (Нижний Тагил, 2009). Автор книг стихов «Письма к Марине» (2007), «Стекло» (2012), «Парад рыб» (2014). Лауреат I регионального фестиваля литературных объединений «Глубина». Живёт в Екатеринбурге.

Владимир Коркунов (р. 1984) — поэт, критик, кандидат филологических наук. Окончил МГУПИ и Литературный

институт им. А.М.Горького. Публиковался в журналах «Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение», «Знамя», «Воздух», «Арион», «Литература», «Гвидеон», «Волга», «Урал», «Интерпоэзия», «Новая Юность», «Просодия» и др.

Олег Филипенко (р. 1965) — поэт, кинорежиссёр, сценарист. Окончил ГИТИС, учился в Литературном институте им. А.М.Горького на курсе Николая Старшинова, окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве. Призы «За лучший фильм» и «За лучший сценарий» кинофестиваля Высших курсов сценаристов и режиссёров «Посвящение» (за фильм «Зритель спит», 2005), призы «За лучший фильм» и «За лучшую женскую роль» кинофестиваля «Запорізьска сінерама» (за фильм «Лингвистка», 2015) и др. Как литератор печатался в «Литературной газете», «Литературной России», журналах «Литературная учёба», «Сетевая Словесность» и др. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живёт и работает в основном в Киеве.

Борис Клетинич (р. 1961) — литератор, певец. Родился в Кишинёве. Учился во ВГИКе, работал на киностудии «Молдова-фильм». С 1991-го года — в Израиле. С 2002-го — в Канаде (Монреаль). Публиковался в журналах «Волга», «Новый мир», «Юность», «Киносценарии» и др.

Наталья Черных (р. 1969) — поэт, прозаик, эссеист. Родилась на Южном Урале, училась во Львове, с 1987 года живёт в Москве. Работала библиотекарем в Литературном институте им. Горького, уборщицей, учителем литературы, переводчиком и др. Публиковала стихи и малую прозу с 1993 года в журналах «Новый мир», «Воздух», «Волга», «Литература», «©оюз Писателей», газете «Русская мысль», альманахах «Вавилон» и «Окрестности», антологии «Девять измерений» и др. С 1999 г. выступает с эссе о классиках русской литературы и современных русских поэтах. Автор нескольких книг стихов и прозы. С 2005 г. куратор сайта «На Середине Мира», посвящённого современной русской поэзии.

Спонсоры антологии

Составители книги выражают искреннюю признательность этим людям, благодаря которым антология увидела свет. Спасибо вам от всего сердца!

Максим Атякшев	Сергей Криницын
Олег Бабинов	Екатерина Ливи-
Алексей Бердников	Монастырская
Валентина Бочкарёва	Владимир Махнев
Анна Вагонова	Ирина Машинская
Мария Вагутина	Сергей Морозов
Игорь Волгин	Вадим Муратханов
Марина Волкова	Стас Нестерюк
Сергей Вольпин	Лиля Панн
Людмила Вязмитинова	Людмила Перегудова
Игорь Генкин-Пушниц	Светлана Передреева
Александра Герасимова	Виталий Пуханов
Андрей Грицман	Диана Рыжакова
Татьяна Данильянц	Владислав Сергеев
Ольга Дернова	Татьяна Скрундзь
Леонид Зотов	Михаил Стрельцов
Георгий Жердев	Елизавета Судакова
Александр Емельяненко	Светлана Тахтарова
Людмила Иванова	Ильдар Харисов
Катя Капович	Вячеслав Хованов
Сергей Карякин	Екатерина Храменкова
Нина Коженевская	Андрей Цуканов

Литературно-художественное издание

УЙТИ. ОСТАТЬСЯ. ЖИТЬ

Антология Литературных чтений
«Они ушли. Они остались» (2012 — 2016)

Редакторы и корректоры *Борис Кутенков, Елена Семёнова*
Технический редактор *Владимир Коркунов*



Бумага офсетная
Гарнитура Minion Pro
Тираж 500 экз.
Подписано в печать 19.07.2016

Отпечатано в филиале ОАО «ТОТ»
«Кимрская типография»,
Тверская область, г. Кимры,
ул. Володарского, д. 11